ГЕОРГИЙ ГУЛИА

БЕЛАЯ НОЧЬ

Гена !!!

Поздравляю с днём рождения!

Желаю тебе счастья и хорошего здоровья, в твоей молодой солдатско[illegible] жизни.

Гене от Люби П[illegible]

24/II-1959 года

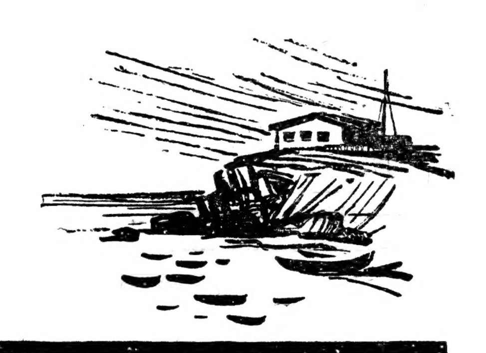
ГЕОРГИЙ ГУЛИА



РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1·9·5·8


РАССКАЗЫ



БЕЛАЯ НОЧЬ

От моторного карбаса отделяется лодка. Весла равномерно опускаются в воду, толкая небольшую рыбацкую посудину к берегу. Карбас медленно исчезает в тумане.

Низко проносится гагара, вслед за ней — другая. Летят они быстро, вытянув шеи, летят, должно быть, зная куда и зачем и не боясь заблудиться в тумане. С поверхности моря поднимаются морские утки, напуганные плеском воды. Ночное полярное солнце, блеклое, как розовая промокательная бумага, неподвижно повисает над самым горизонтом, повисает надолго — на час, а может быть, и на два.

На корме лодки полулежит доктор Рубцов. Ему двадцать восемь лет. Лицо у него бледное, усталое. Серая шляпа съехала на затылок, волосы растрепались. Он свесил за борт руку и опустил пальцы в холодную воду...

Лодочника зовут Иван Егорович, или попросту Егорыч. Это немолодой человек, кряжистый, основательно загорелый. Рубцову кажется, что грести Егорычу одно удовольствие — совсем не тяжело. На широком лице лодочника, бородатом, покрытом резкими морщинами, — выражение легкой сосредоточенности,

какое бывает, когда человек размышляет над чем-то приятным. Кажется, что вода, тяжелая и живая как ртуть, сама двигает весла, а они, в свою очередь, заставляют работать жилистые руки лодочника...

Иван Егорович спрашивает доктора, продолжая прерванный разговор:

— Значит, надоело у нас?

— Я бы не сказал...

Лодочник на минуту перестает грести.

— Молодость, — говорит он. — Все носитесь, все колобродите. Пожили у нас три года — и до свиданьица. Или, может, рыбаки не угодили?

— Да нет, — возражает доктор, — все было очень хорошо. Мне просто хочется поработать в больших клиниках, подучиться немного. Только и всего.

— Оно конечно, — соглашается лодочник, но видно, что он все-таки не согласен с доктором. — Да жалко вас отпускать. А и то верно: чем мы вас удивили? Тюленями? Или камбалой? Или семгой, что ли? И природа у нас неказистая — тундровый край... — Егорыч умолкает и немного погодя говорит вкрадчиво: — А то бы остались. На зверя бы морского пошли. Или на Канин, на песцовую охоту. Старуха моя говорит: «Должно, девки у нас перевелись такие, от которых сердце замирает. Вот, говорит, доктор три года холостяком ходит». Это она девчат наших укоряет: дескать, в прежние времена любого приворожили бы...

И снова Иван Егорович неторопливо заработал веслами. Он щурил глаза, следя за полетом птиц.

— Значит, последний обход, Пал Владимыч? — спросил лодочник с укором.

— Выходит так, — равнодушно ответил доктор.

Лодка уперлась в отмель. Из-за легкой клочковатой дымки показался «низкий берег» — песчаное морское дно, разглаженное недавним отливом. Невдалеке виднелся «высокий берег». Северные склоны его были покрыты нерастаявшим снегом. В часы прилива — в «большую воду» — волны точили нижний край этого слежавшегося снежного покрова.

Направо по берегу — ставные невода. После отлива они оказались на суше. Среди высоко подвешенных сетей возились рыбаки — мужчины и женщины. На высоком берегу — добротная рубленая изба. Это рыболовецкий стан, или, как здесь говорят, «тоньская изба».

Доктор и Егорыч оттащили лодку подальше от воды, чтобы ее не унесло приливом.

— Ну, что ж, — сказал лодочник, вытирая мокрые руки о брезентовые штаны, — на рыбу посмотрим, а потом в избу: громко поговорим, чаю попьем...

Они пошли к неводам.

Рыбаки выбирали улов из нехитрой ловушки. Девушки в высоких сапогах из тюленьей кожи пытались выловить неистово мечущихся рыб. Вода кипела.

— Это семга, — сказал лодочник. — По воде видать — семга.

И действительно, вскоре были выловлены четыре неудержимо упругие рыбины. Их тут же успокоили ударом деревянной чурки по голове.

Бригадир рыбаков, неуклюжий, высокий мужчина, весь обтянутый кожей и резиной, поздоровался с доктором. Приветствие его было скупым, односложным. Бригадир медленно подошел к Рубцову и постоял возле него молча, подчеркивая тем самым свое уважение к гостю. От рыбака пахло морской солью и прибрежными замшелыми скалами.

— Не болен ли кто? — спросил доктор.

— Да кому же болеть-то охота?

— А палец у Ка́листы зажил?

— Вон она, Ка́листа, — показал бригадир на одну из девушек с огромной рыбиной в руках. — Поболела, полечилась — и вышло по-нашему: до свадьбы зажило.

Речь шла о молодой рыбачке Ка́листе. Во время разделки тюленьей туши она поранила палец и заразилась чингой (так называют поморы язвенную болезнь, встречающуюся среди зверобоев).

— А спирта небось маловато? — будто всерьез поинтересовался доктор.

Помор покосился на доктора, и жесткое его лицо

на мгновение покрылось морщинками: это прошла улыбка, как рябь по воде.

— Спирт, доктор, отыщется, чай, мы люди, а не рыбы, — проговорил бригадир и указал рукою на избу: дескать, милости просим.

— Погляжу, как вы ее содержите, — сказал доктор и пошел к избе.

У подножия кручи Егорыч остановился. Пошарив взглядом под ногами и словно найдя то, что искал, он сообщил, как новость:

— Вот тут, на этом самом месте, в акурат проходит круг!

И Егорыч рассказал, как приезжали сюда «ученые люди с трубами разными» и определяли, где «лежит Полярный круг». Рубцов уже слышал не раз об этом круге — гордости местных рыбаков. Он кивнул и начал подниматься по ступенькам, вырубленным в твердом, как лед, снегу. Поднявшись наверх, он повернулся к морю. Перед ним расстилалась светло-серая морская гладь. Свежий ветер, подувший «с горы», разогнал тусклую дымку, и арктическая изменчивая погода на этот раз, казалось, обещала ясное утро (загадывать на целый день было трудно). В небе, у самого горизонта, по-прежнему висело июньское солнце и медленно-медленно подвигалось на восток.

Доктор ступил на пружинящую тундровую землю. Она простиралась в глубину материка, насколько хватает глаз. Зеленая, а местами ржавая, тундра была безгранична, так же как море. Вокруг много топей. На топях — кочки-пупырышки. Там и сям овражки, наполненные снегом. Жесткая трава сти́ха или си́ха, олений мох ягель, прижатая к земле полярная брусника и различные цветы и лишайники густо устилали тундровые просторы. Кругом ни звука, даже собственных шагов не слышно. Только легкий шум Белого моря доносился сюда, будто заглушенный городской шум на окраину.

Дверь в избу была полуоткрыта. Пройдя просторную прихожую, доктор попал в светлую, оклеенную обоями комнату. В углу — большая, чисто выбеленная русская печь, посреди комнаты — грузный стол,

а подальше — лежанки. На окнах — кружевные занавески...

За столом сидела девушка лет двадцати. Она перебирала книги, сложенные тремя ровными стопками. Девушка удивленно подняла глаза и привстала. Доктор, не ожидавший встретить кого-либо в избе, невольно остановился в дверях. Девушка пыталась нащупать ногою туфли под столом (она их сняла по привычке).

— Чуточку правее, — посоветовал, улыбаясь, доктор, следя за тем, как туго обтянутая чулком девичья нога никак не могла попасть в туфлю.

— Все вы глазастые, когда не просят, — смущенно сказала девушка с едва заметной хрипотцой в голосе.

— Кто это «все вы»?

— А мужики!

Словно довольная своим ответом, девушка лукаво поджала губы и начала листать книги. Ее пальцы заработали быстро-быстро.

— Что же вы в дверях стоите?

Девушка была невысокая, худенькая, с тонкой и такой белой шеей, что ее не сравнишь даже со снегом. Во всяком случае, Павлу Владимировичу девушка показалась необыкновенной. Была в ней та щедрая доля красоты, которая не может не радовать. «Сколько же ей лет?» — подумал доктор, пытаясь определить ее возраст.

Девушка посмотрела на него долгим, полным любопытства взглядом.

— В ногах правды нет, — сказала она. — Вы уж лучше садитесь.

Доктор пытался вспомнить, где и когда он ее видел. Пожалуй, года два тому назад здесь же, в этой самой избе. В ту пору она казалась неказистой, угловатой. Была еще с нею подруга. Обе они так странно себя вели, словно были чем-то испуганы. Рубцов не обратил тогда на них внимания: просто девочки — вот и все...

И снова прозвучал мягкий, певучий, чуть протяжный голос:

— А я думала, что вы уже уехали.

— Как видите, нет. Но собираюсь.

Доктор еще раз подумал о двух годах, которые придали этой девушке яркую женскую красоту. И почему-то он решил, что она непременно должна быть замужем или у нее есть жених. Наверно, так и есть... Вспомнил доктор, как хвалили рыбаки дочку библиотекарши: дескать, невеста — загляденье, красивая, работящая, не финтифлюшка какая-нибудь. Так вот, стало быть, о ком все это говорилось!

Вошел лодочник и принялся шарить по избе в поисках чайника.

— Иван Егорович, — обратилась к нему девушка, — самовар во дворе. Хотите кипяточку?

— Не мешает. И тепушек*, должно быть, у вас припасено вдоволь.

— Есть и тепушки. Вчера вечером напекли целую гору.

Девушка неожиданно кинулась к порогу.

— Ух ты, словно ветер какой! — удивился лодочник.

Доктор снял шляпу, положил ее на стол, прислушался к тому, как девушка ломала за стеною щепки. Потом достал гребенку и тщательно причесал волосы.

— Кто она? — спросил он лодочника.

— Ольга, что ли? Библиотекарши дочка.

— Что-то плохо припоминаю...

Егорыч махнул рукой:

— Разве всех упомнишь? Растут, словно грибы...

Доктор занялся делом.

Это был один из его обычных санитарных обходов. Он тщательно осмотрел помещение, постельное белье, посуду и остался доволен. «Учли мои замечания», — не без гордости подумал он, вспоминая недавнее столкновение с бригадиром из-за пыльных тюфяков. Доктор раскрыл тетрадь. На ее обложке было крупно выведено: «Обходной журнал».

— Вот вы, Пал Владимыч, — говорил между тем

---

* Тепушка — лепешка из ржаной и пшеничной муки, приготовленная на молоке и яйцах.

лодочник, — все голову ломаете: как бы кто не заболел да как бы даже самую малую грязь извести. А в прежнее время ни в грош не ставили поморов. Зайдешь в тоньскую избу — все глаза дымом выест. По-черному топили.

— И долго ее не было здесь? — обронил доктор, словно невзначай.

— В Архангельск ездила. На какие-то курсы. Говорят, годичные, не то двухгодичные... Так вот, набьются, значит, в избу человек двадцать, и шелохнуться негде. Ни газет тебе, ни музыки. А сейчас что? В такой избе, как эта, любая баба, даже самая привередливая, самая вредная, всю жизнь прожить согласится.

— Она матери помогает, что ли?

— А как же! Помогает. Хорошая девчонка... Вот, брат, какие нынче избы: обои, значит, и радио! Дай крутану эту штучку.

Егорыч потянулся к приемнику.

— Она что же, в библиотеке работает? — спросил доктор.

— Должно быть, по материнской должности пойдет, — ответил лодочник, вертя ручки на приемнике. Вдруг он перестал вертеть, уставился на доктора и усмехнулся: — Что, доктор, по сердцу резануло?

Рубцов постарался придать своему лицу безразличное выражение. Однако он чувствовал, что краснеет.

— Ничего себе, девушка хорошая, — пробормотал он.

Лодочник снова занялся приемником. Наконец выяснилось, что батарейки отслужили срок и радио работать не будет. Егорыч в сердцах сплюнул.

«Я ее видел только в позапрошлом году, — снова подумал доктор, склонившись над тетрадью. — Она была такой невзрачной голенастой девчонкой...»

Вошла Оля.

Она села на прежнее место и снова начала перебирать книги и журналы, сверяя их со списком. Старые книги надлежало увезти, а новые — оставить.

— Оля, — спросил доктор, — вы привезли новые книги?

— Привезла, — ответила Оля, не подымая глаз.

— Интересные?

— Да разные...

Доктор помолчал, чувствуя, что не так-то просто продолжать этот разговор.

Егорыч неестественно закашлялся, надел фуражку.

— Доктор, — сказал он нарочито громко, но почтительно, — я тут поспрошаю рыбаков кой о чем. А там и чай поспеет, попьем с вами.

— Ладно, Иван Егорыч.

Однако лодочник не торопился уходить и добавил, лукаво улыбаясь:

— А вы, доктор, не обижайте девушку. Ну, а ежели очень приглянется... — лодочник провел кулаком по широким желтым от табачного дыма усам, — а ежели приглянется, зовите в сваты. Девушка что надо!

И он вышел, стуча каблуками.

Рубцов смутился. Он понимал, что должен сказать что-нибудь, лучше всего пошутить, чтобы смягчить неловкость.

— Что же это он, а? — спросил он девушку.

— Глупости говорит! — отрезала Оля.

Наступила долгая тишина. Только временами снизу доходил сонный шум прибоя. В окнах стоял золотой свет, какой на юге бывает в часы заката. А солнце понемногу поднималось, давая понять, что короткая белая ночь миновала и что скоро наступит полярное утро.

— Вы не устали? Ведь ночь? — спросил Рубцов, желая вызвать девушку на разговор.

— А вам-то не все равно?.. Рыбаки же работают...

— Вы никак сердитесь на меня.

Оля блеснула глазами и, словно набравшись духу, выпалила:

— Вам, наверно, очень приятно девушек мучить? Из-за вас Лида Крюкова чуть не высохла...

Девушка, по-видимому, сердилась искренне, и это

поразило Рубцова. Поначалу ему захотелось слегка подразнить ее, но он сдержался и сказал:

— Вы меня удивили.

— Очень мучилась Лидка, — подтвердила девушка, глядя в сторону. Вдруг она спросила: — А вам здесь не душно? — и, не дожидаясь ответа, встала и пошла к выходу.

Может быть, ей показалось, что неприлично так долго быть наедине с молодым человеком? Кто знает! Делать нечего, доктор положил «Журнал» в боковой карман и пошел вслед за ней, не думая ни о чем, не отдавая себе отчета, куда он идет, хотя в избе совсем не было душно. Он поймал себя на мысли, что ему хочется поговорить с ней, послушать ее, постоять возле нее, узнать о ней побольше. Ему казалось, что однажды уже он допустил оплошность, не обратив на нее никакого внимания. А человек ведь растет, хорошеет...

— Так вы не обманывали Лидку? — сказала Оля, идя рядом с доктором по тундровой зелени.

— Да нет же! — воскликнул доктор. — Откуда вы взяли!

Оля опустилась на колени, чтобы сорвать ягоды. Она протянула их Рубцову:

— Это морошка. Еще не спелая. Скоро будем ее собирать. Любите моченую морошку?

Рубцов сказал с особой горячностью, что больше всего на свете любит моченую морошку.

— А вы приходите к нам. У нас ее много.

— Вы, должно быть, любите похозяйствовать? — спросил Рубцов.

— Не очень, — призналась она, — но я все умею делать.

— Все?

— Все!

— И уху варить?

— Разве вы не слышали? Все умею!

Рубцов сказал, что обожает уху, любую уху, и не обязательно семужью, которую все должны любить. А между тем он думал о Лиде Крюковой, с которой не был знаком. Она, оказывается, страдала из-за не-

го. Он обратил внимание на странный оттенок в голосе девушки, когда она говорила об этом.

— Послушайте, Оля, — сказал Рубцов, приступая к только что задуманному, как ему казалось, хитрому допросу, — вы человек прямой?

— Прямой.

— Правдивый?

— Да.

— Посмотрите мне в глаза и ответьте: вам очень жалко Лиду?

— Да.

— Почему?

Девушка молчала. Рубцов притронулся к ее холодным пальцам, а потом слегка пожал их.

— Не надо, — произнесла девушка едва слышно и добавила, точно оправдываясь:

— Увидят...

В это мгновение Рубцов понял, что он является соучастником. Но соучастником чего? Слово «увидят», прозвучавшее почти заговорщицки, обдало его жаром.

Перед ним сверкали ее глаза — большие, добрые, необъяснимо нежные. Ему вдруг стало легко и весело, а потом и немного грустно...

Девушка, не зная, как себя вести, сорвала пучок зелени. Она почему-то рассказывала все, что знала о травах, находя их «прелестными, чудесными», словно пытаясь отвлечь его внимание от себя или заглушить словами свое волнение.

— Только люди с черствой душой не понимают северной природы, — неожиданно сказала Оля.

Они стояли у края обрыва. Под ногами лежал снег. Белое море было спокойным. Солнце поднялось довольно высоко. Вода понемногу наступала на берег. Рыбаки убирали все, что могло быть унесено приливом.

Доктору казалось, что он может простоять на этом месте рядом с девушкой очень долго — весь день. Он еще раз пожалел, что раньше не привелось поговорить с нею. А ведь она очень славная, чтобы не сказать больше...

— Поплывем, что ли, доктор? — услышал за собой Рубцов голос лодочника.

— Без чая? — спросила Оля.

— Лодку водой унесет, — сказал Егорыч.

— Пожалуй, пора, — согласился Рубцов.

— Вы уезжаете совсем?

— Как вам сказать... — начал было Рубцов.

Вдруг Оля сорвалась с места и побежала к избе.

— Счастливого пути! — крикнула она, не оглядываясь.

Доктор постоял в нерешительности, потом начал быстро спускаться по снеговым ступенькам. За ним осторожно шел Иван Егорович. Надо было торопиться: у самой лодки уже плескалась вода. Доктор помахал рукой рыбакам. Они что-то прокричали, но он не расслышал их слов.

— Я буду еще! Буду! — пообещал доктор.

Когда они сидели в лодке и Егорыч греб навстречу приливу, доктор сказал:

— Придется еще раз объехать тони.

— Ой ли? — протянул лодочник недоверчиво.

— Раз решил — значит сделаю.

— Еще бы! — откликнулся лодочник. — Характер у вас твердый. А ведь бывает же такое...

— Вы это о чем?

— Да вот о вас, стало быть...

Доктор пожал плечами. Он смотрел на берег. Высоко над наступающим приливом стояла девушка, освещенная розовыми лучами раннего солнца. А на небе — ни облачка. И тумана словно не бывало. За высоким берегом скрывалась суровая тундра. Соревнуясь с ней в суровости, вокруг простиралось свинцовое море.

— Ну что ж, объедем тони... — согласился, точно про себя, лодочник. — Кто же от хорошего человека бегает?

Доктор молчал. Опустив руку за борт, он следил за тем, как между пальцами течет прозрачная вода, и с легкой грустью поглядывал на берег.

1952

БАКЕНЩИК

В этот вечерний час, когда солнце садится за Жигулями, река кажется особенно спокойной. Она тихо плещется у берегов. А ветерок уходит в горы и там, над жигулевскими высотами, пробует свои силы, разгоняя облака.

Потом наступают сумерки, Волга и небеса окрашиваются в одну синеватую прозрачную краску...

Рыболовы в это время готовят снасти. Бакенщики спускают на воду лодки. Это приятный и торжественный час.

Тимофей Иванович садится на корму. Он закуривает и негромко говорит:

— Трогай, Егорка. Чего замешкался?

А внук бакенщика возится с веслами. Ему десятый год, и он совсем неплохой помощник деду, настоящий волжанин.

— Успеем, — отвечает мальчик деловито, — еще светло.

— Свет тут ни при чем, — возражает Тимофей Иванович. — Это тебе не прошлые времена. Баржи нынче вон как ходят! Иной раз, глядишь, в три ряда плывут...

Уключины, наконец, приведены в порядок, и Егорка отталкивается от берега. И тотчас по реке пробегает мелкая рябь, точно в большом и тихом пруду.

— Режь дорогу самоходке, — подает советы Тимофей Иванович, — да постой немного между тем буксиром и самоходкой.

Вниз по Волге плывет буксир. Он тянет за собою две баржи, нагруженные до отказа.

Самоходная баржа пыхтит, бьет воду винтами, преодолевая едва заметное на глаз, но сильное течение реки.

Тимофей Иванович — старый бакенщик. Ему за шестьдесят, а проработал он бакенщиком сорок пять без малого. И хоть и мечтал он всю жизнь о буксирах, волей-неволей полюбились ему яркие огни, которые и днем и ночью без устали колышутся на реке. Бакены кажутся вечными, как звезды на волжском

небе, как сама Волга... А пошел он когда-то в бакенщики потому, что дороги в жизни не предвиделось. Люди прежде говаривали: «Покуда бакен светит, каша у бакенщика не переводится». А когда же бакен не светит, спрашивается? Вот Тимофей Иванович и сделался бакенщиком...

Егорка проплывает у самого носа самоходки. Лодка покачивается на неожиданно выросших волнах.

— Эй! — кричат с самоходной. — Дождетесь вы худа — щепы от вас полетят!

Тимофей Иванович поворачивается к барже.

— Знай, ходи себе! — отвечает он. — Поспешай! Не ровен час, семьсот вторая обгонит. Она уже и выгрузку закончила.

— Видали таких! — снова кричат с самоходки. — Мы в пятый рейс уходим, а семьсот вторая? Сосчитай-ка получше.

Еще раз подбрасывает лодку на буруне, который с ревом ползет из-под кормы, и баржа уходит далеко. А капитан нарочно гуднул сиреной: дескать, куда там семьсот второй!

— А теперь выгребай левым, — говорит Тимофей Иванович. — Должно быть, «Дредноут» идет с грузом...

Была у Тимофея Ивановича настоящая слабость: это буксиры. Буксиры, пожалуй, вызывали у нашего волжанина самые сильные чувства. Хоть и мал буксир, а жизнь на нем полнокровная; за кормой огромные-преогромные баржи, и плывешь себе мимо волжских зеленых берегов, мимо пристаней, мимо деревень — через всю необъятную землю плывешь!.. Покойного сына в капитаны буксира метил. Сын под Сталинградом погиб. Но, может быть, Егорку и в самом деле на буксир посадить? Дело в том...

Но буксир все ближе и ближе, и Тимофей Иванович на время отрывается от своих мыслей.

— Тимофей Ивановичу почтение!

Это приветствуют с мостика. Бакенщик снимает фуражку.

— Как дела?

— Отлично! А у вас?

— Полным ходом. Скоро пойдет экскаватор... тот самый... шагающий...

— Ясно! А мы везем подарочки.

— Из Горького?

— Из Горького.

На длинном канате буксира большие, неповоротливые баржи. Они сидят в воде по самую ватерлинию. На палубах барж — автомашины, много автомашин. «Ого, — думает Тимофей Иванович, — подбрасывают куйбышевцам...»

И «Дредноут», неистово работая колесами, плывет себе дальше.

Тимофею Ивановичу хочется поделиться своими мыслями с внуком.

— Вот что, Егорка, — говорит бакенщик. — Была, стало быть, верная волжская профессия — бакенщик, а еще лучше той — капитан буксира. Но что ты скажешь об электриках? Скоро, пожалуй, все бакены электрические будут: зажигай от одной кнопки... Или вот еще экскаваторщики...

Егорка перестал грести.

— Да, — соглашается мальчик с серьезным видом, — электрик, само собой, — первая профессия.

Ему определенно нравится это слово — «профессия». Он глядит на поверхность реки, снова гладкую и блестящую, точно стеклышко, и тихо произносит:

— А я хочу на шлюзы...

«А Егорка прав, — думает бакенщик, — на шлюзах совсем не худо будет».

— Вперед! — командует Тимофей Иванович. Вопрос о будущей профессии внука, кажется, разрешается сам собою. И старик решительно заявляет: — Профессию тебе, Егорка, выберем настоящую, самую лучшую — электрическую, вот какую! Без нее нынче на Волге ни шагу. Понял?

Стрежнем идет пароход. Он предупреждает о себе солидным басом: дескать, давай, давай дорогу. Егорка что есть мочи налегает на весла.

— Жми, электрик! — подбадривает его дед.

1952

ИСЦЕЛИТЕЛЬ СТЕН

Под землей светло как днем. И не скажешь, что над головой толща земли в сорок метров.

А наверху летний вечер. Москвичи до позднего часа не уходят из садов и скверов. Иные из них торопятся к Москве-реке: погулять по набережным, подышать речной прохладой и на город свой, залитый электричеством, полюбоваться.

Под землею шумно. Чего только здесь не делают! Одни развозят свежий бетон на вагонетках, другие бетонируют, третьи устанавливают вентиляторы, четвертые обрабатывают мрамор пневматическими зубилами, пятые штукатурят огромные своды будущей станции метрополитена. Электрики тянут кабель, связисты устанавливают сигнализацию... Словом, работа, что называется, кипит. А вот что делает Ефим Петрович Чураков? Его смена давно кончила работу...

Сидит Ефим Петрович наверху, там, где своды со стенами соединяются. Стены мраморные, аккуратно выложенные. Пристроился Ефим Петрович на подмостках и точно колдует — так кажется со стороны. Сидит покуривает, потом проведет пальцем по мраморной плите раз или два и снова курит. А время все идет...

Поглядишь иной раз на Ефима Петровича — плечами недоуменно пожмешь. Вот так сидит в чужую смену и часами со стенки глаз не сводит. А ведь, казалось бы, дело Ефима Петровича не хитрое.

По специальности он нагнетальщик. В чем заключается его обязанность? Как известно, вода — первый враг под землей. С водою борются, когда прорывают тоннели, борются с водою и тогда, когда их облицовывают. Случается и так: казалось бы, все, все готово — и вдруг влага! Это значит, что в стене имеется трещина; иногда это очень тонкая, волосяная трещина. В таких случаях, как говорят тоннельщики, своды приходится сушить. В толщу стены, там, где предполагается трещина, нагнетают жидкий цементный раствор. Цемент плотно закупоривает мельчайшие поры в бетоне. Но иногда это не помо-

гает, ибо трудно определить, где скрывается трешина под мрамором. Поэтому приходится набираться терпения и отыскивать ее...

Годы Ефима Петровича немалые — к шестидесяти подкатывают. В эту пору человеку и отдых своевременно требуется и сон, разумеется. «Верно, верно, — мысленно соглашается Ефим Петрович, — все это дело известное. Но что поделаешь! Под землей людно, шумно, а работа тонкая — стену вылечить требуется. После дневной смены немного спокойнее, легче мозгами пораскинуть».

Нагнетальщик на первый взгляд тяжелодум. Но глаза у него, как у молодого, живые, всевидящие. Полтора десятка лет он строит дворцы под землей, полтора десятка лет все борется с влагой, и кажется, нет у подземной природы от него никаких тайн...

Ефим Петрович курит папиросу за папиросой и все на угол глядит. В этом самом месте шов слегка пожелтел, и мрамор словно п о т е е т. Это из глубины стены идет влага. Очень немного ее, точно кот наплакал, но все-таки влага!..

Внизу, под лесами, стоит Гончаров, начальник участка.

— Здравствуй, Андрей Иванович! — говорит нагнетальщик.

— Все колдуете, Ефим Петрович? Давно бы нагора!

Ефим Петрович разводит руками:

— Много не наколдуешь, товарищ начальник, такое уж тут лело.

Начальник хорошо знает Ефима Петровича. Нагнетальщик — человек настырный: вцепится в какую-нибудь мелочь — клещами не оторвешь. А мелочь иной раз бывает и такая, что, право, не стоит даже с нею возиться.

Гончаров поднимается наверх, протискивается между стойками, садится рядом с нагнетальщиком:

— Ну, что тут приключилось?

Ефим Петрович молча кивает на угол стены.

Гончаров проводит пальцем по мраморному шву. Ничего особенного — едва заметное запотевание. Са-

мый придирчивый приемщик и тот не обратит внимания.

— А ржавчина, Андрей Иванович? — говорит нагнетальщик.

— Да, была когда-то течь, но, должно быть, давно заделана.

Нагнетальщик вздыхает:

— Кабы так, Андрей Иванович! Все слежу за этим местом, а в чем дело, ума не приложу.

Гончаров еще раз проводит пальцем по мрамору: теперь уж вовсе сухо! Он тоже закуривает папиросу и ждет, когда появится влага...

Вспоминается Ефиму Петровичу точно такая же течь на одной из станций. Целых два месяца изводила она нагнетальщика. Сушили течь и так и этак, цементного молока поверх всякой меры нагнетали — и ничего! Постоит неделю без влаги — и снова запотевание! В чем дело? Ефим Петрович голову себе ломал и днем и ночью. «Оставь, — говорили ему товарищи, — далась тебе эта капелька пота! Практически это ноль!»

— Ноль-то ноль, — говорит убежденно Ефим Петрович начальнику, тыча пальцем в мрамор, — но ведь метро-то наше столичное. А вдруг обнаружится течь при эксплуатации? Кто, спросят, проморгал? Ефим Петрович! Позору не оберешься.

— Правда ваша, — говорит начальник, — но течи здесь не вижу. Какая же это течь?

— Оно-то верно, — соглашается Ефим Петрович, — да как-то нельзя, сердце не велит.

— Ну что ж! — смеется Гончаров. — Вы настоящий целитель стен, подземный доктор, вам виднее.

Гончаров спускается вниз, мягко ступает резиновыми сапогами по зеркальному гладкому гранитному полу.

— До свидания, доктор!

Время позднее. Подъемник уносит людей на поверхность. Становится тихо, и только на дальнем участке, где работы идут круглые сутки, ярко светит электричество и шумит какая-то машина...

Ефим Петрович усаживается поудобнее. Его пытливый взгляд из-под полуприкрытых век начинает медленно скользить по стене. Где-то вот здесь под мрамором, в железобетонной рубашке подземного вестибюля, притаилась едва заметная трещинка. Надо найти ее, найти и навсегда забить цементом...

Ефим Петрович сдвигает на затылок жесткую горняцкую шапку и мысленно пытается проследить таинственный путь маленькой капли...

Нет, не до отдыха Ефиму Петровичу!

А наверху, над огромной толщей земли, — московская ночь. Город погружается в сон. Отходит последний электропоезд, который обычно увозит нагнетальщика домой. Поезд гудит низким, приятно звучащим басом и, кажется, отлично знает, где и почему задержался один из пассажиров — Ефим Петрович Чураков, неутомимый исцелитель стен.

1952

ПРОСТОЕ ДЕЛО

На столе звонит телефон, тот, что поближе к мастеру. Это внутренний, заводской телефон. Мастер дает ему отзвенеться как следует и только потом снимает трубку.

— Слушаю!

— Иван Кузьмич? — раздается в трубке.

— Седьмой десяток Иван Кузьмич....

— Желаете новость, Иван Кузьмич, хорошую?

— Давай выкладывай! Люблю хорошие новости...

— В цеху у нас снова большой день.

— Как так?

— А так.. Три заводских рекорда подряд, Иван Кузьмич!

— Я знаю два, а откуда же третий?

Иван Кузьмич внимательно слушает. Барабанит пальцами по толстому настольному стеклу.

— Да ну-у? — растягивая «у», говорит он. — Кто же это так? Перекрыл на тридцать процентов?.. Ка-

ким же образом? Ведь только вчера повышенную норму приняли...

И снова барабанит пальцами по стеклу, а трубку сильнее прижимает к уху.

— Сейчас всему заводу по радио сообщим, Иван Кузьмич...

— Не думал, что так скоро, — говорит в трубку мастер. — Сообщайте, а я иду поглядеть на молодца.

На этот раз разговор шел о ковке коленчатых валов для автомобилей. Еще вчера казалось, что из огромных молотов выжато все, что может дать современная техника. А нынче... Что же, выходит, превышена и новая, увеличенная норма?

Иван Кузьмич снимает очки, осторожно кладет их в старый, замасленный картонный футляр. Щуря глаза, он смотрит через стеклянную дверь на огромный кузнечный цех. В два ряда стоят молоты, и уходят те ряды далеко вперед и теряются в дымке. Все тут дышит горячим дыханием. Молоты бьют гулко. По рельсам, подвешенным через весь цех, движутся раскаленные болванки. В течение нескольких минут под ударами молотов они принимают форму коленчатых валов. И снова продолжают свой путь, но уже тусклые, словно степная луна, повисшая над горизонтом.

Высоко над головой — железные перекрытия, поддерживающие кровлю. Здесь, в этом высоком и просторном цехе, днем и ночью куется металл, который оживает совсем недалеко отсюда, на главном конвейере, и веселыми гудками автомашин прощается с заводом...

Каждый уголок этого цеха знаком Ивану Кузьмичу, как пять собственных пальцев. Мастер поступил на работу еще в то время, когда весь завод умещался на территории одного нынешнего кузнечного цеха. То был частный завод. Тогда еще юный Иван Кузьмич с трепетом переступил его порог и начал свою трудовую жизнь учеником. Он нарезал гайки обыкновенным ручным метчиком. Это был пытливый, ко всему тянущийся парнишка. Старый, добродушный мастер

оценил это качество Ивана Кузьмича, или просто Ванюши, и сделал его подмастерьем.

И вот однажды Ванюша задумался. Ему показалось, что можно нарезать гораздо больше гаек, ежели делать гайки определенного размера и не терять времени на розыски и замену метчиков... Эти свои мысли Ванюша поведал мастеру. Мастер внимательно выслушал и ни с того ни с сего выдал ему звонкую оплеуху.

Ванюша схватился за пылающую щеку.

— За что? — только и смог он выговорить сквозь слезы.

Мастер сказал жестко, словно вдалбливая в молодую, неразумную голову каждое слово:

— Оставь эти шутки, Ванюша! Люди из-за тебя кусок хлеба потеряют... Ежели каждый за двух работать станет, то куда, скажи на милость, податься заводскому люду? Подумала об этом садовая твоя голова?

На всю жизнь запомнилась та оплеуха...

Мастер идет по цеху с гордо поднятой головой. Этот цех, да и весь завод росли вместе с ним, и мастер чувствует себя настоящим хозяином. Не только завод, но и люди росли. Иные из них немало обязаны старейшему мастеру, ныне инструктору новых методов работы. Очень это приятно Ивану Кузьмичу: годами не молодой, а методами ведает новейшими.

Идет он по цеху, а сам ворчит про себя: «Тоже мне инструктор, нечего сказать! Вдруг вообразил, что предел достигнут, а Куренков и перехитрил тебя: на тридцать процентов вчерашнюю норму перекрыл! В общем третий рекорд. Просто здорово!»

Идет Иван Кузьмич, а вокруг него летают живые искры, словно он шагает по Млечному Пути. И нет прежней жары и прежнего чада в цехе. Около каждого огнедышащего молота, можно сказать, свой климат — специальные шкафы для охлаждения воздуха.

А вот и Куренков. Он словно из камня сделан — крепыш крепышом. В правой руке у него огромные

клещи, которыми он захватывает болванку и бросает ее под молот.

Подходит к нему Иван Кузьмич и говорит громко-громко, чтобы было слышно работающему Куренкову:

— Черт ты этакий, своего учителя подвел! Как же это ты, а?

А Куренков усмехается.

— Да вот, — говорит он, не переставая ковать, — простое дело. Прежде болванки шли вот тут (кивок головой налево), а я попросил чуток переставить, чтобы удобнее захватывать. И клещи малость переделал... Вот и весь сказ!

У Куренкова нет времени на более обстоятельные разговоры. Да и ни к чему они. Ивану Кузьмичу и так все ясно.

— Чуток переставил... малость переделал... — ворчит Иван Кузьмич. — Вишь, что получается из малости! Может, дело и простое, да не совсем.

Куренков захватывает новую болванку. Первый же удар молота по ней рождает миллионы искр. Иван Кузьмич привычно щурит глаза. Сердце старого мастера тоже искрится, как и тот солнцеподобный металл.

1952

МОЗАИКА

Тридцать квадратных метров, пятьсот тысяч камешков, три месяца... Сто́ит призадуматься над этими цифрами.

Тридцать квадратных метров — это площадь одной мозаичной картины, которую делают Иван Пономарев и его друзья.

Пятьсот тысяч — это число разноцветных камешков, которые надо уложить на полу, то есть составить из них картину, задуманную художником Сизовым. А затем всю эту груду камешков необходимо перенести на бетонную основу, установленную вертикаль-

но на специальных лесах. Это значит, что снова надо складывать картину из полумиллиона камешков, смазывая каждый камешек цементом и пригоняя к соседним...

А три месяца — это срок. Через три месяца мозаичная картина весом в пять с лишним тонн должна быть прилажена к сводам строящейся станции Московского метрополитена. Ну как не волноваться, как голове не идти кругом! А тут еще и переделка... Обязательно предстоит переделка!

Иван Пономарев — работник молодой, недавно окончил художественный институт. Возится он деньденьской со своими камешками. Старательно складывает картину: иногда привстанет, чтобы расколоть камешек и лучше его к месту пристроить. На дню раза три поднимется на высокую площадку, которая устроена над картиной. Поднимется под самую крышу, поглядит оттуда на свою работу, прикинет, что и как, — и снова садится на корточки и продолжает собирать камешки...

А всем делом руководит здесь художник Сизов. И замысел его и эскизы его. Восемь мозаичных картин должны быть готовы к сроку. Художник ходит от одной группы к другой, советуется, дает указания, торопит и тут же предупреждает:

— Чтобы качество было, качество!

За Пономарева и его друзей Сизов вполне спокоен: эти-то не подведут — трудятся не покладая рук. А картина должна быть лучшей из всех. Она изображает Красную площадь в Праздник Победы. Кремлевские стены, Мавзолей... Перед Мавзолеем — доблестные войска, офицеры, бросающие наземь гитлеровские знамена... Небо — из золота, настоящего, червонного: оно сверкает, словно солнце; а ели из зеленых камешков, и стены будто настоящие, кремлевские...

Иван Пономарев лезет на площадку, что под самой крышей, и целых полчаса глядит на картину. Потом берет в руки эскиз и долго не сводит с него глаз. Наконец, приняв какое-то решение, он быстро спускается вниз.

А Сизов уже тут.

— Иван Андреевич, — говорит он, обращаясь к Пономареву, — что это вы так долго любовались своей работой?

Пономарев молчит, собираясь с мыслями.

— Не нравится? — спрашивает Сизов.

— Не нравится.

— В самом деле?

Сизов взбирается на площадку и, поглядев вниз, говорит:

— Ничего, Иван Андреевич, неплохо.

Пономарев отрицательно качает головой.

«Что это с ним? — думает Сизов. — Работал, все будто шло неплохо, и нате вам — не нравится».

Сизов сходит по деревянной лестнице.

— В чем дело, Иван Андреевич?

Пономарев говорит тихо:

— Я, Пал Александрович, долго думал... Что-то не так...

Сизов просматривает эскиз. Что не нравится в нем молодому художнику? Пономарев молчит, словно ему неловко, а Сизов терпеливо ждет.

— Вот что, — говорит Пономарев. — Вы уж извините, Пал Александрович... Решил переделать этот кусок... немного изменить его. Эту фигуру со знаменем переставить правее, того офицера ближе к зрителю поставить. Так лучше. А елочки убрать...

— Елочки? Это почему же? — спрашивает Сизов.

— А их не видно, — говорит Пономарев.

— Как так не видно?

Сизов прохаживается возле картины, снова присматривается к эскизу.

— Что ж, по-вашему, — говорит он не без раздражения, — заново делать эту часть?

Пономарев молча кивает головой.

— Позвольте, Иван Андреевич, с чего вы это взяли? Или затянуть работу задумали?

— Нет, Пал Александрович, я ночами поработаю... Не в этом дело... А картину надо исправить, — говорит Пономарев.

— С чего вы взяли, Иван Андреевич! Почему эти фигуры и эти елочки вдруг оказались не на месте?

Пономарев вскидывает большие серые глаза.

— А потому, Пал Александрович, — говорит он еще тише обычного, — что в тот самый день я стоял вот тут вместе с солдатами... Мы прибыли из Берлина прямо на Красную площадь... Все сам видел и пережил...

Сизов удивленно глядит на Пономарева.

— Ну, что же, переделывайте, коли уж так. Не возражаю.

И Сизов отходит. «Нет, Пономарев не подведет, — говорит он про себя, — не таковский он!»

А Пономарев, раскидав камешки и яснее припоминая тот самый день, убирает елочки, заново делает фигуры офицеров — стройных, сильных, с презрением швыряющих на землю вражеские знамена.

1952

НАТАША

Петр Дорофеев шумно вздохнул, выругался про себя и бросил телефонную трубку на рычаг.

Ольга Кирилловна вздрогнула, но продолжала глядеть в окно.

— Петенька, — сказала она, не поворачивая головы, — Наташа все еще возится со своими песками... Вот высыпала из ящиков на бумагу... Взяла полную горсть... Просеяла сквозь пальцы, словно муку... Наполнила ящичек... Наклеила бумажку на ящичек и что-то надписала...

Ольга Кирилловна — женщина лет сорока пяти. Она одета по-домашнему: пестрый халат, расшитые цветочками бархатные туфли, на голове шелковая косынка, такая же пестрая, как и халат.

— Ты знаешь, — продолжала Ольга Кирилловна, поглаживая одной рукой огромного сибирского кота, а другой держа роговые очки перед глазами, — Наташа очень мила... Я на ее месте постаралась бы не за-

горать... На носу и на шее сходит кожа, точно ошпарили кипятком...

Петенька — молодой человек лет двадцати пяти, атлетического сложения: грудь колесом, могучая шея, огромные ручищи. Однако в семье принято считать, что Петенька не очень крепкого здоровья. Более того, по словам Ольги Кирилловны, ему вечно угрожала какая-нибудь беда. «У него легкие слабы», — вздыхала она. В двенадцать лет его оторвали от школы и усиленно лечили в Крыму. На втором курсе института какой-то знакомый врач обнаружил недостачу гемоглобина, и его снова усиленно лечили. На третьем курсе обнаружилось, что у Петеньки расшатана нервная система. «Вы понимаете, — говорила с тревогой Ольга Кирилловна, — никогда ни в чем не перечил мой Петенька и вдруг...» И за этим следовал потрясающий рассказ о том, как Петенька наотрез отказался от сладких блюд. Но это, дескать, не все. Петенька стал разборчивым в еде, все чаще отказывался от того, что предлагала ему мамаша. И это несмотря на грозное напоминание о тех временах, когда его легкие подверглись ужасающему наступлению детского туберкулеза...

Словом, Петеньку понемногу начинала тяготить эта мамашина опека...

Иван Никанорович Дорофеев, отец Петеньки, держал сторону жены. Этот кроткий, трудолюбивый зубной техник был полон глубоких чувств к своей могущественной супруге, каждое слово которой он обычно выслушивал с видом глубокого почтения. Жизнь семьи Дорофеевых, что называется, текла плавно, если не считать некоторых душевных потрясений, связанных со здоровьем Петеньки. И вот, когда казалось, что здоровье окончательно укрепилось, причем укрепилось настолько, что Петеньку обычно принимали за боксера, вдруг нагрянула новая беда. «Именно беда!» — так выразилась сама Ольга Кирилловна.

Дело в том, что Петр Иванович Дорофеев (он же Петенька) окончил институт.

— Какая же это беда? — спросите вы.

Верно, беды никакой. Петенька получал стипендию, учился неплохо и, само собой разумеется, должен был окончить институт. Это закономерно, и беды тут нет никакой.

Итак, Петр Дорофеев стал молодым инженером-электриком. В этом тоже нет ничего странного. Раз ты учишься в институте, стало быть, будешь инженером. К этому непременно надо быть готовым.

Беда заключалась в том, — и это сильно огорчило семью Дорофеевых, включая многочисленную родню, — беда заключалась в том, что Петеньке пришлось подумать о работе.

Впрочем, это не совсем точно. Само собой разумеется, что если ты учишься на государственный счет, если ты оканчиваешь институт и становишься инженером, надо подумать и о работе. Против этого не возражала даже Ольга Кирилловна. «Работать так работать», — решила мама. Но вот беда: где работать?

Однако заметим тут же, что ответ на этот вопрос не составлял никакой тайны. Комиссия, которая ведала распределением молодых инженеров, назначила Петра Ивановича Дорофеева в Саратов. Вот в связи с этим и произошел переполох в семье Дорофеевых.

Ольга Кирилловна заявила на семейном совете, что согласна, чтобы Петенька работал за пределами Арбата, но не далее московской городской черты. «Арбат! — восклицала она. — Мы всю жизнь прожили в нашем тихом переулке, где жили и наши отцы и деды. Пусть Петенька работает где-нибудь в другом городском районе. Но покинуть Москву? Никогда!»

На кроткое замечание Ивана Никаноровича о том, что надо бы, дескать, поработать в молодые годы там, где это всего нужнее, супруга ответила испепеляющим взглядом. «Петенька будет работать в Москве и никуда не поедет», — так решила хозяйка и, как говорится, на этом поставила точку.

Что же касается самого Петеньки, он не совсем ясно представлял свою жизнь вдали от Арбата, от давнишних друзей и, скажем прямо, жизнь без папы

и без мамы. Вот почему, следуя советам Ольги Кирилловны, он стал звонить своим друзьям и знакомым, прося их содействия, чтобы остаться в Москве «на любой работе».

Дело поначалу казалось несложным. Петенька прилежно звонил, копил врачебные справки, оттягивал свой отъезд к месту назначения...

Так продолжалось месяц, два месяца... Пошел и третий месяц, а звонкам и просьбам конца не видно. У Петеньки, не в пример Ольге Кирилловне, терпение готово было лопнуть. Мальчик, как называла его мама, несколько раз пытался покончить с этим унизительным занятием — со звонками, просьбами, анализами и так далее. Но это, очевидно, было проявление минутного отчаяния и упадка душевных сил (так определяла Ольга Кирилловна)...

Петенька только что бросил в сердцах телефонную трубку и лениво листал записную книжку. Он расправил пятерней буйный вихор волос соломенного цвета.

— Да, очень мила, — говорила между тем Ольга Кирилловна, следя взглядом за девушкой во дворе.— Что она делает, Петенька, с этими песками?

— Работает, — ответил сын, думая о чем-то своем.

— В пустыне?

— Да, в пустыне.

— Одна?

— Там, говорят, немало народу, — процедил сквозь плотно стиснутые зубы сын.

— Я спрашиваю: одна, без родных?

— Одна, — пробасил Петенька.

— Что же это такое? — сказала удивленно Ольга Кирилловна. — Выходит, хрупкая девушка собирается строить канал? Где это, в Туркмении? А как она попала туда?

— Очень просто. Окончила институт. Специалист по почвам. Послали — вот и попала!

На этом, казалось, иссяк интерес нашей хозяйки к девушке. Она строго посмотрела на сына.

— Ну? — проговорила Ольга Кирилловна нетерпеливо.

— Не отвечает, — сказал уныло сын.

— Звони Сергею Сергеичу!

Петенька набрал нужный телефонный номер.

— Сергей Сергеич? — спросил он в трубку. — Дорофеев говорит, Петр Дорофеев. Здравствуйте, Сергей Сергеич. Вам привет от мамы... Я хотел бы узнать, Сергей Сергеич... Что? Врачебную справку привезу. Сегодня иду просвечиваться. Завтра будут готовы новые анализы... Когда можно к вам? Завтра вечером? Спасибо!

Петенька положил трубку, торопливо черкнул на листке бумаги: «Завтра к Сергею Сергеичу». Он с грустью пробежал листок, испещренный заметками. Нельзя сказать, чтобы они, эти заметки, отличались большим разнообразием: «Сегодня к Степану Ивановичу», «В шесть к Тимофееву», «В восемь звонить Илье Ильичу», «В субботу с утра в поликлинику», «В понедельник к Сергею Сергеичу»...

— А, черт!.. — проговорил Петенька, отстраняя от себя надоевший листок бумаги.

— Петенька! — сказала решительно Ольга Кирилловна, приметив, что сын снова начинает терять душевное равновесие. — Петенька, не глупи! Позвони Ивану Демьянычу, Татьяне Михайловне, Кузьме Ильичу постарайся напомнить...

Сын сидел у телефона мрачнее осенней тучи...

В это время постучали в дверь.

— Кто это еще? — проворчала Ольга Кирилловна и зычно крикнула: — Войдите!

Дверь тихонько отворилась, и в комнату просунулось смуглое улыбающееся лицо. Розовый нос и белые зубы слишком явственно обозначались на этом лице, и Ольга Кирилловна, хоть и была близорука, тотчас признала Наташу.

— Ах, Наташенька, — сказала она нараспев. — Входите, милая, входите!

— Я на минутку, — ответила Наташа, все еще оставаясь за дверью. — Здравствуйте, Петр Иванович. Не помешаю? Всего один звоночек...

— Входите, Наташа, — пригласил ее Дорофеев, поднимаясь с кресла, — звоните сколько угодно.

Девушка распахнула дверь и, смущенно извиняясь за свой вид («ужасно домашний вид»), вошла в комнату.

Каких-нибудь три года тому назад она вступила в третье десятилетие. Это была невысокая, стройная девушка с темными блестящими зрачками, с добродушно-лукавой усмешкой на губах. Ее вздернутый нос, пострадавший на южном солнце, обветренное лицо и загорелые руки неопровержимо свидетельствовали о знойном климате Туркмении.

Дорофееву девушка показалась очень счастливой и беззаботной. «А что ей? — угрюмо размышлял Петр.—Звони себе кавалерам, живи, веселись! Ни тебе Сергеев Сергеичей, ни тебе Иванов Демьянычей...»

Наташа стояла у телефонного столика, чувствуя себя неловко под критическим взглядом Ольги Кирилловны.

— Петенька,—заметила Ольга Кирилловна,—ты звони... Слышишь?

Наташа густо покраснела.

— Я сию минуту,—сказала она тихо.

Сын что-то буркнул в ответ матери и вежливо предложил девушке кресло.

— Наташа,—сказал он, отчеканивая каждое слово,—вы можете звонить сколько вам угодно. Сколько угодно. Прошу вас!

Ольга Кирилловна нахмурилась и вышла в другую комнату, плотно прикрыв за собою дверь.

— Мне очень неудобно, — проговорила Наташа, не решаясь сесть в предложенное кресло.—Ольга Кирилловна, кажется, недовольна...

— Не обращайте внимания,—сказал Дорофеев.— Вы тут ни при чем! Звоните.

— Я помешала вам?

— Пустяки.

Наташа набрала номер.

— Занят,—сказала она.

Петя обратил внимание на Наташины туфли, покрытые пылью того же цвета, что и пески в ее ящичках.

— И вам много приходится работать? — спросил он.

— Не очень, — ответила Наташа. — Там, в Босага...

— Где?

Наташа рассмеялась.

— Мне почему-то кажется, что всем должна быть знакома эта самая Босага — деревня на берегу Аму-Дарьи... Там работы по горло! А здесь что? Привезла пробы. Жду результатов анализа — и все! Вот у вас, наверное, уйма работы.

— У меня? — спросил удивленно Дорофеев и тут же спохватился: — Да, тоже немало... Звонки всякие... Дела разные...

Он старался говорить свободно, даже чуть развязно, чтобы не выдать ложь, которая была ему нынче противна. Он чувствовал на себе острый девичий взгляд и, говоря откровенно, краснел в душе за Петеньку Дорофеева.

— Я понимаю вас, — соболезнующе заметила Наташа. — Сборы всегда доставляют массу хлопот. Когда мне вручили направление, я попросту растерялась: не знала, с чего начать, кому звонить, чтобы проститься. Друзья в разгоне: одни едут туда, другие сюда! А сама волнуешься: как бы чего-нибудь в дорогу не забыть! Верно?

В ответ Дорофеев кивнул ей.

— В лабораторию невозможно дозвониться, — говорила она, еще и еще раз набирая номер. — Приезжают отовсюду: из Куйбышева, из Сталинграда, из Каховки... Требуют заключений по почвам, по фильтрации воды... У нас на канале целая проблема — фильтрация! Пески пропускают воду. Вы знаете сколько?

— Наверное, очень много...

— Вы правы, много... Ой, кажется, дозвонилась! — воскликнула Наташа. — Будьте добры, попросите товарища Филимонова. Спасибо... — Наташа снова обратилась к Дорофееву: — Филимонов — знаток Туркмении, он изучил каждую пядь по трассе канала... Александр Павлович? — справилась девушка

по телефону. — Здравствуйте. Говорит Громова. Скажите, пожалуйста, можно занести новые пробы? Я их получила вчера... Большое спасибо, Александр Павлович!

Наташа перевела дух. Дорофеев не сводил с Наташи остановившихся глаз.

— Я оторвала вас от занятий... — пробормотала она виновато. Наташа поднялась.

— Нет, — сказал Дорофеев твердо. Он встал и вежливо, но решительно усадил ее на место. — Лучше расскажите о своем житье-бытье...

— Да что рассказывать? Изучаем почвенные условия. Ведется съемка трассы... С каждым днем все больше людей и машин.

— А где ваши родные?

— Родные? В Рязани.

— А в Туркмении жарко?

— Словно в пекле, — ответила она.

Наташа окинула взором голубые обои, книги, аккуратно сложенные на полках, электрические приборы, которыми был заставлен круглый столик в углу.

— Я очень люблю электричество, — сказала Наташа и вдруг громко рассмеялась. — Какую же я сказала глупость! Кто, спрашивается, не любит электричества! Я хочу сказать: люблю электротехнику, но очень плохо в ней разбираюсь. Я знаю одного молодого электрика из Ашхабада. Он говорит, что на канале ему скучно. Ему хочется на Волгу. Его, видите ли, увлекает передача тока на дальние расстояния...

— А как вам живется в Москве? — перебил ее Дорофеев.

— Да как вам сказать? У тети неплохо. Москва, сами понимаете, очаровательна. Но работа тянет. Никогда не предполагала прежде, что будет так тянуть... Это, разумеется, прописная истина. Кого не тянет работа? Вам это лучше знать.

— Верно, всех тянет, — произнес Дорофеев так, словно ему сдавили горло.

— Вы, должно быть, поедете куда-нибудь на юг?

— На юг, — мрачно согласился Петя.

— Вот так всегда, — заключила Наташа, — одних

2*

притягивает север, вроде того инженера из Ашхабада; другие, вроде вас, мечтают о юге... А вы получили назначение?

Дорофеев подумал, прежде чем ответить. Назначение формально уже состоялось, и ему не приходилось кривить душой. И он твердо выговорил:

— Получил.

— Куда, если не секрет?

— В Саратов.

— Ой, как хорошо! На Волгу, значит.

Дорофеев встал и прошелся по комнате.

— Заболталась я, — сказала Наташа. — Звоните, пожалуйста, и скажите своей матушке, чтобы не сердилась на меня.

Дорофеев подошел к ней совсем близко. Угрюмость с него как рукой сняло.

— Вот что, Наташенька... — начал он скороговоркой. — Вы нынче вечером свободны?

— Да... то есть думаю, что да.

— Может быть, сходим в театр?

Наташа подумала.

— Не возражаю, — ответила она.

Дорофеев взял со стола листок бумаги, с остервенением изорвал его в клочки и разбросал по полу.

— К черту! — вскричал он.

Наташа поразилась внезапной перемене, происшедшей с Дорофеевым.

— Впрочем, один звонок с вашего разрешения, Наташенька. — Петр Иванович живо набрал номер. — Институт? Говорит Дорофеев Петр... Да, да... Где можно получить направление? У вас?.. Когда? Спасибо... Да, да, здоров. Вполне здоров, черт возьми!

Дверь из соседней комнаты отворилась. Вошла Ольга Кирилловна.

— Что? — взвизгнула она. — Что ты сказал?

Петенька окончательно превратился в настоящего Петра Ивановича.

— К черту! — крикнул он еще громче. — К черту все: и телефоны, и справки, и анализы... К чер-р-рту!..

Ольга Кирилловна поджала губы и проговорила как можно мягче:

— Что с тобой, Петенька?

— К черту, вот что! И... и Петеньку — к черту!

Ольга Кирилловна неуверенно шагнула вперед.

— Вы?! — обратилась к Наташе Ольга Кирилловна полунасмешливо, полупрезрительно. — Вы?!

Наташа беспомощно развела руками и едва смогла вымолвить:

— Нет.

Петр Иванович уже не обращал никакого внимания на оторопевшую Ольгу Кирилловну. Он накинул на плечи пиджак, поправил съехавший набок галстук.

— Покажите мне, Наташенька, ваши пески... — обратился он к девушке.

Вконец расстроенная Наташа молча двинулась к выходу. За ней последовал Дорофеев...

И первый раз в своей жизни Петр Иванович Дорофеев уверенно перешагнул через порог обжитого жилища, перешагнул, как настоящий мужчина.

1953

ОНА

Он даже и не заметил, как она вошла. Его на минутку отвлекла людская сутолока на перроне вокзала. Он только услышал чей-то вздох и повернул голову.

Напротив сидела девушка. Раскидав руки на спинке жесткого сиденья, она вздохнула еще раз. А потом улыбнулась и, будто обращаясь к нему, тихо сказала:

— Устала зверски...

Но она обращалась вовсе не к нему. Быстро отведя глаза, девушка занялась небольшим свертком, который лежал на сиденье. Она тщательно проверила,

в порядке ли обертка, и, усевшись поудобнее, прикрыла глаза, точно собиралась уснуть.

В вагоне электрического поезда горел яркий свет. Под ногами работал насос, нагнетающий воздух в тормозную систему. Поезд готов был тронуться с места.

Он оглядел ее и пришел к убеждению, что она очень мила. Ноги, руки и шея, вздернутый нос — все пропорционально. Одета была очень просто, но со вкусом, а вот босоножки ее изрядно поизносились.

Почувствовав, что за ней наблюдают, девушка сложила руки покрасивее и слегка приоткрыла глаза. Это были черные, словно отлакированные глаза, отражавшие мир как в зеркале.

Он перевел взгляд на кисти рук. И она тотчас же почти машинально сжала их в кулаки, и он не без основания решил, что ногти у нее явно не в порядке. Да и губы не крашены — небольшие, обветренные и оттого лишившиеся пунцового цвета. Ей можно было дать лет девятнадцать.

Про себя он уже определил, что работает она где-нибудь на заводе или фабрике. Об этом, по его мнению, свидетельствовала в первую очередь ее усталость. «Во всяком случае, серьезным делом занимается», — решил он.

И тут же нашел оправдание: не беда, если иногда и губы не подкрасит и ногти покрыть лаком позабудет — делом же занимается, а не баклуши бьет, как иные...

Он разглядывал ее слишком пристально, а может быть, придирчиво. Это смутило ее. Она вдруг прижалась лбом к стеклу и застыла. А потом резко отстранилась от окна и еще раз внимательно осмотрела свой сверток.

Нет, эта девушка очень мила. Не часто встречаются такие... Мужчина не очень понимал, в чем состоит ее привлекательность — для этого просто времени недостало. Но он верил в какое-то особое чувство, которое, как полагал, развилось в его душе в последние два-три года.

Девушке становилось неловко оттого, что мужчина, возраст которого она определяла примерно в тридцать лет, глядит на нее с нескрываемым любопытством, хотя и без того неприятно-грубого мужского выражения в глазах, которое ее обычно раздражало.

Он подумал, что она, пожалуй, пересядет на другое место, — ведь девушки в ее годы немного глупенькие и обычно не знают, как себя вести в присутствии мужчины. «Впрочем, это и понятно, — размышлял он, — мамам частенько недосуг воспитывать дочерей, папам — тем более, а в школе до этого никому нет дела».

Однако, к его удивлению, она обратилась к нему запросто, без тени кокетства и даже как-то по-деловому:

— Газеты у вас, должно быть, свежие. Можно одну из них? Какую-нибудь.

— Газеты? Пожалуйста, — с готовностью ответил он, вручая ей целую кипу.

— Ой, нет, только одну...

Она взяла ту, которая была сверху, и тут же углубилась в четвертую страницу или сделала вид, что углубилась.

А он, пристроившись поудобнее, все смотрел на нее. Она потихонечку убрала ноги под сиденье, поправила платье на коленях и кашлянула в маленький платочек, который тут же заправила за ремешок часов.

Очень часто человек живет сравнениями. Даже тогда, когда, казалось бы, ни о чем не размышляет... Сидя против девушки, он думал о той, которая ждет его дома (а может быть, и не ждет). Она называла себя его женою. В сравнении с этой, — усталой, одетой далеко не шикарно, та определенно проигрывала. И не могли дать перевеса той ни ярко накрашенные ногти, ни губная помада особого химического состава, ни тщательная завивка волос, ни платье самого модного покроя. Вот эта — с утомленным лицом и мягким голосом, лишенная нарочитого кокетства — показалась ему почти идеальной. И глухое

чувство неприязни к своей жене особенно обострилось в эту минуту. До малейших подробностей припомнились те сцены, которые обличали в жене человека сухого, эгоистичного, неизвестно почему полагающего, что весь мир обязан сосредоточивать свое внимание на ее капризах и поощрять их. Она никогда не испытывала приятного ощущения настоящей усталости, за всю жизнь не слепила ни единого кирпичика, не связала ни единого чулочка, не выстирала даже салфеточки. А эта, наверное, день-деньской трудится у какого-нибудь станка, а потом — дома...

Он был убежден, что именно у станка, ибо по всему видно, что она нынче не в канцелярии за секретарским столом поработала.

Он проникся к ней уважением, а при воспоминании о жене почувствовал себя глубоко несчастным. Вдруг ему стало грустно до ощущения боли в сердце.

Поезд двинулся с места и вскоре покатил. За окном мелькали сосны, зеленые лужайки, огороды, дома и снова появились ряды стройных сосен.

Девушка не отрывалась от газеты. Голова ее склонялась все ниже и ниже. Вдруг она выпрямилась и поспешно прикрыла рот ладонью.

— Не выспалась, — проговорила она извиняющимся тоном. — Встаешь в шесть. Бежишь как угорелая.

— Да, это рано, — согласился он. И спросил, хотя заранее знал ее ответ: — Разве учеба начинается на рассвете?

— А кто вам сказал, что учеба? Я работаю, — сказала девушка и вернула газету. — Спасибо, я не буду читать.

— Значит, работаете?

— Конечно.

— Учреждение?

— Нет. Небольшая фабрика.

Она с трудом удержалась, чтобы не зевнуть.

— Да, вы не выспались, — заметил он. — Но ничего, молоды еще.

— Как вы сказали?

— Молоды, говорю.

Она улыбнулась, ловко поправила пучок волос на затылке.

— Слава богу, уже двадцать.

— Разве это много?

— И немало...

В ее глазах засветились веселые искорки.

Ему не терпелось задать один из тех мужских вопросов, которые придают беседе облегченный характер (что-нибудь, например, насчет рук или волос). Но он так и не решился.

Девушка сплела пальцы, хрустнула косточками обеих кистей и шутя сказала:

— В мои годы отдых нужен. Вот приеду домой...

— И тут же в постель? — перебил он ее.

Она недоуменно пожала плечами, затем очень мило погрозила ему пальцем.

— Не такая уж старая. Посмейте сказать, что не так... А впрочем, ноги точно свинцовые.

Нет, девушка эта не могла не понравиться. «Ей бы немного из того, что у моей жены, — подумал он весело, — часть бы ее нарядов, часть денег и часть времени, растрачиваемого на безделье. Тогда бы эта выглядела писаной красавицей. Кажется, и характер у этой отличный... Хотя бы издали была похожа жена на эту девушку!»

Нынче он особенно был сердит на жену. Вероятно, явление это становится хроническим. Утром решительно заявил ей, что ему осточертели ее причуды. Она — в слезы. Как обычно. С трудом вырвался на работу. Вот и конструируй после этого машины! Целый день просидел в бюро, но ничего путного так и не сделал...

Одно время ему казалось, что все женщины похожи на жену. Но когда получше присматривался к окружающим, неизменно приходил к выводу, что ему просто не повезло. То есть не просто не повезло, а по-настоящему наказан судьбой! И он не понимал, за что же такое наказание...

Ему очень хотелось поддержать начатый разговор со своей попутчицей. И он сказал, что не так уж

трудно вставать рано утром, нужна только сила воли. А потом это войдет в привычку.

Она согласилась с ним, бросив «да», и тут же принялась рассматривать бегущие мимо строения.

Его немного покоробил ее короткий ответ. Он обратился к газетам. Но делал это для отвода глаз. А на самом деле потихоньку продолжал наблюдать за нею.

У нее красивый профиль. Лицо такое белое, не тронутое ни единым прыщичком или веснушкой. Молочно-белое лицо!

Он был доволен, что верно угадал в ней труженицу. В конце концов именно такою должна быть девушка: немного усталой от работы, дельной такой.. Чтобы спозаранку вставала, ездила бы на работу, возвращалась домой с натруженными руками. А та, другая, никогда не работала, не знала, почем фунт лиха, вечно лечилась и отдыхала после лечения, вечно ахала и болела всеми болезнями самого тонкого, а посему неизлечимого свойства... И чем дальше мчался поезд, тем больше нравилась эта случайная попутчица и тем больше сердился на ту, на свою неслучайную попутчицу (именно попутчицу!).

И очень обидно стало оттого, что живут на свете и ездят себе на электричках на работу очень милые девушки вроде этой, а он волей судьбы принужден делить кров с пустой и себялюбивой особой. Он был уверен, что эта девушка могла бы дать ему счастье, а он уж постарался бы тем же отплатить ей. Ах, как бы он старался и как бы лез из кожи!..

Поезд резко затормозил. Девушка вскочила и на ходу сказала:

— До свидания.

И побежала к выходу.

Он даже не успел ей ответить. Не предполагал, что так быстро сойдет. Ему казалось, что девушка живет где-то значительно дальше.

Она шагнула по бетонной платформе. Проходя мимо окна, улыбнулась. Кивнула головой. Вот мелькнули ноги в маленьких босоножках — и она скрылась. По-видимому, навсегда...

Он ехал пасмурный. Недовольный собой. Ему надо было бы подробно разузнать, кто она и что она. С хорошими, вдруг понравившимися людьми нельзя расставаться просто так, как в море корабли.

Он был почти уверен, что встретил ту, которая могла бы сделать его жизнь по-настоящему полной. Таких отыскивать надо! И он вспомнил одного из героев Жюля Верна, путешествие которого вокруг света и тяготы, связанные с путешествием, искупились уже тем, что возвращался он домой не один, но со славной женой...

Мужчина с грустью посмотрел на то место, где сидела она. Там было пусто.

Нехотя собрал газеты, сунул их в портфель.

Вот и знакомая остановка. Но он не торопился выходить. Хотелось ехать, ехать, ехать...

Поезд снова набрал скорость.

Может, это и смешно, но ему было приятно сидеть в полупустом вагоне и думать, что живет она где-то недалеко, почти под боком, одним словом, на земле...

И на том, как говорят, спасибо.

1957



НА МЕЖЕ

Межа — спор.
Пословица.

Случилось это давно, но, право слово, стоит рассказать об этом. Началось с того, что двое соседей — Етлух и Гыд — затеяли спор на меже.

— Надоел ты мне... — откровенно признался Етлух.

— А ты нехорошо поступаешь, Етлух, — упрекнул соседа Гыд.

— Это я-то нехорошо поступаю?

— А кто же еще? Ты отбираешь мою землю, а не я у тебя.

— Отбираю, говоришь? — Етлух остановил буйволов. — Моя земля или нет? Вот эта?

— Эта? Нет, — спокойно ответствовал Гыд.

— Интересно оч-чень. Ну, скажи, где же моя земля, сын мой? Да, видно, состарился Етлух: земли своей не знает.

Етлух присел под деревом. Закурил.

Верзила Гыд, нечувствительный к насмешкам, пустился в серьезный разговор:

— В прошлом году мы с отцом ломали здесь кукурузу. Помню, как груша упала мне на голову вот

на этом самом месте. Откуда же это твоя земля? Твоя за ольхой начинается. Видишь ольху?

Етлух не слушал его. Он задал вопрос:

— Ты знал моего дедушку Куфа? — Глаза Етлуха вдохновенно загорелись.

— Я и своего-то хорошо не помню.

— В таком случае послушай, — и да пойдут мои слова на пользу тебе! Это место, на котором мы стоим, полосой в двадцать шагов от ольхи, принадлежало моему деду. Ты спроси нарочно у Смела. Но твой отец — да пребывает его душа в покое! — воспользовался моей молодостью и перенес свою межу к ольхе.

Гыд заметил:

— Разве ты намного моложе моего отца?

Етлух вытряхнул трубку и пошел к сохе.

— Как же нам быть? — справился Гыд.

— Не околачивайся на чужом поле, бери соху и паши свое.

— Мое поле здесь, и незачем тебе топтаться на нем.

— Послушай, сын мой, — Етлух обратился в настоящего соловья. — Вместо того чтобы обманывать меня, старика, обманул бы зайца и заманил бы его сюда — он, я полагаю, пригодился бы нам.

Гыд стоял грузно, словно древняя крепость, и мрачно глядел исподлобья. Постоял, постоял и, когда затылок сильно припекло солнцем, пошел домой.

Гыд еще издали заметил старую мать, поджидавшую его на крыльце и готовившую ротозею достойную встречу. Хотел было улизнуть, да поздно, — окликнула.

— Что сказал этот мошенник, этот разбойник? Чтоб корова околела у негодяя! Что посмел он сказать?

— Ничего, — пробасил сын.

— Ну, а ты? А ты? Кормилец мой, опора старости моей, защитник мой, чтоб тебе пусто было! Ты чего, разиня, смотришь? Ждешь, когда из-под тебя постель вытянут? Не так ли, кормилец мой? Ах, почему

я пережила отца твоего! На кого понадеялась, на кого?

— На меня, — ответил Гыд, а у самого лицо мрачнее тучи.

— И тебе не стыдно? Да поразит тебя молния!

Сын промолчал.

— Лучше бы на облако положилась, лучше бы сказке поверила...

Молчание.

— Бросилась в пропасть, удавилась...

Молчание.

— Чего же молчишь ты, пропащий? — и, всхлипывая, мать продолжала: — Посмотрят люди со стороны, что скажут? Скажут: пока жил отец, все было хорошо, как умер — пошло кубарем. Известно: у дурака половину возьмут — не заметит. За дурака принимают тебя, за дурака! Входит это в твою медную голову или нет?

Гыд, по-видимому чувствуя некоторую долю вины, робко осведомился:

— Что мне делать с ним? Третий день все хожу и говорю: уходи. К начальнику округа, что ли, с жалобой...

— Чтоб в Мысыре быть тебе! * Меня спрашиваешь, что делать?! Ну, уж ладно, скажу! — вскричала старуха. — Выкинь его оттуда вместе с потрохами. Чтоб духу его не было! Наша земля, наша! — исступленно заметалась она.

Гыд щелкнул языком: ого, мол, много захотела!

— Как ты полагаешь: из мамалыги или же из сена сделан Етлух?

— Трус! Как есть трус! — завопила мать.

Равнодушно выслушивая брань, Гыд приступил к работе. Он отесывал колья, перебирал хворост, медленно, точно больной. А мать все причитала. Наконец она не вытерпела и сказала со злорадством:

— Вылитый Быда! Ну, как есть Быда, словно из гроба встал!

---

* Поговорка. Смысл — чтоб пропасть тебе. Мысыр — Египет, в представлении вчерашнего абхазца — предел отдаленности.

Это было уж слишком! Такого оскорбления даже Гыд не мог снести! Нет, черт возьми! Заговорила в нем гордость, закипела кровь!

Он нехотя положил топор, вздохнул и молча пошел со двора.

Кто же этот Быда? Кто он, чье имя возымело столь неожиданное действие на Гыда?

Быда был известен на всю общину, даже на весь уезд. Когда захотят надорвать себе животы от смеха, то кого-нибудь просят рассказать о нем. Не дай бог хоть немного быть похожим на него. Вот что в двух словах рассказывают о нем:

Однажды на меже произошла схватка между братьями Быды и соседями их, Аранами. Драка последовала после горячих споров, а посему была особенно ожесточенной. Со стороны Аранов участвовала вся мужская половина от мала до велика.

Быда, к несчастью, не мог постоять за своих. В ту пору он был слишком занят: перед ним стояла посуда с кислым молоком и тарелка мамалыги. И все же Быда пошел на последнюю крайность: время от времени бросал пытливые взгляды туда, откуда доносились крики и ругань. Порою даже и шею вытягивал. Однако хлев, стоявший неподалеку, закрывал от него поле битвы.

Наконец, теснимые Аранами, братья мало-помалу отступили к плетню. В ход были пущены кулаки, дубины, мотыги.

Братья сражались как львы. Удары сыпались на Аранов, словно град на землю. Но враг превосходил их численностью и беспощадно теснил.

— Земля наша! — хрипло орали братья.

— Ваша земля на кладбище, грабители! — зычно кричали Араны.

— Боже, — плакали женщины, — и зачем только создана земля?

Никто не знал этого точно, но, должно быть, затем, чтобы ложились на нее лентами межи и, не смолкая, стояли над нею ругань и крики, чтобы человек, обезумев, выл до упаду: «Моя земля, моя!»

— Бей их! — надрывались братья, вовсе выбившись из сил.

Быда тем временем продолжал свое «единоборство» с кислым молоком и мамалыгой. Все у него шло гладко. Но вдруг возьми да случись неприятность!

Один из Аранов угодил дубиной прямо в тарелку с простоквашей, которую держал Быда. Разбил ее — и был таков!

Вот тут-то и вспыхнул Быда! Охваченный гневом, он зарычал, точно медведь, схватил рогатину — и ну направо и налево!

Братья его перевели, наконец, дух: кто сплевывал кровь, кто почесывал бок, а кто и вовсе валялся в изнеможении.

Быда погнал Аранов, как баранту на пастбище, гнал, не давая им передышки.

После этого даже песенку сложили о Быде-герое, — в ней и Быде и кислому молоку было отведено должное место...

...Итак, оскорбленный Гыд решительно направился к сгорбившемуся над сохой Етлуху. «Возьму старикашку и выкину к черту», — думал он.

— Зачем вы меня мучаете? — сказал он, подойдя поближе к старику и заметно поостыв.

— То есть как это мучаем? — насторожился старик.

— Очень просто. Там она мне не дает покоя, здесь ты не хочешь уходить.

— Со своей земли никуда не уйду. И не жди!

— С твоей никто тебя не гонит. Моя земля! — И Гыд ткнул ногой в черный ком.

Тут Етлух с невероятной нежностью сказал:

— Ты говорил, что на тебя здесь упала груша...

— Верно. Отдыхал под деревом, и груша свалилась мне на голову.

— И ты считаешь, что участок этот ваш?

— Да, наш.

— Скажи, милый, а не отшибло ли у тебя память той самой грушей? Может, ваш участок начинается вот там? — И он указал куда-то за тридевять земель.

— Имей в виду, я не дурак. Это дураки на меня поклеп разводят, — пробурчал верзила. — Перестань скрести землю и убирайся восвояси!

Етлух стоял посмеиваясь:

— А ты, видать, весь в Быду уродился.

Тут уж Гыд окончательно вышел из себя.

— Вон отсюда! — взревел он. — Вон!

— Ты кому говоришь «вон», мальчишка? — И Етлух взмахнул хворостиной. Гыд схватился за спину.

— Помогите! — завопил Гыд.

— Мальчиш-ш-ка, — шипел Етлух. — Я прикончу тебя, как ящерицу!

Прикончить, правда, не удалось, — помешали подоспевшие люди, но пусть падет на врага вашего то, что посыпалось на Гыда в этот злополучный час!

Так бесславно окончился спор на меже.

Посрамленный Гыд с достоинством перенес свой позор. Он стал осторожнее. Что же касается спины, то Гыд, по-видимому, начисто выскреб из своей памяти неприятное впечатление, произведенное на нее хворостиной Етлуха.

Граница, казалось, была установлена навеки. На участке, послужившем причиной раздора двух соседей, выросла высокая кукуруза. Жизнь потекла по-прежнему, да ненадолго.

Послушайте, что было дальше.

Етлух имел побочный заработок — отдавал внаем коня. Надо кому-нибудь в город съездить, за солью или с жалобой к мировому судье, или, еще лучше, фельдшера пригласить,—идет к Етлуху, платит за коня и обыкновенно к вечеру возвращает его.

Как-то в темный августовский вечер окликнули из-за плетня:

— Эй, Етлух!

Етлух пошел на зов, и в светлом четырехугольнике дверей показалась его фигура.

— Принимай лошадь, Етлух!

— Иду, иду, — отозвался Етлух. — Быстро же вы съездили...

И тут раздался выстрел.

Заметались, завыли собаки, издалека придушенным лаем отозвались другие. Вскоре разнесся отчаянный женский крик:

— Погиб, несчастный! Погиб!

Да, Етлух был убит.

А преступник?

Ночная тьма — недурной покров, и видеть сквозь нее не так уж просто. Однако все решили в один голос: это Гыд.

К счастью, Гыд в это время пировал в соседней деревне, на свадьбе. Там же был и старшина. Лучшего свидетеля и не придумаешь. Власти посуетились немного и сказали: аминь!

А ведь началось все это очень просто — с того, что двое соседей затеяли спор на меже.

1937

НАЧАЛЬСТВО ПОЗАБОТИЛОСЬ

Друзья! Хочу поведать вам о великом горе, постигшем наше село много лет назад.

...Однажды на исходе лета сидели мы у одного соседа. День был жаркий, и в тени большого орехового дерева отдыхалось неплохо. Птицы и те попрятались от солнца под дом. Ястреб покружился над опустевшим двором, повернул на север и вскоре обратился в маленькое, словно родинка на лице, пятнышко.

Хозяин был весьма приветлив. После обычных любезностей он приказал принести кувшин вина. Но тут вмешался Билал.

— Очень жарко, чтобы пить вино, — заметил он.

— Вино у меня такое, что и в княжеских погребах не сыщешь, — пояснил Данакай, хозяин дома.

Должен заметить, что Данакай любил бахвалиться. Самолюбие у него было развито до крайности.

Подражая князьям, притворялся необычайно вспыльчивым. Как и все подражатели, он усугублял черты оригинала.

— Ты ужасный человек, Данакай, — смеясь, говорил Кан. — Ни в чем не уступаешь князьям!

Данакай был польщен, однако сделал вид, что не расслышал сказанного. Мальчик принес вино, а затем и закуску: сыр, мамалыгу, курятину.

Куат — о болтун! — поднял бокал, и мы уже заранее знали, что надо набраться терпения.

— Нас пятеро, — начал Куат. Он сказал это с достоинством, и можно было подумать, что говорит первый человек среди людей, а не славящийся на всю округу лгун и мошенник. — Нас пятеро, — повторил Куат. И вдруг выронил стакан. — Тьфу, черт возьми, Сабыда идет!

Мы обернулись и увидели грузную фигуру старшины; он шел, переваливаясь с ноги на ногу, словно утка. Известно, что крылатые муравьи предвещают беду. Сабыда в этом отношении очень походил на них: за ним всегда тянулись дурные вести. Поэтому-то Кан предупредил нас:

— Не ждите ничего доброго!

Мы продолжали попивать вино внешне спокойно, стараясь ничем не выдать нахлынувшей тревоги. Тем временем старшина подошел к нам. Мы встретили его с отменной учтивостью.

Кашлянув, Сабыда уселся. Выпили несколько бокалов, обменялись тостами, а Сабыда все еще молчал, не говоря ни слова о цели своего прихода. Он громко сопел, трудясь над обильной закуской. Прошло еще немало времени, прежде чем он, наконец, заговорил.

— Недурное у тебя вино, — сказал он, обращаясь к хозяину, — ей-богу, недурное! Хотел бы я знать, каким способом ты давишь виноград? Не сомневаюсь, что секрет такого вина заключается именно в этом. Возьмем, к примеру, Джансуха; казалось бы, его кривыми ногами только виноград и давить. Да, да, не смейтесь; но от его вина, право слово, меня тошнит. Напиток у тебя хороший, хорошо и то, что я застал

у тебя такую компанию, — меньше придется таскаться с этим казенным делом.

— О каком казенном деле речь? — перебил его Билал. — Клянусь Илорской иконой, я не понимаю тебя!

— Вечно вы ершитесь, когда являешься к вам, а начальство наказывает почаще заглядывать, — спокойно ответил Сабыда. — Нехорошо поступаете, по крайней мере по отношению ко мне, — ведь я всего-навсего ревностный исполнитель закона. Я знаю, что наши крестьяне хотят жить по указам, писанным на воде, и подчиняться только движению звезд. Что же, это было бы неплохо, да правительству накладно. Одним словом, суть дела вот в чем. — Он высморкался и продолжал, роясь в карманах: — Жарища ужасная! Как вы думаете, не к дождю ли это? Так вот получен приказ...

Он достал из-за пазухи плотную бумагу, разгладил ее ладонью и положил перед нами, ткнув пальцем в большую круглую печать.

— Это очень важный приказ, — сказал он. — Бумага эта, как вы изволите видеть, не совсем простая. Посмотрите на свет: ведь это вексель, а не приказ! На такой не станут писать по пустякам.

Затем он начал улещать нас, пересыпая речь разными дурацкими прибаутками и шуточками. Мы терялись в бесплодных догадках, ничего не понимая, словно разговор велся на иностранном языке.

— Послушай, Сабыда, — перебил его Кан, — время тревожное, может, о войне приказ?

— О войне? — сказал старшина. — А разве слышно что-нибудь?

— Нет, ничего не слыхать.

Тогда Билал взялся перечислять подати, сопровождая каждую из них словами: «Уже собрана». Загнув пять пальцев, он вопросительно уставился на Сабыду.

— Дело тут иного характера, — сказал тот. — Разговор идет о нашей общей выгоде. Мы должны в обязательном порядке послать на учение одного мальчика...

— Что такое?! — вскрикнули мы в один голос.

— Послать на учение — так сказано в приказе.

— Что значит послать? — сдерживая гнев, спросил Данакай. — Это похоже на высылку!

— Да, послать, — повторил старшина.

— И ты за этим явился в мой дом?! — с негодованием продолжал Данакай.

— Скажи-ка, — сказал Кан, — почему князь не посылает своих детей на это самое учение?

— Откуда мне знать! — вскричал Сабыда. — Он мне этого не говорит.

— А ты поди узнай.

Завязалась такая перепалка, что несчастный старшина проклинал день своего рождения.

Хозяин убеждал, что все это проделки князя Хабуга, который понимает, что он, Данакай, влиятельный человек в селе, а потому всеми силами старается напакостить ему. Тогда старшина заявил, что этот приказ относится не только к Данакаю, но и ко всем остальным жителям.

— Убирайся со своим приказом! — вскричал Кан. — Мы враги нашим детям? Как посмел ты, Сабыда, предложить нам такое, что даже врагу не придет в голову? Послать мальчика! С каких это пор начальство стало сеять добро? Научится! Научится! Знаем мы, чему он научится! Это делается, чтобы выманить у нас аманатов!* Не правда ли, ловко придумано?

Билал не имел детей, поэтому пытался успокоить нас.

— Постойте, — сказал он, — надо рассудить.

— Вот именно, — обрадовался старшина. — Надо рассудить.

— Постойте, — повторил Билал. — Дело в том, Сабыда, что мы не верим начальству. Понятно? Раз Хабуг не посылает своих детей, стало быть, здесь дело не чисто. — Однако, спохватившись, что сболтнул лишнее, Билал заметил: — Конечно, может статься, дело это неплохое. Ученье — свет, как говорится... Но

* Аманат — заложник.

видишь ли, Сабыда, князь ничего хорошего мимо себя не пропускает, все хорошее загребает себе. Вот нас и берет сомнение. Ты не сердись, Сабыда, но это так. Надо рассудить хладнокровно.

— Это дермо, а не приказ! — не унимался Данакай. — Если бы все делалось по вашим бумажкам, то нас всех давно не было бы в живых.

— Послушай, Сабыда, а почему именно наше село должно выделить мальчика? Уж не тебе ли мы обязаны?

— Ей-богу, не знаю почему, — проговорил Сабыда и, вздыхая, выпил вина. Он немного повеселел и продолжал: — Черт бы вас побрал! Эта затея мне так же нужна, как буйволу ярмо! Проклятый приказ! Целое утро таскаюсь с ним, куда ни загляну, везде поднимают крик. Ей-богу, не пойму, что делать! А знаете ли, что начальник сказал? Вот его доподлинные слова: «Эй, Сабыда, пойди-ка сюда, — подозвал он меня. — Вот тебе приказ. Послезавтра приведешь сюда мальчика, которого мы пошлем учиться. Передай своим, что такое счастье им выпадет еще не скоро, и пусть твои земляки благодарят бога, ибо, может быть, мальчик этот как-нибудь пробьется к свету из вашей кромешной тьмы».

— Молод твой начальник, чтобы нас обманывать! — сердился Кан. — Если ему хочется учить наших детей, пусть это делает здесь, в селе, а не где-нибудь!

— Брось, — остановил его Билал. — Кто о тебе думает? Кому нужны твои дети? Тут какая-то уловка — вот и все!

На этом и закончился наш разговор.

По всей деревне только разговору было, что об этом деле. Как много проклятий посыпалось в тот день на голову начальства!

А Сабыда, не желая показаться нерадивым, пошушукался со своими приспешниками и к вечеру назначил сход. Он строжайше наказал своим есаулам оповестить все дворы, где имеются подростки.

Сход собрался вовремя. Одни требовали, чтобы были отправлены люди к начальнику округа с жало-

бой на самоуправство уездных властей. Другие в сердцах плевались и угрожали оружием. Женщины подняли плач.

Сабыда взобрался на шаткую лестницу сельского управления. Весьма осторожно в длинной туманной речи он еще раз изложил суть дела; в правой руке старшина держал приказ, и, когда в голове не хватало мыслей, он размахивал им. Его слова были встречены угрюмым молчанием.

Но вот на лестницу поднялся Киагуа. Он обнажил голову и обратился к нам:

— Смотрите все: я стар, волосы мои белы, как снег на Эльбрусе. Но никогда не слыхал, чтобы князь Хабуг и его друзья делали добро, а зло — пожалуйста! Пойди, Сабыда, и спроси начальника, в чем провинились наши дети.

Киагуа произнес это с таким чувством, что даже Сабыда прослезился.

Потом старшина подошел к князю Хабугу, и они начали совещаться. И тут вышел Саат, великий молчальник Саат. Он потребовал тишины и промолвил, отчеканивая каждое слово:

— Не будем входить в подробности этого приказа. Ясно одно: надо найти подростка.

Толпа яростно зашумела.

— Постойте,— продолжал он. — Я еще не кончил. Но мы должны выбрать такого мальчика, который был бы в тягость своим родителям. Кого я имею в виду? Я говорю о сыне вдовушки несчастного Кадыра. Отправим его.

— Верно!

— Правильно!

— Саат сказал истину!

Тысяча людей облегченно вздохнула.

Сейчас же разыскали вдову и объявили ей о решении схода. Что могла она возразить? Одна, и заступиться за нее некому. Крыша в избушке протекала. Трое детей ходили голые, босые. Не хотелось отдавать мальчика, но что поделаешь?.. Она плакала тихо-тихо. Когда к ней подвели сына, чтобы проститься, она упала на землю.

Мы стояли, опустив головы. Черная туча легла на наши сердца. Мальчик вырос у нас на глазах, и, как ни говорите, тяжело было терять его. А он, худой и бледный, словно придавленный неведомой тяжестью, смотрел куда-то вдаль.

Все было в его юном взгляде: и страх, и решимость, и горе!..

1937

ШАКАЛ

Кто из вас помнит Ка́на? Под конец жизни он ослеп и согнулся, как сгибается подсолнух под тяжестью созревших семян. Долго обходила его смерть, которую тщетно призывал он на старости лет.

А кто из вас помнит Кана, цветущего, широкоплечего Кана? Тем, кто не знал его в молодости, не следовало бы глядеть на него в старости. Росту в нем было три аршина, станом он был строен, словно девушка, а руки? — не руки, а медвежьи лапы! Это был настоящий мужчина, друзья мои!

Кан очень редко бывал дома — всю свою молодость провел в лесу, на охоте. Он брал ружье, побольше пороху и уходил неизвестно куда. Изредка встречали его у какого-нибудь родника или отдыхающим в лесу, на зеленой лужайке. А за долгие осенние месяцы, богатые охотой, заходил к себе домой только раз или два. Недаром прозвали его Лесным Человеком.

Кан не любил длинных разговоров. Каждая минута его жизни была посвящена делу, а если уж он сидел сложа руки, что бывало очень редко, так это значило, что он обдумывал какое-нибудь новое предприятие, рискованное и сложное. Долгая жизнь в лесу и общение с его обитателями, часто страдавшими от верных выстрелов охотника, выработали в Кане редкое бесстрашие и стойкость духа. Достаточно сказать, что из всех живущих на земле только Кан вступил в единоборство с русалкой и победил ее. Вооруженный кинжалом, Кан легко справлялся с самым

крупным медведем. Многое перевидал он, и храбрость его не имела границ.

...Как-то раз вечером, когда уже первые сумерки спустились на землю, скрипнула калитка, и незнакомый человек вошел в мой двор. Куры уже устраивались на нижних ветвях деревьев, снеговые горы едва были видны сквозь туманную дымку, и узнать кого-нибудь за тридцать-сорок шагов было очень трудно.

Вот почему только тогда, когда нежданный гость подошел к самому порогу, я воскликнул:

— Кан! Это ты? Добрый вечер, Кан.

В тот вечер у костра сидели ближайшие мои соседи и в числе их Билал, близкий моему дому человек. Был этот Билал немного робок, и проклятая робость порою превращала его в настоящую улиту, — иначе как назвать человека, способного лебезить перед нашим старшиной, остолопом Сабыдой! Из-за этого мы часто ссорились с Билалом.

Сидел у костра также и Смел, чудак, каких редко встретишь; после работы он направлялся к шоссе, зазывал к себе случайных путников, оставлял ночевать и спаивал их. Хозяину это доставляло большое удовольствие.

Случилось также быть у меня и несчастному Кутату, молодому человеку, так печально окончившему свою жизнь: он пал жертвой любви к одной девушке из соседней деревни. Вот как будто и все. Впрочем, пожаловал еще и Куат, известный вор, вечно ходивший в черкеске с изодранной полой, что свидетельствовало о его ночных похождениях. Не знаю, каким ветром занесло его ко мне, но после его посещения я принял меры, чтобы впредь крепче запирались ворота.

Когда явился Кан, все присутствовавшие разделили мое удивление, в том числе и Кутат, приходившийся Кану внуком.

— Садитесь, пожалуйста, и не беспокойтесь ради моего прихода,— сказал старик, присаживаясь к огню. — Я немного промок и хотел бы погреться.

В самом деле Кан был очень бледен. Он подви-

нул к костру свои ноги, по колено испачканные в грязи, да так близко, что пламя почти касалось их. Гость почесывал подбородок и время от времени плевал в золу.

— Послушайте, — обратился он к нам, грея свои огромные ладони, — я вижу по вашим лицам, что вы удивлены моим нежданным приходом. Да и я, признаться, немало смущен, видя вас. Исходил сегодня не менее пятидесяти верст по самым диким чащам и, говоря откровенно, устал изрядно.

Кан попросил воды и, выпив с превеликим удовольствием целых два стакана, продолжал:

— Я проверил все неприступные заросли и посетил места медвежьих зимовок. Я исходил самую дикую часть нашего уезда. Скажу почему.

Кан оглянулся вокруг, как бы ища чего-то глазами. Наконец нашел: это была глубокая тарелка. Он взял ее в руки.

— Спускаясь к небольшой речке, я обнаружил на влажном берегу какие-то следы величиной вот с эту посудину. Было это вчера. Следы шли один за другим в определенном направлении. Поэтому-то и обратил на них внимание. Когда же рассмотрел их поближе, меня обуял страх. Волосы на голове стали дыбом, и я невольно отступил назад. Почему? — Кан поставил тарелку на место. — Потому, что они принадлежали шакалу, — сказал он скороговоркой.

— Как? Шакалу? — поразились мы. — Ты шутишь, Кан?!

— Да, сомнений быть не могло, — продолжал невозмутимо охотник, — я напал на следы исполинского шакала. «Кан, — сказал я себе, — если когда-либо суждено случиться чему-то необыкновенному в твоей жизни, то теперь оно не за горами. У этого шакала морда не меньше, чем у твоего буйвола, зубы его, пожалуй, по размерам превзойдут зубы нашего Куата, ума не больше, чем у Билала. Один его вой убьет тебя. Что же ты будешь делать, несчастный?»

Куат и Билал шумно запротестовали. Кан продолжал:

— Так говорил я себе. Однако, недолго раз-

мышляя, я пошел за зверем, стараясь прятаться как можно лучше. Ружье я держал наготове. Но вот у самой реки следы исчезли. Напрасно потерял я целый день в бесплодных поисках — зверь будто в воду канул. Сегодня поутру я снова напал на его след. Он тянулся от лесной опушки к седловине. Дождь размягчил землю, и зверь оставил на ней отпечатки своих лап... Вдруг послышалось легкое потрескивание. Вот такое. — Кан поскреб ногтем скамейку. — Послушайте, послушайте.

Рассказ показался нам занятным, и мы напрягли слух. Словно мышонок, что точит половицу неокрепшими зубами, царапал Кан почерневшее от времени дерево.

— Слушайте... — шептал он.

И тут где-то далеко-далеко раздался пронзительный шакалий вой. Зверь поднял свой голос очень высоко, до визга, и завершил низким гортанным хрипом. Еще раз взревел исполин на весь уезд и умолк. Звук был поразительной силы, — ведь зверь находился по меньшей мере за пять или восемь верст от нас! Зловещее эхо долго дрожало в воздухе.

Тут у нас по спине побежал такой холод, точно окатили водой в осеннюю стужу! Дети прижались к матери. Собаки жалобно заскулили и, дрожа всем телом, кинулись под нары. Кан так и замер с раскрытым ртом. Только огонь, веселый, многоязычный огонь по-прежнему весело прыгал и потрескивал. Все же прочее замерло.

— А? — сказал Кан, приходя в себя. — Вы слышали?

— Что такое?

— Что за вой?

— Несомненно, это он. Только он один способен на это. Судите теперь сами, какой величины этот зверь!

Первый испуг прошел. Собаки осмелели и робко залаяли.

— Да, я не ошибся, — проговорил Кан. — Такие огромные следы... Вы слышите? Вся деревня встревожилась, завтра будет жаркий день для охотников.

— Несчастный скот, — сказал Куат. — Этот зверь начисто обгложет его.

Рано утром, как будто сговорившись, вся деревня сошлась у сельского управления. Было решено устроить облаву на шакала, ибо, разъярившись, зверь уничтожил бы наши стада.

Кан отобрал человек двадцать, и мы пошли в лес. Он долго водил нас по каким-то болотам и колючим зарослям, чуть было не утопил нас, показывая какую-то глину, пока, наконец, усталые, измученные, мы так и вернулись домой ни с чем.

Наступил вечер. В деревне со страхом ожидали шакала. Но зверь молчал.

Как ни в чем не бывало сошла на землю спокойная ночь, и вскоре сладчайший сон объял потревоженных людей.

Проснулся я внезапно: кто-то звал меня.

— Сейчас, — ответил я, одеваясь.

На дворе стоял Билал.

— Черт возьми! — сказал он. — У меня пропала буйволица.

— Буйволица? Когда?

— По-видимому, этой ночью. Вчера, как обычно, направилась к морю, а сегодня исчезла. Какое молоко она давала! Это был сущий мед, а не молоко. Я встретил Куата. Он уверял, что шакал уже действует. Надо, сказал он, скопом идти к перевалу, а оттуда, если бог даст, двигаться к морю. «Куат, — воскликнул я, — ведь на это нужен целый месяц!» — «Эка важность! — плюнув, ответил он. — Пусть пройдет месяц-два, но ведь зверя-то надо изловить! Впрочем, как вам угодно. Своих коров сегодня же зарежу — лучше сам съем их, а то достанутся этому шакалу».

Из всего происходящего я решил, что беда приключилась нешуточная, — надо глядеть в оба!

В самом деле, зверь начал вершить свои кровавые дела: у Билала пропала буйволица, у Смела — кобыла, у Янко — корова. Многие пострадали от острых зубов исполина.

Что делать? Решено было идти на зверя всей де-

ревней. Устроили большую облаву, настоящую войну объявили шакалу. Двигались мы длинной цепью, растянувшись версты на три, рассчитывая выгнать зверя на морской берег.

Кан шел впереди всех. Он внимательно рассматривал землю и, делая нам знаки, повторял: «Терпение, скоро затравим его».

Люди вязли в грязи, продирались сквозь густые заросли. «Вперед, вперед!» — отирая рукавом кровь с исцарапанных лиц, твердили все.

День подходил к концу, когда лес, наконец, поредел.

— Ну, вот мы и на берегу, — сказал кто-то.

И верно, за чащей показался серый песок, а за песком — просторная водная гладь.

Со всех сторон выходили люди: одни — с шутками, другие — с бранью. Те, кто был постарше, угрюмо помалкивали.

И в это время перед измученными людьми предстал шакал. Да, да, шакал! Он заревел во все горло, как бы говоря: здравствуйте, охотники!

Прошла одна, другая, третья, четвертая минута. Не успела наступить пятая, как все до единого с хохотом повалились на песок.

Только Кан стоял растерянный. Он не знал, куда деваться...

На этом кончается рассказ о шакале, друзья мои.

Где же шакал? — спросите вы. А никакого шакала и не было. Это был маленький пароход, который нагружали лесом и кукурузой. На нем приехали коммерсанты-французы. Наш князь вел с ними бойкую торговлю. Вот этот-то маленький пароход и имел привычку кричать, словно очень большой шакал.

Однако вы, несомненно, поинтересуетесь, каким образом маленький пароход уничтожил скот. Ничего странного в этом нет: нашлись умные люди, пожелавшие исполнить обязанности шакала.

И первым среди них был Куат.

1938

В ЗНОЙНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Салыбей проснулся. Его мучила жажда. Это бывало с ним только после свадебных пиров и поминок. Не открывая глаз, он сказал себе: «Вчера я кутил. Черт возьми, угораздило же меня столько выпить!»

— Эй, кто там! — крикнул он. — Дай-ка воды. Поживей только, черт побери!

Голова слегка побаливала. Во рту стоял какой-то горький привкус, под ложечкой сосало.

Солнечный луч, проникавший сквозь щели в дощатой стене, напоминал о прекрасном мире, залитом светом и радостью, которому, казалось, не хватало только Салыбея. Салыбей потянулся, с удовольствием припоминая подробности вчерашней пирушки: цветистые тосты, вино в бокалах, вино в рогах и вино в каких-то чудовищно огромных сосудах... И этот нескончаемый поток вина должен был вылиться в какую-то бездонную пропасть! Запрокинешь голову и тянешь густое, как мед, вино. А оно так и льется само, словно хочется ему поскорее попасть в желудок... За здоровье хозяев — пей, за дальних родственников — пей, за молочных братьев — пей, за усопших — поднимай рог. За кого только не пили! Всех помянули добрым словом.

Салыбей вчера был тулумбашем. Сколько остроумия было в его речах! Ведь уродится же такой человек! Быль сплетет с небылицей, землю свяжет с небом, лед породнит с огнем. Такой человек за столом никому спуску не даст, всех напоит, всех под стол свалит. А в жизни Салыбей и того строже. Посмотришь — дворянин, но именитому князю ни в чем не уступит!

Много различных мыслей пронеслось в голове Салыбея. Он лежал, укрывшись шелковым одеялом, и ухмылялся в густые усы. Вошел работник со стаканом ключевой воды.

— Хозяин, ты воды требовал?

Салыбей жадно приник губами к стакану.

— Молодец, Дамей, — сказал он, утолив жаж-

ду, — эта вода не хуже самого прекраснейшего из вин. Подай мне одежду, пора вставать.

Дамей вышел в сени, встряхнул черкеску синего сукна и, вернувшись в комнату, положил ее на стул.

— Тебя ожидают, — сказал он. — Еще с рассвета.

— С какого рассвета?

— С рассвета нынешнего дня.

— Привыкай к ясности, Дамей. Кто ожидает?

— Тебя хочет видеть Нахар. Я, говорит, с твоим господином хочу разговор иметь. Он так смешно при этом подпрыгивает! Ну прямо козленок.

Салыбей свесил ноги и почесал за ухом.

— Видно, этот попрошайка не хочет отстать по-хорошему.

— Выходит так.

— М-да... Покоя не дает, болван.

Дамей хихикнул:

— Я забыл сказать, что он-таки всплакнул, сидя на ступеньках.

— Этого мог бы и не говорить, — сказал Салыбей. — Пускать слезу — в роду у Нахара. Знаем мы их! И цену их слезам знаем! Подай ноговицы. Постой! Поди и почисть их над головой этого лентяя, понял?

Дамей исполнил все, как того требовал господин. Клубы пыли, словно дым, окутали сидевшего на ступеньках Нахара. Он громко чихнул и, немного подумав, спросил:

— Похоже, что встает господин, а?

— Как видишь,— ответил Дамей напоследок, ударив ноговицы одну о другую.

Салыбей не спеша умылся, чуть подрезал свои черные-пречерные усы, смазал волосы, тоже черные-пречерные, каким-то городским маслом, хранившимся в граненом пузырьке молочного цвета. После этого он нацепил себе на усы две металлические шпильки, вроде бельевых прищепок. Покончив с туалетом, Салыбей потребовал завтрак.

— Все еще сидит, — сказал Дамей, расставляя на столе тарелки.

Салыбей спросил, не вернулась ли домой его жена, гостившая в соседнем селе у родственников.

— Нет, — ответил слуга.

Становилось жарко. Солнце ползло все выше и выше. То и дело потрескивали рассыхающиеся дощатые стены. Хозяин хмурил брови, потирал лоб и грозно сопел.

— Дамей, — сказал он наконец, — принеси сюда меду, да побольше.

— Меду? — Дамей приподнял левую бровь. — В такую жару?

— Вот именно. Вон в ту банку входит пять фунтов. Наполни до краев. Ну, поживей!

Отдав приказание, Салыбей подошел к окну и лег животом на подоконник.

— Ой! — вскричал он с притворным удивлением. — Нахар? Ну да, так и есть! Что же ты сидишь на самом солнцепеке? Хотел меня видеть — велел бы разбудить, черт побери! Ради всех святых, поспешика наверх. Здесь так прохладно!

Нахар стоял не двигаясь. Что это? Во сне ли, наяву ли? Что он слышит? Что за ангел разговаривает с ним?

— Ну, что ты уставился, как дьякон на попадью?

Нахар поклонился глубоким нищенским поклоном, показав во всей красе свою широкую, всю в заплатах спину.

— Пожалуй ко мне, прошу.

— Бог с тобой, Салыбей... я в таком виде...

— Полно, Нахар, не скромничай.

— Я только по делу. О земле. Просьбу мою давнишнюю — надоел я, несчастный! — уважить прошу.

Зрачки Салыбея взметнулись кверху, он грозно свел брови.

— Разрази меня молния, если ты не решил пытать меня страшной пыткой! — воскликнул он. — Да ты, милый, как вижу, плюешь на дедовские обычаи!

Нахар не пытался более отказываться от доброго приглашения, на кривых, как дуга, ногах поднялся по лестнице.

— Опять решил беспокоить... Видишь ли, все земля донимает, — заговорил Нахар, потирая руки. — Время-то идет, весна на исходе, Салыбей.

Хозяин расхохотался.

— О хитрец, — перебил он, — меня не проведешь! Да где же это слыхано, чтобы гость приступал к делу раньше, чем отведает хозяйской мамалыги?

Нахар покосился на стол. Дамей успел расставить на нем тарелки со свежим, белым как снег сыром, зеленью, перцем, солеными огурцами. В хрустальном графине стояло вино, бледное, как небосклон в раннее летнее утро. В таком вине и утонуть не жаль! О, у Салыбея отличный вкус!

Дамей нарезал холодную мамалыгу и чурек, принес бокалы и поставил один против другого два стула. Стулья смутили Нахара. «Не для меня ли предназначен один из них?» — подумал он и тут же сам испугался дерзкой мысли. Но судьба, как видно, твердо решила подшутить над крестьянином. Салыбей церемонно пригласил гостя к столу.

— Нет, нет, ни за что! — повторял Нахар. — Я только о земле... хотя бы клочок... а тут такое беспокойство...

Белые тарелки прыгали у него перед глазами, точно солнечные зайчики. Когда же Нахар пришел, наконец, в себя, то, к ужасу своему, почувствовал, что сидит за столом и ест чурек с сыром. Салыбей глядел на него хитрыми, немигающими глазами.

— Ты ешь как следует, Нахар.

Нахар улыбнулся. Одеревенелыми пальцами отламывал он куски чурека. По лбу катились крупные, как кукурузины, капли пота.

Дамей, посмеиваясь, вошел с медом. Хозяин сурово взглянул на него.

— Ну и мед! — сказал он. — Кто скажет, глядя на него, что сейчас такая жара! Он хрустит на зубах, как лед.

Нахар тоже похвалил мед, дескать, сразу оценил высокое качество меда, стоило только приметить чудесный янтарный цвет.

— Этот дурак, — продолжал Салыбей, кивнув на Дамея, — утверждает, что не родился еще человек, способный в такую жару съесть банку меда.

Дамей, смекнув, в чем дело, закусил губы.

— Что ты скажешь, Нахар!

— Ты прав, Салыбей, тысячу раз прав: это возможно.

— Нет, невозможно, — сказал Дамей.

— Возможно, — сказал Нахар, подавленный любезностью хозяина.

— Браво! — вскричал Салыбей. — Люблю смелых! Смотри не осрамись, Нахар! Докажи этому негодяю, что он ошибается. О, если бы не вчерашнее вино, я бы сам... Надеюсь, выручишь меня, Нахар?

— Хорошо, — как зачарованный ответил Нахар.

— Ай да Нахар! — продолжал хозяин, восхищенный гостем. — Ты настоящий мужчина! Знаю, что не подведешь! Съешь мед и бери землю. Паши. Ей-ей, паши!

Дамей понял, что дело затеяно нешуточное. Несколько фунтов меду, да еще в такую жару, могут убить хоть кого: сильный жар разольется по телу, и человек начнет гореть как в огне. И не такие хилые люди, как Нахар, а во много раз поздоровее его не вынесли бы подобного испытания. Однако чем черт не шутит, поглядим, вдруг да повезет оборванцу...

Нахар молча пододвинул к себе банку с медом, отер концом башлыка пот со лба и попросил принести кувшин с водой.

Салыбей закурил трубку, приготовившись к интересному зрелищу.

Так начался этот страшный спор.

Солнце, поднявшись до зенита, медленно покатилось вниз. Горячая испарина шла от земли. Всем было тяжело в этот день, но вдвойне тяжело Нахару. Он молча ел мед, запивая его водой.

Он расстегнул ворот рубахи: две синие жилы вздулись на шее и яростно пульсировали. По затылку бежала струйка липкого пота.

— Видишь, дурак, — сказал хозяин своему холопу.

— Да, — ответил Дамей.

Нахар посапывал и время от времени глубоко вздыхал, точно ему недоставало воздуха. Он торопился. В банке оставалось совсем мало меду, слой тол-

щиною с палец. «Уж землю теперь отдаст, — думал Нахар, — от слова своего не отступится». И он посмотрел через плечо во двор: до вечера еще далеко, можно будет, пожалуй, сегодня же приступить к пахоте.

А Салыбей изменился в лице.

— Ну вот, дело почти сделано! — сказал он, дивясь упорству крестьянина.

Вдруг Нахар побагровел и единым духом выпил остаток воды.

— Воды! — попросил он. — Еще воды!

— Э-э, да ты, милый друг, много воды пьешь, — спохватился Салыбей. — Поставь-ка кувшин на место и доедай свое!

— Не могу, — хрипло ответил Нахар, — все горит.

— Горит? Да ты потерпи. Из-за одной ложечки землю потеряешь.

— Горит, — повторил Нахар, — горит, — и вдруг закричал что есть силы: — Воды!

Он разорвал на себе одежду и упал обнаженной грудью на стол.

— Воды! — вопил он.

— Тише ты! — забеспокоился Салыбей. — Вот дьявол!

Дамей взял со стола стакан и вопрошающе посмотрел на хозяина.

— Не надо, — остановил его Салыбей.

Нахар корчился от страшного пламени, которое разливалось по всему телу.

— Умираю, — хрипел Нахар, — воды...

— Плохо, — заметил Дамей. — В самом деле горит.

— Авось не сгорит, — бросил Салыбей, — зато ума наберется. Однако я не вынесу этого крика, черт возьми! Что за несносный голодранец! Надо и честь знать. Уберите его отсюда. Бросьте в речку, не здесь же ему околевать.

Дамей вызвал двух работников. Втроем они выволокли бесчувственного Нахара из дому.

— Вишь, как объелся хозяйского меду! — смеялся Дамей.

Раздев Нахара донага, работники положили его поперек русла маленькой речушки. Ему стало легче. А к вечеру без посторонней помощи приковылял домой.

С тех пор разучился Нахар ходить ровно, как ходят все. Какая-то судорога свела его, не давая разогнуть спину. Опытные старухи говорили, что это пройдет, да недолго пришлось ждать: ровно месяц носила его земля.

А спустя сорок дней были устроены скромные поминки. Салыбей пил за упокой Нахара, оказав честь бедной вдове и сиротам своим посещением. Он так глубоко и горестно вздохнул перед тем, как опорожнить бокал за упокой души Нахара, что многие заплакали. И гости искренне сочувствовали тому, что покойный не смог рассчитать потребностей своего желудка, и в то же время отдавали должное Салыбею, как человеку, гостеприимство которого поистине не знало границ.

1940

ЧУДО НА КОДОРЕ

Епископ готовился к проповеди, четвертой по счету за неделю. Он сидел в кресле, обитом красным бархатом. Ноги его покоились на маленькой подушке с затейливым узором. Белая и мягкая, как вата, борода легчайшим облачком лежала на животе.

Было душно. Несмотря на это, его преосвященство пил чай с лимоном и потел. Этот напиток действовал чудодейственно, спасая от желудочных болезней летнего времени.

Необычайно жаркое и засушливое лето сделало всех слабыми и больными. В канцелярии епископа добрая половина служителей болела дизентерией. Даже глухой звонарь Порфирий, хваставший своим богатырским телосложением и презрительно глядевший на мир с высоты соборной колокольни, и тот свалился. А епископ стоял непоколебимо, будто утес среди моря.

Размышляя над великими таинствами природы, окрашивающей по утрам небосклон в причудливые цвета, епископ взял в руки тяжелое евангелие. Ему предстояло произнести весьма трудную проповедь на абхазском языке. Трудности проистекали главным образом оттого, что выступать приходилось перед крестьянами одного из ближайших сел. Люди эти, в душе которых нашли приют многочисленные пороки, включая идолопоклонство, очень хорошо понимали все, что касалось табака и кукурузы, и путались, как младенцы, в вопросе о триедином боге. Дело дошло до того, что доходы местной церкви угрожающе пали, а на паперти выросла трава. Требовалось энергичное вмешательство, дабы не допустить окончательного разложения сельчан, искушаемых дьяволом...

Не успел епископ перелистать и трех страниц, как раздался осторожный стук и за дверью чей-то голос торопливо пробормотал:

— Во имя отца и сына и святого духа!

— Аминь! — ответил епископ.

Тяжелая дверь приоткрылась, и в дверях выросла коренастая фигура протоиерея Сергия.

— Изволите работать, ваше преосвященство? — почтительно спросил он, не смея переступить порога.

Епископ медленно поднял усталые очи, сидевшие глубоко в глазных орбитах.

— Подойдите, — сказал он.

Протоиерей приблизился и, отвесив глубокий поклон, многозначительно произнес:

— Ваше преосвященство, боюсь, что проповедь не состоится.

Епископ резко откинулся на спинку кресла, захлопнул книгу.

— Говорите, отец Сергий, что случилось?

— Слава всевышнему, ничего особенного. Я хотел сообщить, что нынче предвидится ливень. Не отложить ли проповедь до следующего воскресенья?

— Когда же вы оставите свои странности? — укоризненно проговорил епископ. — Так прямо и говорили бы. Откуда вы взяли «дождь»?

— Ливень, ваше преосвященство, — поправил протоиерей.

Протоиерей наклонился к своему патрону с видом заговорщика.

— Барометр, — сказал он шепотом. — Стрелка упала. Так что дальше и некуда ей падать.

— Возможно ли? — усомнился епископ.

— Мы пригласили ученого из ботанического сада. Он клянется, что ливню быть всенепременно.

— А что отец Авраам?

— О нем-то я и позабыл, ваше преосвященство! Совсем оплошал, ревмя ревет. Ревматизм, — грустно присовокупил протоиерей.

Его преосвященство встал, несколько раз прошелся по залу, нервозно потирая лоб.

— Отец протоиерей, — сказал он, — в деревнях, кажется, засуха?

— Да какая еще! — живо отозвался протоиерей. — Трава вся выгорела, земля потрескалась, собаки бесятся, люди плачут, моля всевышнего о дожде. Ужас, ваше преосвященство!

— Прекрасно! — неожиданно заключил епископ.

Протоиерей чуть не вывихнул себе челюсти, неосторожно раскрыв рот от изумления.

— Что с вами, отец Сергий? — справился епископ и, не дожидаясь ответа, сказал: — Нам в полдень надлежит быть в деревне. Я изменяю свое решение: в полдень вместо вечера. Готовьтесь, отец протоиерей, и велите собираться.

Протоиерей поклонился и бесшумно вышел. А епископ, которого все время грызла мысль о проповеди, расправил грудь и, воздев руки горе, обратился к небу с горячей молитвой.

...Весть о том, что приехал епископ и на площади будет отслужен молебен о ниспослании дождя, мигом облетела всю деревню. Набожные люди торопились, а за нерадивыми были посланы конвоиры. Отряжая их, старшина Десимон обратился к ним с такими словами:

— Передайте этим остолопам, чтобы явились сюда незамедлительно. Пускай потревожат свои зады. От этого их не убудет, клянусь своим именем. Понятно?

— Понятно, — в один голос гаркнули конвоиры, трогаясь в путь.

— Погодите, — остановил их старшина-верзила. — У нас проживают несколько иноверцев. Они — на твою долю, Мурзакул. А ну-ка, скажи, как ты с ними поступишь?

Мурзакул, бравый детина с бельмом на правом глазу, ответил не задумываясь:

— Свяжу, как поросят, и доставлю на арбе!

Десимон скорбно покачал головой.

— Скверно, очень скверно, — заметил он. — Ежели они не очень любопытны, пусть сидят себе дома и молятся своему богу. У них тоже есть бог. Или пособит один бог, или же другой. Смекай-ка, Мурзакул, получше!

Конвоир осклабился в знак согласия.

— Ступайте, — приказал старшина.

На площади под ветвистой чинарой сооружали помост. Строгали бревна, на скорую руку сколачивали скамьи для стариков.

Епископ, освятив церковь, пожелал отдохнуть под ее прохладными сводами. Он заметно волновался, но с каждой минутой в нем крепла вера в великое чудо: со стороны моря росло темное пятно, оно становилось все больше, да и ветерок понемногу давал знать о себе.

«Кажется, не соврал барометр, — говорил про себя епископ. — И отец Авраам не дал маху».

Сопровождавшая его свита также выказала интерес к скромной обители, тем более что на дворе все горело, будто на весь мир разложили костер из сухого хвороста.

Прошел час.

Наконец епископ, выказав свою благосклонность настоятелю церкви в нескольких теплых словах, решительно заявил:

— А теперь пора — нас ждут.

Он решил, что пробил час и больше нельзя терять ни минуты.

Толпа встретила епископа с немым восхищением. Старухи крестились и норовили поцеловать ему руку. Старшина Десимон призвал собравшихся к спокойствию.

— Не обнажайте своего невежества перед гостями, слушайте внимательно, — зашипел он.

Епископ, взобравшись на возвышение, начал свою проповедь. Проникновенный голос очаровывал всех. Истинно сказано, что святая речь понимается больше сердцем, а не разумом. Словно пастушья свирель, звучал голос проповедника, наполняя души православных возвышенными чувствами. Не так ли наполняются драгоценным вином и высохшие бурдюки?

— Православные, — говорил епископ, — пророк Илья был таким же человеком, как и мы с вами. Однако же он горячо верил в господа бога нашего. Он молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя три года и шесть месяцев. Пророк опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Такова сила веры нашей.

Жара становилась все нестерпимее. Люди готовы были повалиться на землю, если бы не была она горячей сковороды, на которой пекут чурек. А епископ стоял и говорил, укрытый, словно зеленым шатром, широколиственной чинарой.

— Чада мои, — продолжал он, — не создавайте себе кумира, будет ли то в лесу, в кузне или на реке!

С каждым часом множились силы его и слова из уст вылетали крылатые, живые, невообразимо легкие и в то же время могучие. А с моря надвигались тучи, которые, будто от злости, чернели все более и более. При виде их проповедник упал на колени, щедро рассыпая земные поклоны. Толпа последовала его примеру, ибо речь шла о долгожданном дожде, сама мысль о котором была бесконечно мила крестьянскому сердцу.

Долго проповедовал епископ, и казалось, что не будет конца приятным речам. С великим вдохновением толковал он слова святых апостолов. Руки его,

простертые над толпой, словно крылья, дрожали от усталости. Он видел, как небо покрывается облаками, идущими из-за моря, он чувствовал дуновение ветерка — и это придавало ему силы.

Старшина Десимон обладал поразительным качеством: мог уснуть стоя. Однако нынче он чувствовал всю важность момента, и ему с большим трудом удавалось противостоять удивительной силе проповеди, действовавшей на него как нежная колыбельная песня. Выдвинув правую ногу вперед, скрестив руки на животе и откинув голову назад, он являл собою подобие великана, готового отразить врага.

Пастух Никуала, нашедший убежище за спиною старшины, поднялся на цыпочки и с тревогой спросил:

— Долго ли нам еще стоять, уважаемый Десимон?

— Пока не пойдет дождь, — строго ответил старшина, не поворачивая головы.

— А ежели не пойдет?

— Не пойдет, так и сгниешь на этом самом месте. Понял?

Никуала замолчал и вперил взгляд в епископа, только что отвесившего глубокий поклон.

— На колени! — прошипел разъяренный Десимон сквозь зубы, с трудом удерживаясь, чтобы не огреть нагайкой пастуха.

Но тут закапал дождь, и единодушный крик вырвался из тысячи уст. Не до пастуха тут было.

Блеснула молния, словно великое знамение, и неудержимо хлынули потоки воды, раздирая на части небесную твердь. Ликующий народ, не помня себя от радости, подхватил старца на руки и усадил в карету. Дождь лил три дня и три ночи, а на четвертые сутки тридцать восемь человек, уверовавших в чудо, пожелали креститься в бурных водах Кодора, тем более что снова наступила жара и лишнее купание не могло повредить здоровью.

1940

УЧТИВОСТЬ КУТАТА

Минуло много лет, но образ Кута́та, словно живой, стоит у меня перед глазами. Мы все понемножку были повинны в его смерти, и мне тяжело, когда я думаю об этом.

Был июльский день. Мы залегли в котловине, именуемой Черной Пастью. Нас было десятка два односельчан — все, что осталось от нашего отряда после перестрелки.

Бледный Кутат подошел к обрыву. Его дед, знаменитый Кан, сам подал ему пистолет и гневно отвернулся от него в ожидании выстрела. И он последовал, друзья мои, этот выстрел.

Однако я должен рассказать все по порядку, чтобы вы могли беспристрастно судить о давнишнем, но печальном событии.

...Кутату исполнилось двадцать пять лет — возраст, как известно, самый подходящий для ратных подвигов и любовных похождений. Красавец Кутат, лицо которого сияло подобно зеркалу, храбрый и прямой юноша, к тому же учтивый до последней крайности, особенно привлекал любвеобильные сердца мамаш, мечтавших сделать его своим зятем.

Да что там женщины! Даже мы, старики, смотрели на него с восхищением. На скачках он брал первенство, за столом любо-дорого было посидеть с ним рядом. Необычайная скромность, почти девичья стыдливость — высшая степень мужской учтивости — покорили всех и сделали его кумиром нашей деревни.

Впрочем, не трудно догадаться, откуда брались эти качества в характере молодого человека. Заметьте, Кан приходился ему дедом, и этого было вполне достаточно, чтобы получить блестящее по тому времени воспитание, основа которого состояла в искусстве почтительного молчания перед старшими и умении скрывать душевные и физические страдания. Этим искусством Кутат овладел в совершенстве.

Кан сто̀ит того, чтобы посвятить ему первый же свободный вечер, и нам следует сделать это без особых отлагательств. Сейчас я лишь мимоходом напом-

ню о случае, который поссорил Кана с его любимым зятем Куфом.

Почтенный Куф заболел в дороге. Болезнь не разрешала ему ехать дальше, и он спешился у ворот Кана. Его мучил огромный чирей, выскочивший на левой лодыжке. Вся нога покраснела, как гребень петуха, и страшный озноб сотрясал Куфа. Его уложили в постель. В это время в комнату вошел Кан. Увидев мужчину, лежащего в постели средь бела дня, он осведомился о причине такого необычайного происшествия. Куф не знал, что сказать, ибо чирей не входил в разряд болезней, способных изменить вертикальное положение настоящего мужчины.

— В ноге застряла пуля, — соврал Куф.

— Как? — вскричал старик. — Ты лежишь из-за крохотной пули, застрявшей где-то в копыте? С этой минуты я знать тебя не знаю!

И упрямый Кан до самой смерти ни единым словом не перекинулся со своим злосчастным зятем.

Но вернемся к Кутату.

Итак, этот весьма учтивый и скрытный молодой человек, как впоследствии выяснилось, влюбился в одну девицу из соседней деревни Олений Бор. Неизвестно, что произошло между ними, но с некоторых пор Кутат потерял хороший цвет лица и стал задумчив. Его стоило пожалеть, особенно потому, что девушка жила в деревне, с которой мы находились в постоянной вражде. Жителей из Оленьего Бора мы ненавидели всей душой. Дело в том, что у нас с ними шли жестокие раздоры из-за одного пограничного леска и нескольких земельных участков. Противники наши отличались заносчивостью. (Еще бы! За их спиной стоял сам князь Хабуг.) Они отодвигали межу подальше от себя и при малейшем возражении с нашей стороны хватались за оружие.

Мы терпели эти разбойничьи повадки до поры до времени. В конце концов нас вынудили взяться за оружие, и мы сошлись лицом к лицу с дерзкими соседями в котловине Черная Пасть. Это название более чем подходит к мрачной местности, как бы нарочно созданной для кровавых дел.

Представьте себе лощину, вдоль и поперек свободно простреливаемую кремневкой. Лощину разделяет на две равные части горная речка, которая пытается, подобно кроту, поглубже зарыться в землю. Края лощины, покрытые хилой травой, упираются в отвесные скалы. Северная сторона котловины, на которой обосновались мы, сплошь покрыта мхом и какими-то скрюченными низкорослыми деревцами. На той стороне, озаренной солнцем, испещренной глубокими следами ливней, усеянной валунами, похожими на сахарные головы, хоронятся наши враги. Вот что представляла собой Черная Пасть в тот злополучный июльский день.

Мы поклялись постоять за себя и раз и навсегда отучить врагов от дурных привычек. Полагаю, что и они клялись в том же.

Сражение развернулось по всем правилам. Обе стороны терпели урон, как и полагается на войне. Каждый удачный выстрел вызывал бурный восторг у одной стороны и проклятия — у другой.

Два дня продолжалось это взаимное истребление. Ряды враждующих сторон сильно поредели. Люди стали осторожнее — не рисковали дерзкой выходкой ради того, чтобы потешить друзей. На третьи сутки наступило затишье. Благодаря жажде и голоду умы несколько просветлели, и ленивая перестрелка не давала никаких результатов.

Словно по взаимному уговору, в полдень бой утих, и мы предались отдыху и лечению ран. Неожиданно в нашу сторону одна за другой полетели пули. Каждая из них была пущена метко и несла верную смерть. Оказывается, какой-то головорез подполз к нам на близкое расстояние и, залегши на берегу речки, косил наших без разбора.

— Это Шарах! — крикнул кто-то.

Кан предупредил нас:

— Шарах — душегуб, стреляет как черт, бьет в пятак на расстоянии ста шагов. Будьте осторожны!

Услышав имя Шарах, лежавший со мной рядом Кутат покраснел, как перец, и тут же побледнел, брови насупились, лоб покрылся морщинами. Издав

глухое мычание, Кутат пополз вперед и начал спускаться к лощине. Враги, заметив его, разом высыпали целую кучу пуль. Мы тоже, не будь дураки, отвечали, как положено в такое время. С новой силой разгорелась перестрелка, наполняя окрестность дымом и грохотом.

Между тем внизу, можно сказать под нашими ногами, происходило смертельное единоборство. Двое молодых людей, казалось исполненных злобой, старались во что бы то ни стало поразить друг друга. Они ползли навстречу друг другу, стреляли в моменты коротких остановок, извивались, как змеи, меж камней.

Вскоре из вражеского стана обратились к нам с предложением покончить дело миром:

— Эй, вы! Прекращайте стрельбу!

Наши не прочь были согласиться.

— А как же с землей? Что будет с землей?

— Поговорим завтра, — был ответ. — Присылайте пятерых — уладим.

Мы отвечали ухмыляясь:

— Ладно, шакалов вам на шею!

Люди осмелели, вышли из-за укрытий. Любопытство одолевало всех: чем же кончится поединок? Кто окажется ловчей?

— Чего рты разинули? — прикрикнул на нас Кан. — Скажите им, чтобы прекратили драку.

Мы подали знаки молодым людям — дескать, все улажено. Наши враги тоже пытались остановить своего парня. Но стрельба внизу не прекращалась. Они, по-видимому, так увлеклись, что ничего не замечали. Тогда и с нашей и с той стороны начали спускаться к лощине, чтобы предотвратить кровопролитие.

Вдруг все ахнули: Кутат дал выстрел и, выждав несколько мгновений, поднялся во весь рост. Кутат подошел к Шараху, наклонился и, немного повозившись около него, повернул назад. Кан следил за ним затаив дыхание.

— Разве ты не слышал, как тебе кричали? — строго спросил Кан, когда Кутат поднялся к нам на скалы.

— Нет, не слышал.

— Неправда, — сказал Кан.

Кутат вытер пот с лица.

— Нет, я ровным счетом ничего не слышал.

— Зачем ты подошел к нему?

— Я хотел проверить, куда попала пуля. Может быть, требовалась помощь...

Мы обступили Кутата тесным кольцом, не скрывая своего одобрения его поступку.

Но Кан почему-то не унимался.

— Помощь? Это благородно с твоей стороны. И что же?

— Пуля попала в лоб.

— Метко, черт возьми!

Кутат пожал плечами и ничего не ответил. Мы вступились за него.

— Поединок был честный. Они оба виноваты в равной мере, — таково было наше решение.

— Бог с вами, — сказал Кан. — Будь по-вашему.

Внизу у тела Шараха возилось несколько человек, и один из них обратился к нам.

— Эй, вы! — крикнул он. — Зачем же мертвых обкрадывать?

Наши рассердились и решили проучить дерзкого клеветника.

— Грешно красть у мертвых, — опять донеслось снизу.

Мы чуть не лопнули от возмущения. Еще мгновение, и нахал был бы подкошен нашими выстрелами. Однако Кан остановил нас.

— В чем дело?! — крикнул он.

— Смотрите, — продолжал тот же человек, указывая на тело Шараха, — у него были часы. Где они? Кто срезал тесьму от часов?

— Какие часы?

— Те, что у вас, бессовестные!

Мы недоуменно переглянулись.

— Кутат, — сказал Кан, — о чем они говорят?

— Не знаю.

— Они врут, конечно?

— Не знаю.

Старика будто полоснуло кинжалом по сердцу. Он чуть не упал. Его поддержали и усадили на камень. Кутат стоял ни жив ни мертв, без кровинки в лице.

Кан снова заговорил, хотя — все заметили — это было ему очень тяжело.

— Кутат, сын мой, ты взял у него часы?

— Нет, — сказал Кутат.

Вздох облегчения вырвался у нас.

— Слава богу, — сказал Кан. — Значит, ты ничего не брал?

Ответ молодого человека поразил его, как молнией:

— Я этого не могу сказать.

Кан поглядел на окружающих исподлобья, заскрежетал зубами.

— Я хочу знать, что же ты взял у мертвого? — Голос Кана звучал повелительно. Но Кутат ни единым словом не попытался оправдаться.

— Послушай, может быть, ты объяснишь свой поступок?

— Я этого сделать не могу, — спокойно ответил внук.

— Это необходимо сейчас же и без промедления, — возразил дед. — Ты слышал, в чем тебя обвиняют?

— Да, слышал.

Мы подали свой голос: «Кутат должен снять с себя позорное обвинение сейчас же, немедленно».

— Нет, — упорствовал Кутат. — Я ничего не скажу!

— Ты хочешь очернить нас навеки?

— Я сказал все, — процедил сквозь зубы Кутат.

Не говоря более ни слова, Кан достал пистолет и подал его Кутату.

— Я не хочу, — сказал он, — пятнать себя твоей кровью. Впрочем, пулю можешь всадить в меня, если струсишь.

И не нашел Кутат среди нас ни одного защитника, который высказался бы в его пользу, — так был велик его позор!

Кутат приложил дуло пистолета к виску. И когда рассеялся дым, его уже не было с нами.

Кан не хотел даже хоронить его: «Пусть гниет, как собака». Мы все-таки уговорили его, и когда перед погребением обыскали тело Кутата, то во внутреннем кармане черкески нашли серебряный медальон с изображением улыбающейся круглолицей девушки. Из крохотного ушка медальона торчал кусок злополучной черной тесьмы, перерезанной кинжалом.

1940

КРЕПОСТЬ

Они очутились в ужасном положении,
когда грекам пришла мысль поджечь дома.

Прокопий Кесарийский *.

Византийские войска плыли на тридцати кораблях. На самом большом, украшенном резьбой, расписанном золотом и заморской лазурью, развевались знамена двух императорских военачальников — Иоанна и Улигача.

Хриплый мореход выкрикивал слова команды — три ряда весел послушно погружались в воду.

Медленно перекатывались волны Понта. Уходил в сизую дымку тумана тонкий берег, неся словно на ладони полуразрушенный Питиунт. Знаменитая буксовая роща и вековые сосны, оскверненные римлянами, вытянулись в узкую полосу, похожую на лезвие обоюдоострого ножа абазгов **. Ветер дремал в это раннее утро, и паруса висели, как широкие плащи на тощих плечах.

Солнце подкатывалось к зениту, когда мореход, почтительно раздвинув парчовые занавески, сказал:

— Трахея!

---

* Византийский историк.

** Абазги — абхазцы.

Могучая волосатая рука сорвала парчу и небрежно отбросила ее прочь. Великолепное зрелище открылось взору: впереди лежала спокойная бухта, за бледноватым краешком моря поднимался изумрудного цвета берег, а дальше вырастали исполинские горы: громоздясь друг на друга, они уходили длинной цепью на север, в страну скифов. Взглянув на эту картину, Улигач зевнул и велел одеть себя. Это был грубый человек, выросший в сечах. Бесчисленные раны и победы принесли ему положение, власть и славу.

Иной человек был Иоанн. От рождения он был приучен к тонкому обхождению, бархатным одеяниям и иноземным благовонным маслам. Свою низость и тщеславие он скрывал за любезной улыбкой, в глазах врагов он был опаснее откровенного Улигача.

Иоанн сопровождал Улигача, чтоб разделить с ним победные лавры.

Верховный военачальник Бесс видел в Улигаче соперника и не мог допустить, чтобы плоды легкого похода в Трахею, а затем и в самую Скифию достались одному Улигачу и слишком возвысили его. Император внял просьбе Бесса.

Иоанн сидел, развалившись на складной скамейке, и с любопытством смотрел на приближающийся берег.

С нескрываемой злобой следил за Иоанном Улигач. Он знал, зачем приставлен к нему этот придворный честолюбец, и разглядывал его, как скользкую тварь. Улигач вспоминал грязные слухи, ходившие в столице, — в самом деле уж слишком женственно выглядел Иоанн. Подпоясавшись мечом, Улигач запел грубую солдатскую песню.

От корабля к кораблю передавались условные звуки рожка. Тяжелый морской поход приближался к концу. Возбужденные воины звенели панцирями, коваными шлемами и мечами. Кто страдал морской болезнью, с облегчением покидал вонявшие испражнениями душные трюмы. На кораблях зашумело, как в шмелиных гнездах. Нетерпеливые прыгали в море и, радуясь, мокрые, вылезали на сушу.

...Посредине лагеря, разбитого на берегу, ярко-голубым цветом выделялась палатка военачальников. Иоанн и Улигач восседали на скамьях, покрытых шкурами львов, под их ногами, по восточному обычаю, лежали тяжелые бархатные подушки.

Воины обступили вождей полукругом. Иоанн готовился произнести большую речь. Но шум, поднятый какими-то драчунами, прервал его на первом же слове. Стража сломя голову бросилась унимать буянов. Однако оказалось, что это вели двух абазгов — они назвали себя посланцами от жителей Трахеи или Гагары — так именовали свою крепость абазги. Воины грубо обыскивали абазгов, осыпая их бранью. Иоанн оглядел прибывших и спросил:

— Кто вы, откуда и что вам надобно?

Посланцы — старик и отрок — приблизились к военачальникам, но им пиками преградили путь. Старик был высок ростом, не дряхл, в силе. Большая войлочная шапка покрывала седую голову. Борода — до пояса. Легкая обувь из буйволовой кожи обтягивала худые ноги. Выцветшие глаза пытливо глядели из-под косматых бровей.

Волнение и гнев нескрываемо проступали на лице отрока. Он то густо краснел, то бледнел, кусая губы, как горячий конь. Иоанн подумал: «С этим поладить не легко».

Старик сказал:

— Меня зовут Баг. Мне минуло девяносто три года. Народ послал нас спросить: кто вы, откуда и что вам надобно?

Старик говорил твердо и сурово.

Улигач вспыхнул: скверное слово готово было сорваться с его губ, но Иоанн остановил его и сказал важно:

— Мы — слуги его величества императора Византии. Велик его гнев. Однако вам не будет причинено зло, если вы сами этого не захотите.

— Да продлятся дни вашего императора! — почтительно сказал старик. — Чем же он разгневан?

— Как! — воскликнул Иоанн, обнажив белые зубы. — Разве ваших поступков недостаточно, чтобы

вызвать страшный гнев? Вы осмелились посадить у себя князьями Опсита и Скепарна? Кто давал обет никогда не брать себе князей?!

Старик отвечал, погладив бороду:

— Мы убоялись римского рабства. Страшнее смерти оно!

Улигач крикнул:

— Вы замыслили зло против нас. Берегитесь!

Баг поклонился безропотно, но без страха. Отрок глядел исподлобья, как волчонок. Его, самого юного из мужчин, направили к чуждой дружине вместе со старейшим — «там, где окажется лишним старческое благоразумие, выступит юношеская пылкость».

Старика Иоанн нашел дерзким, а мальчишку готов был раздавить, как мокрицу. Мановением руки он подозвал писца и распорядился объявить приказ о сдаче крепости.

Писец, раскрыв свиток, глухо заверещал:

— «Все, от мала до велика, выйдут на открытую местность перед крепостью и сложат оружие, и щиты, и пращи свои. Панцири железные и нагрудники из сыромятной кожи также принесут к ногам. Все, от мала до велика, возденут руки горе́ и поклянутся страшною клятвою, что впредь будут они верны и послушны императору Византии. В доказательство сего послушания побьют они камнями злокозненных Опсита и Скепарна и поклянутся коленопреклоненно...»

— Стой, — сказал старик и вырвал свиток из рук писца, — что ты читаешь, раб?

Писец обнажил меч.

— Не торопись, — сказал ему Иоанн, изменившись в лице. — Старик, мы идем в Скифию. Не чините нам помех, и мы вас не тронем.

Старик поклонился, но сказал очень твердо:

— Нет, мы не оскверним себя подобным предательством.

Баг походил на изваяние. Отрок, глаза которого пылали, вывел из себя Иоанна, и он сказал, выделяя каждое слово.

— Мы истребим вас. Крепость сравняем с землею.

Снова поклонился Баг безропотно, но без страха. А отрок, окрыленный, воскликнул:

— О! Вы увидите, как умеют умирать абазги!

Это было похоже на вызов. Улигач затрясся от злобы. Кровь бросилась ему в лицо.

— Щенок! — брызгая слюной, прохрипел он, хватаясь за рукоять меча. — Руку!

Отрок немедля протянул руку. В глазах его сверкала молния, она ослепила полководца.

Иоанн взглянул на мальчика и Улигача и ухмыльнулся. Широко раскрыв рты, следили воины за этим зрелищем.

Старик выступил вперед, заслонил собою юношу. Он сказал:

— Разве забыты обычаи всех времен и народов — послов не трогать?

— Послов? — Улигач расхохотался в лицо старику. — А где же ваши печати?

Старик растерялся. Воины дружно гаркнули, требуя расправы.

Баг посмотрел через плечо на крепость: над ней клубился черный дым — приготовления к битве окончены.

— Баг, — сказал отрок, — не мешай ему. Вот она, печать, моя рука!

Улигач взмахнул мечом, отрубленная рука упала, как тростинка. Не шелохнулся отрок. Жгучая молния продолжала сверкать в его черных очах.

Иоанн сказал Улигачу, указывая на юношу:

— Вот первая крепость, которую ты не одолел.

Улигач потряс мохнатым кулаком в сторону крепости. Корабли продолжали входить в бухту, на берег с гиканьем сходило вражеское войско.

Страшная весть быстро разнеслась по крепости. Посланцев встречали с непокрытыми головами. Истекающего кровью отрока внесли на руках и уложили на площади. Вышла вся кровь — и он умер.

Баг поведал обо всем.

Защищать крепость до последнего стало единственным помыслом осажденных. Приготовлениями руководил многоопытный Опсит. В полночь он собрал старейшин, сказал так:

— Старейшины, мужи отважные! Я все обдумал, взвесил. Истина ясна, она гласит: помощи ждать неоткуда, будем умирать.

Большой костер бросал багровый свет на изборожденные морщинами суровые, мрачные лица.

Первым подал голос Баг. Он сказал жестко:

— Мой дом умрет вместе со мною, пощады не попросит.

Кончил. Встал Дуара, веснушчатый, сухой.

— Мы примем смерть, все, от мала до велика!

Кончил. Один за другим поднимались старейшины. Все они повторяли слово в слово сказанное до них.

Кончили. Встал Опсит. В плечах — два локтя ширины, высота — семь локтей, видом — барс, голова как у буйвола. Он сказал:

— Разойдемся по местам. Уделом каждого пусть будет смерть, но не позор! Внушите это всем.

Слова военачальника проникли в души, как стрелы. Разнесли старейшины жар этих слов, и запылали гневным пламенем сердца осажденных. И схватили в ту ночь пятерых, злокозненных людей, чьи черные мысли были на благо врагу. Побили камнями, а тела бросили волкам. Под крепостными стенами стоял хруст: то звери пожирали звероподобных!

Всю ночь работали кузни: ковались мечи и пики, оттачивались обоюдоострые ножи, навострялись стрелы. Дети собирали камни для пращников. Женщины чинили обувь, латали одежду. В домах распевались песни, возвеличивавшие воинскую доблесть.

И когда на иссиня-черном небе проступила тусклая бледность, все, как один, стояли в ожидании врага. И Баг приготовился к великому подвигу. Он жил в большом деревянном доме, сколоченном из каштановых досок. Вокруг дома высилась каменная ограда с бойницами. Это была маленькая крепость.

Рядом с Багом, словно вросшие в землю, стояли сыновья его Гана и Самар. Дальше, рядом с ними, — внуки и правнуки, жестокие в битвах. Жены поодаль варили смолу. Дети жались по углам.

На весь берег протрубил низким звуком заморский рог. С развернутыми знаменами византийцы двинулись к крепости; построенные в виде кабаньего клыка войска устремились к воротам. Иоанн с дружиной, погрузившись на ладьи, поплыл в обход крепости.

Опсит повел воинов на врага кратчайшим путем. По правую и левую руку он поставил лучших предводителей. Улигач решил не принимать боя и оттянуть схватку до тех пор, пока Иоанн не ударит в спину осажденным. Он приказал отступить на расстояние двух стадий. Опсит пришел в величайшую ярость. Он намеревался быстро расправиться с врагом и жаждал схватки.

— Эй вы, трусливые зайцы! — крикнул он. — Змеиные выкормыши! Куда же вы бежите, если вызываете на бой?

Улигач ответил грубой бранью.

— Собачий ты сын, подлейший Опсит, нечестивый ублюдок, богохульник! Как смеешь поднимать меч на божественного императора! Иль позабыл ты царьградское гостеприимство? Так-то держишь свое слово?

Опсит ответил:

— А где ваша совесть, черви дождевые, ящеры проклятые? Не вы ли грабите мир, обращаете народы в рабов? Мы ненавидим вас и вашего кровожадного императора.

Озлились византийцы на эти речи. Порешили они биться немедля. Бросились враги друг на друга, как стадо бешеных буйволов. Великая произошла сеча: трава заалела от крови, крики сотрясали воздух, стоны раненых смешались с хрипом умиравших, вороны и черные коршуны бросились клевать еще теплые глаза, полные слез. Никогда не вернутся назад непрошеные гости — много их полегло костьми на колхидской земле!

Абазги наседали неистово. Злоба застилала им глаза, сгоряча сами лезли на копья. Тяжеловооруженные византийцы рубили их мечами наотмашь. Великий урон причинил Улигач осажденным!

Вдруг пронзительные крики раздались со стороны крепости, словно рушились небеса. Поздно понял Опсит, в чем дело.

— В крепость! — закричал он.

Абазги бросились назад. Наступающие смешались с отступающими. В крепостные ворота проникли и те и другие. У реки ударил Улигач.

— Молите о пощаде! — кричал он.

Тучи стрел понеслись в ответ, сам он едва успел шмыгнуть под навес. Осердясь, Улигач рубанул подвернувшегося мальчика и велел показать мертвого осажденным. Жестокость эта еще более закалила решимость абазгов.

Иоанн повстречал Улигача на поле битвы окровавленного, с разбитой скулой.

— Собачья порода, — сказал Улигач, — они засели в домах, привязав к себе тех, кто послабее духом. Они дали клятву умереть.

— Тем лучше, — сказал Иоанн.

На каждом пороге шло кровопролитие. Абазг, лишившийся рук, пускал в ход зубы. Такого еще не видывал свет!

— Брат мой, — сказал Улигач, — крепость мы возьмем, но с кем мы двинемся дальше?

Иоанн подумал, затем сказал:

— Сжечь варваров в их домах!

Тут подбежал Симон — военачальник. Черную принес весть: двадцать отборных воинов из личной охраны Улигача растерзаны на части. Сообщил Симон эту весть и рухнул замертво.

Факельщики стали высекать огонь, в стан абазгов полетели огневые стрелы. Подобно осеннему звездопаду, падали они на головы осажденным.

Баг объявил своим домочадцам:

— Дети мои! Всему приходит конец. Нас пугают огнем. Но разве огонь не чище поганых стрел врага?

Потом изо всей мочи закричал своим соседям:

— Э-уй, отважный Суад! Э-уй, бесстрашный Кураш! Баг сгорит, но не покажет слабости духа. Э-уй!

И через мгновение, точно многоголосое эхо, отозвалось со всех сторон:

— Э-уй! Бесстрашные орлы! Вознесите хвалу всепобеждающему огню! Прочь робкие мысли!

Густые сумерки ложились на землю. Подул легкий морской ветер. Запылали первые дома. С треском загорался папоротник на кровлях. Огонь, как живой, полз от дома к дому. Завоеватели, оставшиеся в живых, воочию увидели, как люди грозились из пламени, как презрительно плевались они, изрыгая проклятья врагу.

Гул битвы утихал, уступая место грозному огню, завершавшему день неслыханным уничтожением.

Десять огненных стрел обезвредили дети и внуки Бага. Но вот прилетела одиннадцатая — запылала кровля.

Баг сказал:

— Гана, стань позади всех и рази каждого, кто устрашится.

Огонь охватил стены. Удушливый дым повалил из-под низу.

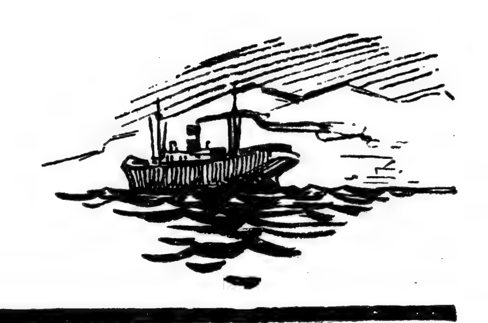
— Песню! — вскричал Баг и запел громко, неистово, закрыв глаза, усмехаясь кривой улыбкой.

А стрелы все летели со свистом, оставляя за собой длинные хвосты. Вскоре вся крепость пылала, как огромный жертвенный костер.

Уцелевшие жители уходили в горы, выбирали места для засад. Их провожало зарево пожара и пронзительная прощальная песня.

...Так кончилась эта великая ночь и встало над пепелищем ясное утро нового года — пятьсот пятидесятого года от рождества Христова.

1944



ОБИДА

Салуман Айба, крестьянин нашего села, был явно расстроен. Обида? Вероятней всего. Но это не совсем точно.

И вот почему: он никак не смог бы ответить, кто же его обидел? Никто его не корил, ничем не попрекал. Какая же это обида без обидчика? Больше того. На том самом собрании, с которого он возвращался, имя Салумана ни разу не было названо. Заметим, однако, что имя жены Салумана слишком часто упоминалось на собрании. Это именно и привело его в столь удручающее расположение духа, в котором ни с того ни с сего дают шлепок случайно подвернувшимся под руку детям.

Надобно сказать, что Салуман возвращался с собрания не один. За ним на почтительном расстоянии следовала его жена. Расстояние это было слишком велико, оно мало вязалось даже с правилами элементарной учтивости, которая существует между супругами вообще.

Женщина чем-то была приятно возбуждена. Но радость уступила место глубокой горечи.

Муж продолжал быстро идти вперед. И хотя мысли его целиком были поглощены той, что торопливо

семенила за ним, он не оборачивался назад. Напрягая слух, он пытался уловить шелест ее платья, хруст сухих веток под ее легкой ногой. Глядя на Салумана, становилось ясно, что он зол на жену и что уж во всяком случае она была виновницей его дурного настроения.

На небе сияла большая, добрая луна. От ее света окрестность побелела, точно ее полили молоком. Была весна, кругом все благоухало. Шаловливый ветер летал то в одну, то в другую сторону и возвращался, каждый раз принося с собой новый аромат. Вот запахло тополем, азалией, а вот набежала волна теплого воздуха, рожденная где-то в роще молодых эвкалиптов. Это была одна из тех весенних ночей, когда самая закоренелая хандра улетучивается так же быстро, как те ароматы, которые увлекал за собою ветер. В такую ночь смягчаются даже самые черствые души, и только Салуман оставался мрачен и холоден, как осенняя стужа. И это понятно: он был обижен.

Надо отдать справедливость: Салуман слыл отличным чаеводом. Его бригада считалась неплохой. Подобно многим своим собратьям, Салуман считал мужской пол особенным и умелым во всех делах. Только домашнее хозяйство было единственным делом, право на которое он оставлял за женщиной. Пожалуй, эти-то маленькие эгоистические убеждения и мешали ему долгое время найти подругу.

Но, наконец, как это бывает со всеми, в один прекрасный день во дворе Салумана появилась женщина. Домашние птицы и животные с удивлением наблюдали за тем, как она швыряла по двору направо и налево куски холодной мамалыги. Не будь они так голодны, вместо того чтобы жадно наброситься на еду, они, несомненно, заинтересовались бы молодой хозяйкой и сразу признали бы в ней ту самую девушку-соседку, с которой так часто перекидывался словечками Салуман. Звали ее Тамарой.

Салуман, верный своим убеждениям, сделал жену единственной повелительницей всего, что находилось в четырехугольном, огороженном плетеной изгородью

дворе. Предполагалось, что хозяйка будет ухаживать за всем, начиная с очага и кончая сердитыми индюками. Все же прочие высокие обязанности главы семьи Салуман великодушно присвоил себе. Время шло, и супруг считал себя полным хозяином.

Однако очень скоро наивный Салуман, глядевший на мир добрыми глазами, заметил, что почва ускользает у него из-под ног. Во-первых, он вспомнил, что Тамара образованнее его. (Но разве этого не говорили ему прежде?) А во-вторых — и это главное, — он заметил, что она исподволь расширяла пределы своих действий и в одно утро вдруг появилась среди зеленых чайных кустов.

— Ты что здесь делаешь? — спросил ее Салуман.

— Работаю. Это тебя удивляет?

Салуману стало стыдно своей забывчивости — он же дал свое согласие! Но как это случилось?..

— Ну что ж, попробуй, — сказал он покровительственно. — Нынче война. Всем надо стараться, — и пошел себе дальше.

В этот день Тамара пришла домой усталая, загорелая, но довольная. Она принесла мужу целый ворох новостей. «Такая-то заслужила похвалу, а такая-то работала так себе, неважно... Говорят, если дело не пойдет на лад, бригаду на правлении бранить будут». Салуман слушал снисходительно, терпеливо дожидаясь, когда жена выговорится. Голова ее лежала у него на руке, и она, увлеченная своими мыслями, говорила быстро, нанизывая одно событие на другое. Только около полуночи она, исчерпав все свои дневные впечатления, умолкла.

...Сбор чайного листа был в самом разгаре. Внимание всего села было направлено на одно: ускорить сбор.

Салуман с женой виделся раз в сутки — поздно вечером. Он по-прежнему с отеческим вниманием слушал ее рассказы, по временам прерывая шутливыми замечаниями. Из ее рассказов он узнал, что она примерная работница, «одна из лучших». (Он немнож-

ко поморщился: «Вот уже и хвастать стала».) Рассказала под большим секретом, что о ней кто-то пишет заметку в стенную газету. Салуман не выдержал и прыснул от смеха. А Тамара чуть не расплакалась.

— Ну ладно... Кто же о тебе пишет?

— Не скажу.

— Теперь я понимаю, — сказал Салуман, — наверное, директор школы, — и он намекнул на какие-то ухаживания со стороны директора.

У Тамары на щеках выступили красные пятна, маленький нос смешно зашмыгал, и супружеская чета готова была начать одну из тех мелких, но чувствительных ссор, которые порой случаются между молодыми. Но в это время убежало кипевшее молоко, и тем самым раздору, только что зародившемуся, был положен конец.

А через несколько дней в стенной газете появилась заметка. Она была озаглавлена так: «Лучшая сборщица чая». Автор ее, пожелавший укрыться за псевдонимом «Знающий», утверждал с помощью процентов, что «сборщица делает огромные успехи». Салуман с усмешкой прочитал заметку и постарался поскорее забыть о ней. Но вскоре он узнал, что жена его руководит бригадой (это она скрыла от мужа).

И вот за ужином он, словно невзначай, бросил ей:

— В бригадиры, значит? Так, так! Мы оба бригадиры. — Он сделал ударение на словах «мы оба» и тут же добавил отеческим тоном: — Надо же и вас поощрять...

Почему-то он встал, вышел во двор, взял попавшийся ему под руку топор и одним ударом расколол огромное сучковатое бревно. Удар был так силен, что заставил вздрогнуть бригадиршу. А Салуман процедил сквозь зубы:

— Мы оба, значит, бригадиры, — и, вернувшись в дом, продолжал ужинать как ни в чем не бывало.

— Между прочим, — сказала ему жена не без ехидства, — для того чтобы хорошо собирать чай, не обязательно колоть саженные колоды.

Прошло несколько месяцев, и в большой городской газете появилась статья. О чем в ней говорилось,

как вы думаете? Конечно, о бригадирше. Салуман повертел в руках газету, поглядел на подпись: незнакомая! Он показал статью Тамаре. Она изменилась в лице, матовые зрачки настороженно расширились.

— В общем хвалят, — буркнул Салуман, — отчего же не похвалить — молодцы!

Тамара так и не поняла, к кому относилось слово «молодцы»: к ней и ее друзьям по бригаде или же к тем, которые писали в газете? И она сказала тихо, но достаточно твердо:

— Тебе просто завидно.

— Завидно? Да ты с ума сошла! Стоит мне захотеть — все газеты обо мне затрубят.

— За чем же дело стало?

Лихо закрутив ус, он ответил:

— Далась мне эта слава! Проживу и без нее!

Утром он ушел из дому раньше обычного и не приходил до рассвета следующего дня. Ходил Салуман темнее тучи и без всякой видимой причины на каждом шагу чертыхался. Говорят, он имел крупный разговор в правлении колхоза и всю ночь грызся со своей бригадой — всех лентяями обозвал. Прошло еще две недели, и бригада Салумана стала работать, как хорошая водяная мельница в половодье. Салуман ходил тузом: руки — в карманы, шапка — набекрень; знай, мол, наших. Однако через некоторое время он поостыл, бригада его опять начала отставать. Советов Салуман не слушал — огрызался.

Незаметно прошел год. Салуман уже привык к газетным статьям и заметкам, в которых неизменно хвалили его жену. Он перестал видеть в этом что-либо особенное. И вот совсем недавно разнесся слух, будто Тамару наградили. И чем бы вы думали! Орденом! Да еще где? В самой Москве.

Когда об этом известили официально, в сельском клубе состоялось большое собрание, приехали представители из района. Много лестного было говорено, чуть не до небес превозносили Тамару.

Салуман притулился где-то в углу, молчаливый, угрюмый, а жена его сидела в президиуме. Поведе-

ние Салумана окружающие объяснили излишней скромностью: дескать, своя жена, зачем на людях радоваться. Одна только Тамара догадывалась о том, какая буря бушевала в его душе, и это угнетало ее. Собрание кончилось. Тамару поздравляли, целовали, обнимали — настоящее торжество, как будто не только ее, а все село наградили.

Когда собрались домой, Салуман сначала приличия ради пошел рядом с женой, но потом, что называется, прибавил ходу и оставил ее далеко позади. Вот в это время мы и застали супругов в самом начале нашего рассказа...

Салуман шел впереди высокий, плечистый, что ни шаг, то сажень, а Тамара почти бежала за ним мелкими, торопливыми шажками, такая маленькая по сравнению с ним.

Дома Салуман не проронил ни слова, будто вернулся с похорон. Он даже хотел лечь, не поужинав, но жена остановила его:

— Посмотри на меня... Что случилось?

Он поднял глаза и увидел ее болезненно-белое лицо, освещенное лунным светом. Две слезинки сползли по ее щекам. Салуман резко отстранил ее и стремглав бросился вон из комнаты. Долго ждала она его, но он не возвращался...

На рассвете ее разбудило прикосновение чьих-то горячих рук, кто-то сжимал ее остывшие пальцы.

— Как ты напугал меня!

Перед нею на коленях стоял Салуман. Глаза его светились, словно майские жуки. Он улыбался. Но не той горделивой, снисходительной улыбкой, как бывало прежде, а виновато, точно наказанный. Она обняла его крепкую шею и прижалась к нему:

— Где ты был?

— У ворот, — прошептал он ей на ухо.

— Ты обиделся?

— Нет, я думал.

— Вот ты какой завистливый!

Он хотел возразить, но она зажала ему рот.

— Ты увидишь, что нет, — услышала она его глухой голос.

— О чем же ты думал у ворот?
— О тебе.
— Не верю.
Он поцеловал ее в щеку и, переведя дух, сказал шепотком:
— Ты моя?
— Твоя.
— Совсем?
— Милый, милый, — заворковала она, теребя его жесткий чуб. — Я знала, что ты хороший!

1945

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С высокой палубы волны кажутся маленькими, совсем безобидными. Они проносятся мимо, кувыркаются, весело плещутся. Рядовой Қамут Айба глядит на них и не может наглядеться. Шутка ли, прошло четыре года, и вот перед ним снова море!

А в полдень перед ним предстали зыбкие очертания гор. Сшибая пассажиров, кинулся Қамуг со всех ног на нос корабля, переполз через огромные круги канатов — и теперь он впереди всех, ближе всех к земле!

Қамуг бросил на палубу вещевой мешок, перегнулся за борт и чуть не упал в воду. Кто-то толкнул его в бок и потянул назад, ухватив за гимнастерку. Обернувшись, Қамуг оказался нос к носу с незнакомым, улыбающимся человеком.

— Свалишься в воду, браток!

Қамуг подумал и махнул рукой.

— Не страшно, — сказал он, и его черные усики лихо поднялись кверху. — В воде не утону, я заговоренный.

— Это другое дело, — не переставая улыбаться, ответил незнакомец. Он глядел на Қамуга почему-то весьма дружелюбно.

Камуг коренаст и крепок. Лицо у него рябое, доброе, глаза шустрые, любопытствующие. Губы слегка припухлые, подбородок с ямочкой. Одет он в солдатскую форму, но уже без погон. Грудь обильно увешана медалями.

— С фронта?

— Прямой дорожкой.

— Из дальних краев, должно быть?

— Не особенно, — Камуг лукаво прищурился, — из-под Берлина.

У незнакомца от зависти расширились глаза.

— Ну и нахватал же ты медалей! Другим-то оставил?

Так, слово за слово, завязалась беседа. Камуг раскрыл свой мешок, вытащил из него консервы, буханку хлеба, даже перцовка нашлась.

Незнакомец тоже достал свой дорожный запасец, и они деловито примостились у вòрота, которым поднимают якорь.

Солдат оживился: как же, земляка встретил. Плотно набив рот, жирными пальцами крутил усики и хвалил водку. Перед каждой чарочкой Камуг произносил речь:

— Я тысячу верст прошел, друг мой, за фрицем гонялся. Из-под Туапсе до самого Берлина без отдыха добрался... Веришь ли? Тысячу раз с жизнью прощался. Но пули обходили меня, боялись. — Камуг вздохнул и одним глотком опорожнил стакан. — В общем не жалуюсь. Лишь бы дома был порядок. Писем давно не имею, вот горе.

— Дружище, — сказал собеседник, — главное — спокойствие! А из какой ты деревни?

— Из урочища Соколиное.

— Знаю, знаю, — ответил тот. Выбирая кусок мяса, что пожирнее, он вдруг посерьезнел, точно вспомнил неладное.

— Ты чего, по зазнобушке соскучился? — пошутил Камуг.

Попутчик скрутил папиросу и мотнул головой, отгоняя хмель.

— Послушай, Камуг, ты не падай духом, не баба

же ты, только деревеньку твою немножко обвалом помяло.

Камуг так и обмер, сердце екнуло, на лбу появились морщины.

— Говори, брат, не бойся. Больно гладко шли мои дела, а в такую пору это не к добру...

Но сколько Камуг не упрашивал, так и не выудил ничего путного. Земляк словно онемел.

Охота и есть и пить пропала, веселость как рукой сняло. Камуг исподлобья глянул на море, и оно показалось неласковым, хмурым, волны урчали по-звериному.

В портовом городе Камуг немного рассеялся. День стоял погожий. Люди сновали взад-вперед, занятые делами. Солдат внимательно рассматривал прохожих, но знакомых среди них не встретил. И Камуг решил сходить на рынок.

Там он прошелся по зеленному ряду, по молочному, заглянул в мясные лавки, побывал у фруктовых палаток. Одна крестьянка привлекла его внимание: очень смуглая и зубы у нее были торчком. Камуг вспомнил свою дальнюю родственницу и подумал: не она ли? Но крестьянка, заметив, что кто-то зарится на ее персики, быстро накрыла корзину подолом. Камуг чуть не обругал ее, тут же достал бумажник и, поддразнивая, пошуршал новенькими деньгами:

— Сколько тебе за персики, за всю корзину, целиком?

Крестьянка оробела и что-то залепетала. Камуг сунул ей деньги, отсыпал полкорзины персиков, тут же подарил их какой-то старушке и пошел прочь — знай, мол, наших!

Вдруг кто-то за рукав дернул, да так сильно, чуть не оторвал. За спиною — та самая крестьянка. И говорит ему, скаля желтые зубы:

— Лицо мне твое будто знакомое, — и называет имя.

— Нет, — отвечает Камуг, — такого я и слыхом не слыхивал. Я, — говорит, — из урочища Соколиное.

Крестьянка так и ахнула:

— Бедный человек, долго ли воевал?

— Четыре года.

Слезы потекли у женщины, настоящие, непритворные.

— Дай-ка, — говорит, — я тебя персиками угощу. Дура я, деньги с тебя взяла. Ведь деревеньку твою, можно сказать, начисто снесло. Большой разговор идет по району.

Камуг так и присел на чью-то корзину с картофелем и уронил на руки голову.

— Да ты не горюй раньше времени, — успокаивала его женщина.

— Когда же это случилось? Люди живы, или...

Спросить про семью язык не поворачивается.

— Месяца три назад. Да ты не горюй, наверно, живы.

Вокруг начал собираться народ. Глазеют на медали и на понурую голову, с вопросами пристают, но крестьянка, баба бойкая, никого молчанием не обидит, за двоих тараторит.

— Человек жив остался, на волосок от смерти был, а теперь без крова. Стало быть, начинай все сначала.

Рано утром Камуг выбрался из города на шоссе, остановил первую проходящую машину и полез в кузов. Шофер, молодой парнишка, видно, подвыпил, и машина виляла на дороге от обочины к обочине. Солдату такая езда пришлась не по нутру. «На фронте пуля не взяла, — думал он, — а этот пес угробит». Он постучал в кабину и слез на землю. Шофер обиделся, рванул с места и мгновенно скрылся из виду.

Камуг вскоре устроился на другой машине и поехал дальше, все ближе к родным местам. Спустя полчаса нагнали они первую машину — в канаве валялась. Удалой шофер уныло похаживал вокруг... Камуг погрозил ему пальцем.

Худо ли, хорошо ли, но к пяти часам доехал солдат до места, где надо было сворачивать на просе-

лочную дорогу. Распрощался с шофером, сломал ольховую ветвь, сделал из нее тросточку и зашагал домой широкими, какими в походах хаживал, шагами. Навстречу ему двигались горы. Где-то среди них была родная деревенька. Если бы вы знали, как больно защемило сердце у солдата!

Скоро прилука, высокий берег реки, оттуда, должно быть, деревня как блюдо на столе.

Камуг шагал без отдыха. Под кованым солдатским сапогом камни разлетались в стороны. Идет Камуг, на ходу тросточкой крапиву срезает, а сам от недобрых мыслей ног под собой не чувствует. Из такого пекла целехоньким выбрался, неужто судьба под конец напакостит!

На самом гребне прилуки нагнал Камуг арбу. Мальчонка насвистывал песенку, погоняя ленивых буйволов. Завидев солдата, у которого вся грудь в серебре, он смущенно съежился и перестал свистеть.

— Здорово, паренек! — браво, по-солдатски приветствовал его Камуг.

Мальчик отвечал запинаясь.

— Как в деревне дела?

— Хорошо.

— Как же это хорошо? Говорят, тут у вас все вверх дном перевернуло?

Мальчик оживился.

— Так это давно было! — сказал он. — Тогда всю ночь хлестал дождик. Наутро сполз кусок горы и завалил дома.

Камуг с трудом выдавил из себя только два слова:

— Кого убило?

— Никого. Наша собака не сыскалась... и ваша тоже... — и тут же выпалил: — А я тебя знаю!

— Раз ты меня знаешь — скажи, где мои живут?

Мальчик удивился.

— У себя.

— Так ты же сам сказал, что дома разрушены.

Мальчик спрыгнул с арбы и засеменил рядышком.

— Будто ты не знаешь где?

— Честное слово, не знаю.

— Вам построили дом. Кирпичный. Потом его известкой белили. Днем и ночью работали. Папа мой сказал, что вы счастливые, у них, говорит, хозяин на фронте. Да ты смотри, смотри!

Мальчик потащил Камуга за руку.

— Видишь, белый весь? И арба у вас новая. А те дома видишь? — их еще строить не кончили.

Камуг присел на огромный придорожный камень и внимательно осмотрел окрестность.

— Ты говоришь, что это мой дом? — спросил он серьезно.

Мальчик хитро улыбнулся, искоса взглядывая на медали Камуга.

— Я все знаю, — сказал он.

— А хозяйка жива? Как дети?

— Потом у вас стреляли, на новоселье...

— Ну, ладно. Вот это тебе! — И Камуг сунул оторопевшему мальчику несколько рублей. — За добрые вести. Грешно не брать.

Долго сидел Камуг на камне, а потом поднялся и быстро двинулся вперед.

С каждым шагом он яснее различал то лай дворняжек, то кудахтанье кур, то детские крики, такие же понятные и привычные, как те грозные звуки, что днем и ночью звучали в солдатских ушах четыре военных года.

1945

ИНТЕРВЬЮ СААТА РАНБА

— Передайте, пожалуйста, я издалека... Америка. Город Чикаго. Я журналист. Меня интересует все необычайное. Рад приветствовать древнейшего из живущих!

Мистер Талбот из Чикаго потряс протянутую ему руку и ощутил неиссякшую и когда-то, должно быть, могучую силу древнего старика.

В сени деревянного домика вынесли три стула. Хозяин ждал, пока сядет гость.

Очень жарко. Солнце будто спустилось на острую маковку высокого тополя. С ярко-синего неба льется теплынь — теплынь весны; она заполняет все, проникает во все уголки. От земли, как от горячего молока, идет пар.

Двор старика Ранба стоит на холме. Отсюда видно все село. Река, что блестит в долине, кажется потоком солнечного света, беспечно разливающегося по земле. Зелень и солнце, а вокруг — толпы заснеженных вершин, величаво-холодных!

Саа́ту Ра́нба без малого полтора столетия. Он высок, широк в плечах. Словно мшистый дуб, свидетель многих гроз, Саат пронес сквозь страшный бурелом свою долгую, очень долгую жизнь. Лохматые брови под морщинистым лбом, белые и нежные, как шелк, усы и борода придают лицу несколько суровое выражение. Но в глазах его такой же добрый и теплый свет, как и на всей природе в этот погожий день. Руки старика кажутся загорелыми — это след необычайно долгой жизни. Саат одет в черную с длинным ворсом черкеску, домотканый чесучовый архалук. Башлык и ноговицы — из серого сукна. С ним его неразлучный спутник — самшитовый посох. На нем тоже видны следы долгой жизни.

Переводчик, по имени Степан, — человек молодой, по мнению Саата, «совсем еще мальчик». В двух словах он познакомил Саата с гостем. Саат внимательно осмотрел приезжего, подивился на его могучую грудь, грудь борца, и крепкую шею.

Американец одет в свободный, будто не впору сшитый, клетчатый костюм и обут в прочные ботинки на толстенной подошве. Клок волос соломенного цвета тщательно приглажен, глаза светло-серые, скорее всего бесцветные. Через плечо перекинут ремень, на котором, как показалось старику, висел револьвер (позже выяснилось, что это фотоаппарат).

Саат внимательно выслушал гостя, помотал головой.

— Америка... Америка... — соображал он вслух. — Должно быть, далеко... — и добавил, польщенный визитом: — Стоило тебе беспокоиться ради меня.

— Стоило, — подтвердил мистер Талбот. — Лет пятнадцать назад я прочел у Анри Барбюса об одном вашем соотечественнике, может быть даже соседе. Тому, если я не ошибаюсь, тоже, как и вам, было лет за сто сорок. Ваша страна воистину страна долголетия.

— Возможно, — ответил Саат. — Разве это в диковину?

— О, да! — Журналист обратился к переводчику: — Впрочем, прошу передать: я знавал старика, одного почтенного краснокожего... столетнего.

— Только сто? — Саат набил трубку табаком. — Это был особенный старик?

— Как вам сказать? Я бы сказал, типичный старик, какие живут во все времена и эпохи, — он ненавидел все современное и, как ни странно, даже своих внуков.

— Вероятно, в молодости ему жилось куда лучше, — сказал Саат.

— Едва ли. Он прожил трудную жизнь и уже не мог двигаться, да вдобавок ко всему за ним скверно присматривали.

— Нехорошо, когда дети вырастают плохими, сын мой, — вдруг заключил Саат.

— На сыновей он пожаловаться не мог, — заметил американец. — Они сами нуждались в помощи.

— Беда, ежели под старость жизнь тебе на горло наступает. Просто беда!

— Много сногсшибательного сообщил этот старик. Ему посвятили чуть ли не всю газету. В свое время он снимал скальпы с белокожих. — И журналист присовокупил многозначительно: — От вас я надеюсь услышать нечно более занимательное.

Саат нахмурился. На минуту он погрузился в воспоминания, ушел от действительности.

В это время дверь, ведущая из сеней в комнату, с шумом распахнулась, и, как орехи из мешка, высыпалась оттуда целая дюжина ребятишек — мал мала меньше. Ребятишки смутились и, потирая свои голые животики, поспешили убраться восвояси.

— Ух, я вас! — погрозил им старик. — Какие любопытные! Правнуки, — пояснил Саат гостю.

Журналист улыбнулся, но какой-то чужой и скупой улыбкой. Может быть, он улыбнулся из вежливости?

— Очень хорошо! Мы их сфотографируем, — сказал он.

Хозяин обратил внимание, что гость сидит на самом солнцепеке, и предложил ему перейти под тень раскидистого ореха, что рос посредине двора. Мистер Талбот тотчас же согласился.

Легкий ветерок разгуливал по двору, открытому всем четырем странам света. Свежесть пришлась гостю по душе. А Саат со вздохом накинул на себя бурку и что-то пробормотал в усы.

— Меня интересует... — сказал мистер Талбот, раскрыв блокнот в обложке из крокодиловой кожи и приготовив зеленую ручку с золотым пером, — мне бы хотелось знать, что сильнее всего взволновало вас, что оставило в вашей памяти самое большое впечатление. Я имею в виду всю вашу жизнь — полтора столетия! Кстати, я хочу записать год вашего рождения.

— Тысяча семьсот девяносто девять, — сообщил Степан.

— Человек трех столетий! — воскликнул мистер Талбот с неподдельным восторгом и даже прищелкнул пальцами.

Степан, ободренный неожиданным восторгом гостя, счел нужным сообщить ему еще некоторые подробности:

— К нам до войны приезжала научная экспедиция. Из академии. Наш хозяин тогда поразил ученых. Они искали причину долголетия...

— И что же, нашли?

— Право, не знаю.

— Три столетия! Воображаю, сколько необычайных воспоминаний! Кажется, я нашел клад.

— Что он имеет в виду? — спросил Саат, выслушав Степана.

— Твой гость, — объяснил Степан, — как я говорил тебе, писатель. Он пишет в больших газетах, там, в других государствах. Он говорит: вот человек (это про тебя), знающий много удивительных историй.

Саат кивнул — дескать, понял — и, немного подумав, сказал:

— Было у меня десять братьев, парни-красавцы, кровь с молоком... Случилось так: одни за одного князя стали, другие — за другого. Почему? Не знаю. Сами того не подозревая, жили они как рабы, хотя и кичились своей свободой. Так угодно было богу. Однажды перессорились князья из-за каких-то арабских скакунов. И что бы ты думал? Братья перебили друг друга... И еще много погибло тогда народу. А князья — те винцо попивали да своих холопов, как собак, стравливали. Много прошло лет, а как подумаешь — странные дела на свете творились, очень странные! Вот бы описать их в назидание потомству! А?

Мистер Талбот поморщился: уж слишком примитивной показалась ему эта мысль. «Господа — всегда господа, рабы — всегда рабы...» Разве это сенсация?

— Да, конечно, — протянул журналист, — бывают в жизни травмы... Однако я возвращаюсь к своей просьбе. Назовите мне что-нибудь самое поразительное в вашей жизни. Что-нибудь необычайное, ну, как тот старик, о котором я вам рассказывал.

Саат оживился, плотнее закутался в бурку. Трубка его усиленно дымила, и дым мгновенно таял в неспокойном воздухе. А мистер Талбот все пытался натолкнуть старика на нужную тему:

— Говорят, например, у вас похищали девиц. Или банды джигитов в неприступных скалах... Или еще что-нибудь в этом роде...

— Кровопролитие?

— Я не ограничиваю вас, — произнес журналист. — Расскажите самое интересное, с вашей точки зрения. Я буду вам очень признателен. — В руках у американца нетерпеливо прыгала ручка.

— Ладно. — Старик всадил свой посох в мягкую землю и сказал медленно, разделяя слова: — Я покажу тебе нечто поразительное... за него мои внуки и правнуки жизнь положили... пятеро молодых, здоровых, как ты. Хочешь — покажу?

Мистер Талбот встрепенулся. Пригладил волосы.

— Я к вашим услугам.

— Хорошо, идем.

Старик поднялся и жестом пригласил гостя следовать за собой. Все это он делал сосредоточенно, с сознанием большого долга. Но прежде чем выйти за ворота, он что-то шепнул на ухо мальчугану, сидевшему на плетне. Мальчик со всех ног помчался на задний двор, и вскоре, в угоду обычаю гостеприимства, там заволновались куры и жалобно заблеял козленок.

Иностранец шел за стариком по крутой тропинке. На солнце было очень жарко, и когда тропинка свернула вправо, в тень, отбрасываемую холмом, повеяло прохладой. Саат спускался медленно, с опаской, будто он двигался по зыбкой топи.

Степан шел позади всех и то и дело предостерегал иностранца, советуя держаться той или иной стороны. Но гость, по-видимому, был хорошо знаком с капризами горных троп.

— Тут все чересчур девственно, — сказал журналист, прилаживая фотоаппарат для съемки. — Пейзаж напоминает мне Калифорнию. Богатая природа!

Степан поспешил заметить:

— Мы кое-чем можем похвастать.

Он втайне ждал, что иностранец засыплет его вопросами (ведь журналисты так любознательны!), поинтересуется, чем же, собственно, могут похвастать жители этого горного села, с виду ничем не примечательного.

Американец щелкал завтором аппарата, выискивая наиболее живописные нагромождения скал, и, казалось, не расслышал слов Степана.

Тропинка сбежала к маленькой, но шумной речке и потянулась вдоль нее. Саат повел своих спутников по берегу против течения. Еще десяток шагов — и они у цели.

Впереди оказалась маленькая электростанция, она работала, как и мельница, от воды. Это была гордость всего села. Ее построили крестьяне на средства колхоза, своими собственными руками. Она да-

вала свет пятистам дворам, крутила лесопилку, питала током радиоузел, с ее помощью показывали кинокартины...

Станция возвышалась на серой скале и была серая от цементной штукатурки, как и сама скала. Вода, пенясь и фыркая, вырывалась из-под здания и мчалась вниз по бетонированному руслу.

— Видишь? — Саат указал рукой на станцию.

Журналист раскис. Он сделал над собой усилие и поднялся по каменным ступеням на станцию. Не входя в помещение, он унылым взглядом пошарил по машине, рубильникам и тотчас же спустился обратно.

— Отлично, — промолвил он равнодушно.

— Что это он? — заинтересовался старик, ожидавший, что гость поразится увиденному. Выслушав Степана, он энергично запротестовал: — Отлично? Нет, совсем не так! Передай ему, да пояснее, сын мой, что это не просто отлично, — это вся наша жизнь. Во имя нее мы кровь на войне проливали. Понял? Так и скажи ему — вот этот чудо-домик и есть самое приятное в моей жизни.

Мистер Талбот хитро покосился на старика:

— За все три столетия?

— За все три!

Журналист хмыкнул, как бы желая сказать: «Разрешите не поверить», — и его рассеянный, поскучневший взгляд, словно полинявший на солнцепеке, скользнул по белым, как мрамор, стенам ущелья. Его опытный глаз по достоинству оценил красоту пейзажа, и он примеривался, как бы получше заснять его.

Между тем Саат приготовился к длинной речи, он хотел как можно ярче выразить то, что так давно жило в его сердце, что было для него слаще сахара, что волновало его более всего в жизни. У него дрожали руки.

Степан остановил Саата.

— Дедушка, — сказал он тихо, — а поймет ли он тебя?

Саат от неожиданности присел на камень — об

этом и не подумал! Он приложил к глазам ладонь и внимательно осмотрел статную фигуру американца.

Мистер Талбот, весь поглощенный съемкой, прыгал с места на место, точно юноша.

Старик вдруг почувствовал себя глубоко оскорбленным. Он еще раз смерил американца с головы до ног.

— О чем это ты, Степан? — сказал Саат.

— Я говорю, поймет ли он тебя?

И Саат первый раз в жизни, первый раз за все полтораста лет пожалел о том, что к нему приехал гость. И в ответ Степану он только пробормотал:

— Не знаю, сын мой, не знаю...

1946

ИЗ РАССКАЗОВ ГУГА НАНБА

Три месяца бродила по горам наша экспедиция. Мы исследовали обширный угольный район, собрали много материалов. Поздней осенью возвращались обратно, в город. Около Золотого Дола нас застал дождь, и мы зашли на часок к старику Гугу Нанба.

— Ну, теперь не выпущу, — сказал он, когда наши рюкзаки и инструменты были сложены в углу большой комнаты на земляном полу. — Пожалуйте греться.

Стояли прохладные ноябрьские дни, а вечерами бывало просто холодно, и очаг оказался как нельзя кстати. Словоохотливый хозяин не давал нам скучать. Это был старик лет семидесяти — крепкий, веселого нрава. Пока готовили ужин (судя по хлопотам, он обещал быть весьма обильным), нас угощали водкой, орехами и свежим сыром. Дождь давно унялся, небо прояснилось, но нас не отпускали.

Мы засиделись до глубокой ночи. Старик рассказывал о селе, соседях, о своем доме, рассказывал весело, с тем оттенком юмора, который свойствен людям жизнерадостным, уверенным в своих силах.

Некоторые из его рассказов мне показались любопытными. Старик заметил, что в руке у меня карандаш, и положил мне на плечо свою руку.

— Не для себя. Это для других нужно, — сказал я, оправдываясь.

— Для других? — переспросил он. — А не лучше ли позвать их ко мне в гости — тут мы верней столкуемся.

И он постарался ни словом не обмолвиться о себе.

— Погода будет прекрасная, — проговорил Гуг, взглянув на окно, в котором виден был черный кусок неба, густо усеянный звездами. — О чем это мы? Да. Стало быть, вы не знали нашего Симона? Но прежде всего два слова о нашем житье-бытье...

Заоблачный гость

Урочище наше зовется Золотой Дол. Откуда это название и кто окрестил так скромную местность — неизвестно. Если верить сказке, то некий охотник, увидев нашу желтую, как шелковичный кокон, землю, местами блестевшую, точно битое стекло, принял ее за чистое золото. Впрочем, золото и впрямь попадалось в желудках птиц и диких зверей, которые водились в этих местах. Да что в этом толку? — все равно до настоящего золотого дола далеко!

Можно смело сказать: с сотворения мира перебывало у нас не так уж много народу. Население Золотого Дола такое же извечное, как и скалы, речка, бурлящая в овраге, облака, которые почти никогда не меняют ни цвета своего, ни формы. Казалось, плюнул на нас белый свет и постарался вычеркнуть из своей памяти. Да и как не забыть! К нам ни пройти, ни проползти: дорог никаких — одни турьи тропочки.

Только в самые жаркие летние месяцы, когда от снегов и следа не остается, можно добраться к нам. Ну, а замешкался в пути — не вини никого, прощайся с жизнью: либо в пропасти лети, либо на скалах пропадай. Ближайшими нашими соседями из живых существ были только олени, медведи да волки. Вот и жили мы так, постепенно зверея. Случайно забред-

ших к нам охотников чуть ли не в плен брали — жалко было живого человека отпускать, вот и спаивали да закармливали каждого до полусмерти.

Но постепенно население наше расплодилось, как лишай на камне или мох на дубе: дворов шестьсот набралось, целое село! Добра всякого прибавилось, а по вечерам все лучинки жгли, даже уши сажей закладывало. От скуки люди друг за другом охотиться стали: один не так посмотрел, другой не тем голосом ответил, третий чужую жену оскорбил взглядом. В общем развлекались как могли — все больше на похоронах и поминках. Силища из людей перла, а разумно приложить ее было некуда.

И вот, хоть и оскудела моя память, как сейчас помню, однажды летом ворвалась к нам, в Золотой Дол, нежданно-негаданно целая ватага молодых людей. Идут они в коротких штанах, мешки за спиной, песни поют. Если бы сказали, что второе пришествие наступило, то мы, наверное, меньше удивились бы. Начали это мы с гостями разговор вести, глядим друг на друга, ничего не понимаем, словно из разных миров люди. Рассказали они нам, что царя с престола сбросили и повсюду новая власть — советская. Парни говорили об этом с большой охотой.

— Вы затем и пришли, чтобы сообщить об этом? — спрашиваем их.

— Именно, — ответил главный вожак. — Разве этой новости мало?

— Но как вы до нас добрались?

— Ползли, ползли и доползли! — засмеялись парни.

И тут же говорят: надо школу открывать, детей грамоте учить, а если взрослые захотят, то их тоже милости просим.

Скажу прямо: народ наш до шуток не больно охоч, смеяться впустую не любит. Насупились наши, зрачками во все стороны водят. А Каѝн, столетний старец, руками замахал: дескать, не желаю ни глазам, ни ушам своим верить.

— Наваждение! Наваждение! — кричит, да и только.

Тут гости прямо к нему и приступили:

— Есть у тебя потомство?

— Есть, — отвечает Кан, — вот!

И вытолкнул вперед мальчонку.

— Сколько лет?

— Может быть, восьмой. А какая разница?

— Он должен учиться, — в один голос решили гости.

Кан чуть со смеху не лопнул. И все мы, как по уговору, расхохотались.

— Школа в Золотом Доле?! — кричал Кан. — О боже, я не выдержу! Уморили!..

А вожак, их парень, точно зубами вцепился в старика и не отстает. Тычет ему бумагу с печатью: законные, мол, полномочия от новой власти имеются. А другой достал чистый листок бумаги и написал на нем имя мальчика, а под именем поставил год, месяц и число.

— Спрячь эту записку и храни ее, — сказал он Кану. — Когда-нибудь ты вспомнишь это утро.

— С удовольствием, — ответил старик, пряча бумажку в карман.

С тех пор добрых двадцать пять лет прошло. Теперь мы и школе не дивимся, точно она тут всю жизнь так и стояла, и на книги в читальне смотрим, словно им так и положено было на этих полках лежать. Живем, точно в живую воду нас окунули и на свет заново родились. Да и люди во всем мире тоже как будто другими стали — едут к нам в село и учителя и агрономы. Даже врачи, благо дорога к нам широкая. А совсем недавно вот что случилось: пришли к нам инженеры, осмотрели поле, что за селом, а вечером в сельском Совете собрание устроили.

— У нас есть задание правительства, — сказал инженер в очках и с бородкой, — задание большое. Первое: чтобы вы со всем миром разговаривать могли и все новости знать — радио поставить. И второе: воздушную дорогу к вам провести, чтобы на поле вашем стальных птиц сажать.

Слушали мы, и казалось, что все так и положено и ничего будто нет во всем этом удивительного. Кто-то

даже крикнул: чего, дескать, так долго тянули, пора бы уже кончать с этим. Инженер чуть ли не извиняться начал. «Задержка,— говорит,— не по вашей вине была»,— и обещал, как говорится, коня подхлестнуть.

Присутствовал на собрании и старик Кан. Наклоняется он ко мне и шепчет на ухо:

— Спроси-ка ты их, где это мой внук запропастился. Послали учиться, а что с ним — неизвестно...

Инженер руками развел: не знает, мол, Канова внука, не встречал такого...

А тут, друзья мои, прошел месяц, и такое заварилось, что и рассказать невозможно. Приходим мы в отделение связи, и любой из нас с городом, словно город на чердаке, разговаривает. Кудаш в Союз охотников по воздуху стучится, спрашивает, куда ему меха девать. Счетовод из города справку какую-то просит. Директор школы приветы знакомым шлет. А старый Кан сидит возле, словно этакий древний, недоверчивый дух, все слушает да на людские дела дивится.

Но самое замечательное приключилось в июльский день. Облетела Золотой Дол скорая весть: люди прилетают, как орлы парить будут! К полудню весь народ высыпал в поле. Кан тоже не усидел, приехал на своем норовистом скакуне и, кряхтя, сошел на землю.

Наш председатель сельсовета, видимо, волновался, все на облака поглядывал, перешептывался с начальником почты, записку какую-то писал.

Кан примостился под деревом на краю поля и молча слушал молодых людей. Твердь небесная, шутили они, разверзнется, а оттуда сундук, железом кованный, упадет; в нем-то люди и сидят!..

И вдруг загудело в небе, и сквозь облака маленькое пятнышко проступило, крохотное, как ястребенок. Покружился ястреб в воздухе и стал на землю садиться. Как закричит председатель не своим голосом:

— Головы прячьте, головы!

И в это самое время что-то заревело над головами и покатилось по полю. Сначала народ оцепенел, а потом сломя голову бросился вперед.

Поблескивая на солнце, стояла та самая стальная птица. Ее обступили тесным кругом, щупали, постукивали по бокам, чуть хвост ей не оторвали. И вдруг из самого брюха ее выполз человек, весь в кожаном: кожаная куртка, кожаные сапоги, кожаная кепка. Встал на крыло, снял кепку и, прищурив глаза, посмотрел вокруг. И тут в один голос закричали наши:

— Саид! Саид!

В самом деле, это был Саид, мальчонка, которому ученость пророчили, внук старого Кана. Дед чуть с ума не сошел: и смеялся и плакал разом. И старик —как это он только вспомнил! — достал записку, ту, что когда-то ребята написали.

— Сбылось! — говорит он. — Сбылось пророчество!

Саид, не долго думая, предложил деду на птице прокатиться. Неизвестно, хотел того Кан или нет, только оказался он на сиденье, да к тому ж ремешками привязанный. Делать нечего, расхрабрился дед, все равно никуда не убежишь, поневоле приходится героем глядеть.

— Живым возношусь на небо, — сказал старик и улыбнулся.

Заревела птица, рванулась ввысь. Толпа стояла точно зачарованная, и все смотрели в то самое место, где Кан со своим внуком в облака нырнул.

А я думал: боже мой, и все это у нас, в Золотом Доле, и все это на моем веку!..

Наш Симон

— Если кому-нибудь доводилось бывать в нашем селе, — начал Гуг свой рассказ, — тот первым долгом знакомился с Симоном, сельским фотографом. Кто бы миновал его? Место он выбрал себе видное и людное — возле правления колхоза, а на балконе правления развесил с полдюжины диковинных картинок: тут тебе и лес, и парк, и наездник на коне. Картины красивые — глаз не отведешь. Подходили люди, интересовались картинками. Спрашивали у Симона:

— А почему у всадника вместо лица дырка?

Смеялся Симон.

— Любое лицо ему под стать,— говорил он,— полезайте сюда — сами увидите.

Мастер был Симон на разные штучки! Он не просто фотографии делал, а с выдумкой. Смотришь: сидит человек на коне, глаза таращит, из нарисованного пистолета в небо палит; другой рог держит, с друзьями кутит; а вот и подружки с букетами цветов — глаза застыли, будто стеклянные, нарочно все вверх глядят, чтобы большие получались и с выражением; а вот целая семья красуется, человек десять; правда, хоть и похожи они на восковых, зато каждая мелочь отчетливо видна: кольца, часики, медальоны. Валом валит народ к фотографу — каждому хочется у себя на стене покрасоваться — помоложе да попригляднее...

А Симон работы не чурается, день-деньской у ящика с черным рукавом стоит, снимки в воде полощет, колдует над ними.

Внешность у Симона была приметная. Он был высокий, костюм носил защитного цвета, полувоенного покроя, брюки — галифе. На груди у него медный значок блестел: самолет, а вместо мотора — кулак и надпись: «Ультиматум». Носил он еще и другой значок, костяной — лира в венке из лавровых листьев. «Я артист своего дела,— шепелявя, объяснял Симон,— потому на съезде фотографов лира подарена». Кто верил ему, а кто втихомолку посмеивался: дескать, мы народ понятливый, нас не проведешь.

Худой был Симон — кожа да кости! Спиртного в рот не брал, зато ел за троих — не наедался. Не шла ему пища впрок. Решили люди: трусоват Симон, наверное темноты боится, где ночь его застала — там и ночует. Вот от трусости, дескать, и тает, словно воск. По правде сказать, в этих разговорах не мало был виноват сам фотограф. Любил на себя лишнего наговорить, над собой посмеяться. Рассказывал, будто от жены сбежал и так-де боится ее, что дрожит при одном воспоминании о ее взгляде. Некоторые, говоря откровенно, сомневались: да разве трус скажет сам, что он трус? Однако пришло время, и все само по себе раскрылось. Узнали мы, кто был Симон. Недаром

говорит пословица: пусть думают люди, что ты облезлая бурка, лишь бы ты по правде был мохнатой. По пословице и вышло!

...Года три тому назад появились в горах немцы. В оврагах и на скалах закипели бои, загудела земля. Наше село ближе других к перевалу, и вот к нам испытание и пришло первым. Как говорится, всяк храбр, пока с войском не повстречался. Смятение началось немалое. Стали скот с пастбищ сгонять, домашний скарб в узлы увязывать. Мужчины, которые помоложе, оружием запасались, отряд для борьбы с врагом организовали. Я тоже настоял, чтобы и меня признали молодым и доверили оружие. Во главе отряда поставили фронтовика, который после ранения дома отдыхал. Штаб устроили в школе, по ночам собирались и разные дела решали. Задача наша — держаться в горах, пока воинские части из долин не подоспеют.

И вот настала пора действовать. Снарядили мы в разведку людей. Один из них был колхозный счетовод, другой — заведующий фермой. Вернулись они поздно вечером с дурными вестями. Немцы, говорят, за лесом большой луг заняли, понавезли туда орудий, самолетов, бомб.

Страшно было слушать все это: в комнате — полутьма, на стенах огромные, точно углем нарисованные, тени покачиваются... Стало быть, не сегодня завтра жди удара!

Командир наш сопел и почесывал лоб, все самолетами интересовался. У разведчиков с перепугу зуб на зуб не попадает.

— Много самолетов, говорите? — спрашивает командир.

— ...и все блестящие такие!

— Сколько их?

— Много.

— Вы их видали сами?

Разведчики переглядываются между собой. И оба, как по-заученному, твердят:

— Видали, а как же?! От блеска чуть не ослепли.
— Выходит, под боком аэродром?
— Да, выходит так.
— Тем лучше, — сказал командир, — мы уничтожим его!
В это время дверь тихо отворилась, и в нее проскользнул фотограф, наш Симон. Он держался в тени.
— Кто там еще? — буркнул командир.
— Я, — отозвался Симон.
Присутствующие, как по команде, повернулись к нему.
— Тебе чего-нибудь надо, Симон? — спросил командир, предпочитавший обсуждать боевые дела без Симона.
— Нет, — ответил Симон.
Наступило молчание, в продолжение которого фотографу предоставлялась возможность показать свою воспитанность и покинуть штаб. Однако Симон достал кисет, обрывок газеты, огниво, кремень, и, судя по тому, как все это проделывал, было видно, что не собирается уходить.
— Ты из дому, Симон? — спросили его.
— Нет, я побывал у них и решил зайти к вам.
— Где это «у них»?
— У фашистов. Они совсем недалеко отсюда.
Мы насторожились и приступили к Симону с расспросами. А он не торопился, все по порядку выкладывал.
— Пополз это я, что называется, на брюхе: дай, думаю, посмотрю, чего они там делают. Пересек на пупе лес и вижу — на полянке незнакомые люди землю роют. Поглядел на них из-за кустов, посидел часок-другой. Прямо скажу: ничего особенного, народ плюгавенький, против наших охотников — круглый ноль.
Рассказывает Симон, а у самого усы торчком, тоненькие, как иглы, взгляд с хитринкой. Не вытерпели мы, да как расхохочемся, в густую краску фотографа вогнали! С каких это пор Симон героем заделался? На рассвете за малой нуждой сходить боялся, а тут — не угодно ли? — целая разведка!

А Симон как ни в чем не бывало продолжал:

— Стоят они за лесом небольшим скопом, горланят по-своему...

Тут командир не выдержал.

— Врешь ты! — заорал он на фотографа и в сердцах кулаком по столу хватил. — Бессовестно лжешь! У них всего вдоволь, и даже самолетов!

Симон побледнел, передернулся весь, словно его лихорадка тряхнула.

— Самолетов? — только и смог он выговорить.

— Да, и самолетов! — Командир наш — человек молодой, лет тридцати, через всю левую щеку у него сабельный шрам, от правого до левого плеча ордена и медали тянутся — словом, бывалый воин. — Знаешь, — сказал он сухо, — что полагается за такую болтовню и за неправильную информацию во фронтовой полосе?..

— Симон, друг, — услышал он чей-то мягкий и оттого, может быть, еще более обидный голос, — не такое нынче время, чтобы шутить... Нехорошо...

Бросил фотограф недокуренную самокрутку и вышел пошатываясь. Было слышно, как он проковылял по коридору, как захлопнулась за ним калитка. Командир сказал:

— Не мешает проверить, что это за птица такая!

...Ночь прошла в тревоге. На рассвете что-то зарокотало, — говорили, это немцы из пушек стреляют. Командир приказал каждую тропинку стеречь в оба и в случае необходимости держаться до последнего.

Утром в штабе проветривали комнаты. Люди наспех умывались холодной водой, стоя закусывали. Командир что-то писал и ругался крепкими словами.

— На фронте, — бормотал он, не отрываясь от бумаги, — разведка — первое дело. А тут есть самолеты, нет самолетов — поди разберись!

У школьных ворот, скрытых от нас высокими кустами, послышались голоса.

— Откройте ворота, — властно произнес кто-то.

— И в калитку пройдут, — возразили ему.

Из-за кустов показались люди: они в торжественном молчании несли носилки. Мы кинулись им навстречу.

Носилки поставили под каштаном. А на носилках — наш Симон, бледный, осунувшийся, рубашка на нем вся в крови.

Послали за фельдшером, побрызгали Симону лицо водою. Фотограф пришел в себя, собрался с силами и прошептал еле слышно:

— Ранили, черти, из пулемета ударили. Еле доснял... аппарат бросил... ноги уволок... Нет у них самолетов... в кармане снимки.

Осторожно вытащили еще сырые фотографии. На них весь немецкий лагерь обозначен: где какие палатки, где орудия стоят, — все видно, как днем. Посмотрел командир снимки и сказал:

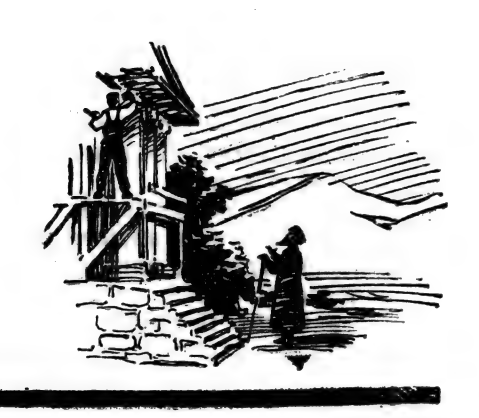
— Извини, дорогой товарищ. Ведь могут же люди ошибаться.

Пожал он Симону руку, и каждый из нас поторопился поблагодарить фотографа. А Симон лежал тонкий, улыбающийся. Но не прежняя была улыбка — хмурая тень на нее ложилась. И вот лицо сделалось совсем серым.

— Смерть... — сказал Симон и уснул навеки.

Похоронили Симона с почестями, холмик, что у дороги, живой зеленью украсили. Как и прежде, люди не проходят мимо Симона: останавливаются у могилы и добрым словом поминают нашего фотографа-разведчика!

1946



КОНЕЦ ОДНОЙ КАРЬЕРЫ

Происшествие это, довольно-таки редкое в наши дни, вызвало веселые пересуды сотрудников одного учреждения, занимающего четырехэтажное здание на окраине областного города. Еще бы! Улетучился, словно пар, живой человек, точнее — сам начальник учреждения Пантелеймон Сидорович Сыч.

На первый взгляд случай этот как будто поразительный, если учесть, что бурное нравственное и физиологическое развитие Пантелеймона Сидоровича за последние три месяца не давало повода для каких-либо мистических предположений относительно его судьбы.

Пантелеймон Сидорович появился в учреждении полгода тому назад в качестве заместителя начальника. Это был небольшого роста, косноязычный человек. Словарный запас его речи был предельно скуден, и фразы не отличались большим разнообразием. Вот главнейшие из них: «Слушаюсь», «Будет исполнено», «Будет доложено», «Таково мнение самого Петра Иваныча» (это о начальнике), «Сам Петр Иваныч приказал» и еще кое-что в этом роде.

В заместителях он ходил бесшумно, словно тень, с опаской приоткрывая дверь в кабинет своего

начальника, и приближался к нему только на цыпочках.

В уголках его губ залегли две глубокие складки. Они-то и придавали порой лицу Пантелеймона Сидоровича выражение сугубой кротости. Но чаще всего он бывал мрачен и лишь в присутствии начальства иногда похихикивал в кулак.

Однажды Пантелеймона Сидоровича будто подменили...

Дело в том, что Петра Иваныча перевели в другое учреждение и впопыхах повысили в должности Сыча. Это случилось в субботу, а уже в понедельник Пантелеймон Сидорович изволил явиться на работу с двухчасовым опозданием.

— Что это за топот в коридоре? — с тревогой спросила заведующая канцелярией курьершу Феклу Семеновну.

Фекла Семеновна выглянула в коридор.

— Батюшки! — воскликнула она, всплеснув руками. — Да это же Пантелеймон Сидорович!

— Что за вздор! — проворчала заведующая. — Скажите, чтобы прекратили топот.

— Да это же он! И такой важный!

Действительно, по коридору шествовал сам Пантелеймон Сидорович. Он медленно передвигал ноги и сильно бил каблуками об пол.

Сыч прошел мимо ошеломленных сотрудников и направил свои стопы в кабинет начальника. Он никого не удостоил кивком; его холодные глаза смотрели куда-то вдаль. Две складки в уголках губ неожиданно загнулись кверху, отчего на лице изобразилась устрашающая гримаса.

И только тогда, когда он процедил секретарше: «Сегодня не принимаю», — всем стало ясно, что именно произошло с Пантелеймоном Сидоровичем: он стал начальником!

Итак, Пантелеймон Сидорович сделался начальником. К себе в кабинет он требовал не менее трех стаканов чая с лимоном, удвоенную порцию завтраков и ужинов. В два месяца он раздался в стороны, точно его ежедневно накачивали воздухом. Шея у него на-

лилась соком, похожим на томатный. Грудь сильно подалась вперед, а живот и того пуще. Фигура Сыча приблизилась по своим контурам к очертанию объемистой тумбы. Щеки у него раздулись, приняв цвет того же томатного сока. «Обруча не натянешь», — говаривали между собой сотрудники, вглядываясь в начальническое лицо. Пантелеймон Сидорович уже еле умещался в легковую машину. Началось ожирение сердца.

Серьезное изменение претерпели не только внешние, но и некоторые другие качества начальника. Сыч неожиданно заговорил басом. На подчиненных он только рычал, перестал их различать по имени и отчеству. Взгляд сделался ничего и никого не видящим.

Пантелеймон Сидорович был совершенно неподражаем, когда облачался в шубу и тащил большой, бежевого цвета портфель, набитый какими-то бумагами. Лицо его скрывалось под широкополой шляпой, которая казалась напяленной прямо на каракулевый воротник.

В течение двух месяцев новый начальник порядком-таки реконструировал свой кабинет. Он приказал вдвое увеличить площадь, а перед письменным столом поставить другой длинный-предлинный, за которым могло заседать большое количество подчиненных. Система звонков была перестроена совершенно заново: теперь можно было вызывать нажатием кнопки не только личного секретаря, но и заведующих отделами.

В кабинете срочно пробили новую дверь. В эту дверь, ведущую к черному ходу, Пантелеймон Сидорович скрывался от посетителей. Этой же дверью пользовался он, чтобы незаметно проскользнуть к себе в кабинет, где он по нескольку часов подряд просматривал журналы, пил чай с бутербродами и разговаривал по телефону с ответственными знакомыми.

Все эти неожиданные перемены не остались, разумеется, незамеченными. Более того. Молодой человек, работающий заведующим отделом снабжения, выйдя из кабинета начальника после первой беседы с ним, тут же в приемной произнес пророческие слова:

— Не жилец!

Вскоре на одном из собраний начальник подвергся первому, но не последнему осуждению со стороны своих сотрудников. Сыч, глотая горькие слюни, пообещал исправиться. Ровно через три дня начальник предал забвению свое обещание.

Трижды в течение двух месяцев Сыч давал обещание. Трижды он нарушил свое обещание. У сотрудников учреждения терпение определенно иссякло.

На следующий день после очередного собрания и очередного обещания Сыча в канцелярию явился заведующий отделом топлива, человек трудолюбивый и к себе и к другим взыскательный. Он сказал, с удовольствием потирая руки:

— Скоро услышим новость!

И он подмигнул Фекле Семеновне.

Заведующая канцелярией отлично поняла его. Она заметила:

— По-моему, непременно услышим.

И вот Пантелеймона Сидоровича вызвали в вышестоящую инстанцию. Оттуда Сыч вернулся совершенно расстроенный. Складки в уголках губ снова опустились книзу. Начальник прошел в кабинет и хлопнул за собой дверью.

Заведующая канцелярией вошла в приемную и насмешливо спросила секретаршу:

— Как, он еще у себя?

— У себя.

— Что он говорит?

— Молчит. Кажется, не в духе.

— Еще бы, — понимающе заметила заведующая, — будешь не в духе...

Вдруг тяжелая, обитая дерматином дверь отворилась и на пороге показалось пальто с каракулевым воротником. Оно настолько обвисло, что под ним не чувствовалось живого тела. Портфель беспомощно волочился по полу. Пальто пошатывалось из стороны в сторону...

Люди в приемной от удивления так и обомлели.

— Пустое пальто и... ходит, — проговорил кто-то.

Однако заведующая канцелярией подошла к пальто, полагая, что оно не совсем пустое.

— Пантелеймон Сидорович, — сказала она в шутку, — может быть, помочь?

И ей послышалось, что пальто промямлило что-то вроде «прошу». Но оно казалось пустым!

Это было чудо или какой-то необычайный фокус! А если фокус, то кто же его выкинул?

И все заторопились в кабинет, надеясь найти там ответ необыкновенному явлению. Но кабинет был пуст. Куда же девался начальник? Ушел через черный ход? Нет, не выходил. Это подтвердила тетя Груша, которая обычно дежурила у черного хода.

Некоторую ясность попытался внести заведующий хозяйством, которому случилось быть при этом.

— Итак, — весело заключил он — итак, товарищи, остается одно: предположить, что Пантелеймон Сидорович находился внутри того самого пальто.

Курьерша подтвердила это предположение. Она сказала, что когда пальто прошуршало мимо нее, ей будто бы послышалось какое-то шипение, точно воздух выходил из прокола в велосипедной камере.

— Это был он, — твердо заявила она под хохот присутствующих, — фальшивый-то дух испарился и остался один пшик.

Довод был веский, и все согласились с Феклой Семеновной.

1953

КРОХОБОР ЗА ЧТЕНИЕМ

(Письмо в редакцию областной газеты)

«Уважаемая редакция!

Не без трепета читал я очерк «Большой путь» Н. Иванова, напечатанный в вашей газете. Причины для вышеуказанного трепета были двоякие: с одной стороны, очерк о нашем районе, что весьма приятно, а с другой — ошибочки, которые наверняка должны присутствовать в очерке, ибо писатель Н. Иванов

не проживает в нашем районе и не может знать район так, как знаем его мы, исконные жители здешних мест.

Два слова о себе. Человек я занятой (сами понимаете: ответственная работа в райплане). Моя слабость — литература. Читаю ее с карандашом в руке, обложившись счетами, арифмометром и логарифмической линейкой. Мимо меня ни одна мелочишка не прошмыгнет. У одного классика я даже какую-то неточность обнаружил. Вот не вспомню у кого. Я хвать за перо, чтобы написать письмишко автору, этакое, с выговором, да спохватился: классик-то давно помер!

Вернемся к очерку Н. Иванова. Читал я его ни много ни мало десять дней. Получается тридцать пять строк на день. Это немало, если учесть, что я не просто читал, но анализировал каждое слово, даже каждую запятую, вертел ручку арифмометра, щелкал счетами, работал на логарифмической линейке. Это у меня с детства. Мамаша моя, женщина горячего характера, бывало, прикрикивала на меня:

— Эх ты, крохобор несчастный! Ты себе все наслаждение портишь! Читай, а не лови блох в книгах.

А я не обижался и не обижаюсь доселе. За любовь к мелочам пусть буду крохобором. Всякое дело из мелочишек состоит, особенно литература.

Многие из моих знакомых пишут письма в редакции. Иные благодарности получают от газет: дескать, спасибо за хорошие советы. И я не раз писал. Но я все больше насчет разных мелочишек, разных там блох. Пусть меня не благодарят: как говорится, чем богат, тем и рад.

Читал я, значит, очерк «Большой путь» и страшно мучился из-за ошибок. Я насчитал $13^1/_2$ (тринадцать с половиной). Ниже я объясню, что означает эта половинка. А теперь пойдем по порядку.

Н. Иванов пишет недрогнувшей рукой: «Краешек неба позеленел...» Извини, уважаемая редакция, но я понимаю так: значит, в то время как Н. Иванов пытается (именно пытается!) описать достижения нашего района, небо неожиданно зеленеет. Отчего же, разрешите спросить, оно зеленеет? Может быть, от злости? В таком случае на что оно злится! На достижения?

Но, может быть, сей автор действительно увидел в нашем районе зеленого цвета небо? Дай, думаю, проверю. И я пошел... Да, я вышел из дому и все время глядел наверх. Нет, я не нашел зеленого неба!

Посмотрел я прямо перед собой и чуть не наткнулся на знакомого маляра (он чудесно разрисовал нашу чайную).

— Милый, — обратился я к нему, — какого цвета небо в твоих произведениях?

Он ответил мне вполне уверенно:

— Только синее.

— А что ты делаешь с зеленой краской?

— Ее я кладу только на луга и рощи.

Кажется, ясно, уважаемая редакция!

Далее. Н. Иванов пишет: «В пятистах шагах от правления протекает тихая речка...» Врет он! Я не поленился, потратил целый вечер, трижды измерил расстояние шагами. Где же пятьсот? От силы насчитал четыреста девяносто. Где же десять шагов? Могут сказать: это мелочь, крохоборство! В таком случае позвольте сослаться на известную песню, в которой говорится: «А до смерти — четыре шага». Значит, каждый шаг имеет большущее значение! Нет, нельзя так бросаться шагами, как это делает Н. Иванов!

Н. Иванов, потеряв чувство всякой меры, пишет: «Лошадь плелась понуро...» И это о нашей, о колхозной лошади! Опять же, не жалея ни сил, ни времени, я разыскал возницу Чуркина и говорю ему:

— Я Брыкин из райплана.

— Очень приятно, — говорит.

— Что же, — говорю, — товарищ Чуркин, вы свою лошадь не кормите, не поите? Или она хворая у вас? В газете пишут, что плелась она, дескать, понуро.

— Врут они! — возмутился возница. — Не ходит моя понуро. Она огонь! Понятно?

Мне-то понятно, но что скажет наш уважаемый очеркист?

Вот еще ужасное искажение, на этот раз ботаники. Н. Иванов сочинил такую фразу: «Пал туман, кроны деревьев посерели». Это надо понимать так, что посерели и листья. А что это значит? Это значит, что они

лишились хлорофилла, который придает им зеленый цвет. Я решительно утверждаю: туман не может уничтожить хлорофилл в такой короткий срок! Этот факт следовало бы получше проверить редакции.

Выше я писал о какой-то неточности у одного классика. А вот еще и другой пример. Пишут, скажем, такую фразу: «Девушка зарделась, словно роза». Но роза бывает разная: красная, белая, желтая и прочая. Разве трудно вставить лишнее словечко, чтобы уточнить, какая именно роза?

Н. Иванов, явно подражая классикам, легкомысленно нацарапал: «Щеки у Наташи ярко зарделись». Это о Наташе Уваровой из третьей бригады. Стой, думаю, девушка она боевая, грамотная, чего она так покраснела? И что же? Пошел я в третью бригаду, повидал Наташу.

— Здравствуйте, Наташа, — говорю. — А я не знал, что вы гимназисточка.

Это я нарочно, чтобы заставить ее покраснеть. А Наташа, наоборот, взяла да побледнела. Побледнела, а не зарделась!

— Что вам надо? — спросила она обиженно.

— Больше ничего, — ответил я. — Хотел кое-что проверить.

Наташа недоуменно пожала плечами. И я тоже, уважаемая редакция.

Остальные ошибки Н. Иванова не менее грубые. Я о них поговорю у вас в редакции, как только приеду в город. Хочу лишь сделать пояснение насчет половинки. В очерке упорно повторяется слово «идти». Конечно, это не смертельный грех, но я за то, чтобы писать «итти». Поэтому я и ставлю только половинку ошибки.

Это хорошо, уважаемая редакция, когда к нам в район приезжают литераторы и пишут. А может быть, в самом районе есть люди, которые все знают, все понимают в районном масштабе, все точно измерят и подсчитают и все опишут честь честью? Не худо бы и на таких поглядеть и привлечь их к работе. Буду у вас на будущей неделе.

1954 С приветом И. Брыкин».

НЕПРЕДВИДЕННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

Нижеследующий материал прошу считать также моим официальным заявлением правлению Союза писателей (Москва, улица Воровского, 52). Потерпевший (который все это может заверить с чистой совестью) до сих пор приходит в себя в подмосковном санатории (Малеевка).

Итак, речь идет о писателе Сергее Сергеевиче Карачкине. Вы, вероятно, знаете его. Он когда-то написал... Впрочем, не столь важно, что и когда он написал. К настоящему делу имеет отношение именно то, что он только задумал, но — увы! — пока что не смог, как говорится, перенести на бумагу.

Вот как оно обстояло, это дело.

Беседуя с друзьями и приятелями в коридорах столичных издательств, Сергей Сергеевич пришел однажды к оригинальной мысли.

«А что случится, — спросил он себя, — если покинуть на недельку пределы издательств, обратить свои взоры к жизни и написать рассказ?»

Ему показалось, что эта затея может обернуться очень даже недурно, если учесть занимавшую его тему. А тема была чертовски проста и в то же время прелюбопытна.

Вот живет, скажем, некая Маша в некоем селе. Девушке двадцать лет. Ее любит Ваня. Ваня — бригадир. Ваня и Маша вот-вот поженятся. Но тут вмешивается Петя, то есть другой бригадир. Петя все чаще заглядывается на Машу. Маша не особенно возражает против заглядываний. Но главное не в этом. Самое главное в том, что не возражает и Ваня, ибо он человек передовой и ему, разумеется, не до ревности... Тут-то Сергей Сергеевич и раскроет всю светлую Ванину душу.

Финал? А вот вам и финал: дело завершается тем, что Ваня присутствует на свадьбе Маши и Пети. Да, да, присутствует и ведет себя смирно. Иными словами, торжествует разум. Таким образом, исконный конфликт, основанный на ревности, срывается. Нет в жизни места этому конфликту, потому что... Словом,

«как и почему» все это получается, будет объяснено в будущем рассказе Сергея Сергеевича Карачкина.

Итак, сюжет готов. Что же еще? Остается поехать в какую-нибудь деревню, подышать там воздухом, и выбрать подходящий тип современной деревенской девушки. Учтите, наш писатель давно не покидал своей квартиры, и небольшое путешествие никак не повредило бы ему. Его последний визит в деревню состоялся в 1925 году; именно тогда сочинил он свой знаменитый очерк «Предплужник». Согласитесь, что творческая командировка напрашивалась сама собой.

Маршрут, учитывая и летнюю пыльную пору, был выбран весьма удачно: Москва — Иваньково. А это значит: поездка по каналу имени Москвы, поездка на теплоходе, овеваемом московско-волжской прохладой. Недалеко от Иванькова было разыскано небольшое село, которое прежде пребывало на том самом месте, где нынче плещутся волны Волжского водохранилища.

Литератор обосновался в Иванькове, откуда совершал пешие прогулки в облюбованное им село.

Опытный глаз Сергея Сергеевича быстро уловил наиважнейшие детали нового сельского пейзажа. Незамедлительно был составлен подробный перечень сельскохозяйственного инвентаря (самоходный комбайн, трактор, сеялки, культиваторы и так далее, и так далее).

Прототип Маши был обнаружен без особого труда; это была Люба Михайлова, работающая на молочной ферме. В девятнадцать лет она выглядела очаровательно: черные косички, карие глаза, тонкая, высокая талия. Она жила у своей бабушки. В небольшой, но опрятной горнице Сергей Сергеевич впервые беседовал с героиней своего будущего рассказа.

Люба смутилась, увидев настоящего, живого писателя, к тому же не очень дряхлого. Люба смутилась еще больше, когда узнала, в чем, собственно, дело.

Девушка, к сожалению, торопилась на какое-то совещание. Поэтому Сергей Сергеевич попросил разрешения явиться на следующий день.

— Милости просим, — ответила Люба и, что называется, выпорхнула за дверь.

На следующий день Сергей Сергеевич беседовал с бабушкой. Беседовал он также и с внучкой. К своему огорчению, писатель не смог уловить какого-либо особенного, как ему хотелось бы, сермяжного оттенка в их речах. И бабушка и внучка разговаривали на обыкновенном русском языке, почти как горожане. Это смутило Карачкина и на время смешало его творческие планы. Сложная ситуация с языком потребовала еще одного дополнительного визита.

Когда, наконец, все оказалось выясненным и, как говорится, была поставлена точка над «и», Сергей Сергеевич закрыл за собой скрипучую калитку и очутился на деревенской улице.

«Все, — сказал он себе. — Материала по горло. Садись и пиши хоть роман!»

Писатель вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух и остановил свой взгляд на луне. Она была полная, светлая. Но созерцание это продолжалось всего одну секунду, после чего Сергей Сергеевич деловито зашагал в Иваньково.

Он был доволен своими беседами. Заметки, тщательно занесенные в записную книжку, ждали литературной обработки. Произведение обещало быть почти новаторским, ибо в нем будет присутствовать традиционный треугольник: ОН, ОНА, ОН, — но зато будет отсутствовать традиционный конфликт, вызванный ревностью. ОН, ОНА и ОН давно переросли этот проклятый пережиток, и все улаживается само собой, к неудовольствию некоторых литературных критиков. «Ну и черт с ними, с этими критиками!» — подумал Карачкин.

Сергей Сергеевич потирал руки в предвкушении творческой работы за письменным столом. Итак, за дело!

И только он сказал про себя: «Итак, за дело!» — как перед ним выросла чья-то солидная фигура.

В эту минуту наш герой находился недалеко от рощицы, которая молодо шумит по дороге в Иваньково. Сначала ему показалось, что незнакомец свалился откуда-то сверху. Он вздрогнул и попытался пройти мимо. Однако маневр этот не имел успеха.

— Постойте! — приказали Карачкину.

Сергей Сергеевич почувствовал, что его прочно схватила чья-то железная рука и отнюдь не для того, чтобы поздороваться.

— Что вам угодно? — проблеял оторопевший Сергей Сергеевич, душа которого ушла в пятки.

— Мне ничего не угодно, — послышалось в ответ. — А вот что угодно вам — неизвестно!

Слова эти были сказаны местным трактористом Иваном Гнездовым и ничего доброго не предвещали.

— Мне?

— Да, вам.

— Мне? Ничего! — в страхе проговорил Карачкин.

— А чего же вы шляетесь по чужим девушкам?

У Сергея Сергеевича вспотел затылок. Он попытался объяснить, кто он, зачем здесь и что намерен делать в недалеком будущем.

— Врите больше, — послышался спокойный голос. — Послушайте, если вы не забудете дорожку к Любе Михайловой, то вы надолго запомните Ивана Гнездова.

— А кто... этот Иван... Гнездов? — стуча зубами, спросил Сергей Сергеевич.

— Я! — решительно произнес незнакомец и в подтверждение своей решимости толкнул Сергея Сергеевича в грудь.

— Не имеете права! — крикнул Карачкин, ловя свою шляпу, слетевшую с головы.

— А я о правах и не спрашиваю, — сказал Гнездов. — Слово мое такое: оставьте девушку! А теперь бегом, марш!

И что вы думаете? Припустился-таки наш Сергей Сергеевич, побежал, как заяц. Долго он слышал за собой чьи-то тяжелые шаги, однако побоялся посмотреть назад через плечо. Вот это называется «бежать без оглядки»!..

Такова эта маленькая и, если угодно, прискорбная литературная история. Мне остается присовокупить, что Сергей Сергеевич набрался смелости (чтобы не сказать — наглости) и просит продлить ему срок лечения в Малеевке еще месяца на два (за счет Лит-

фонда, конечно). Случай, происшедший близ Иванькова, он склонен считать всего-навсего хулиганской выходкой, не больше! Поэтому основной замысел задуманного им произведения не будет изменен ни на йоту, и вещь из чернильницы преспокойно перекочует на бумагу, как только потерпевший оправится от нервного потрясения.

1954

У ИСТОКОВ СМЕХА

В отделе фельетонов городской газеты, скажем прямо, было не до смеха. Один за другим были «зарезаны» четыре фельетона. В них присутствовало нечто смешное, и это отпугивало редактора. А редактор, как всегда, утверждал: «Читатель хочет серьезного смеха. Ясно?» Ввиду того что фельетонистам смысл этой фразы был не совсем ясен, в отдел в качестве руководителя направили Сидора Мрачного, товарища, ведавшего редакционной почтой. И неспроста. Употребляя выражение О. Генри, можно было смело утверждать, что по сравнению с остроумием Сидора Мрачного мертвое море показалось бы гейзером.

Придя в отдел и поудобней усевшись в кресло, новый заведующий решительно отрезал:

— Мы должны стать серьезными. Чтобы без дураков...

И он бросил неодобрительный взгляд на двух молодых сотрудников — Добродухова и Остроухова. Эти люди по своей неопытности все еще полагали, что фельетоны должны быть немного смешными и по возможности остроумными. Они упорно зазывали в стены редакции авторов, не утерявших дара посмеяться над чем-нибудь уродливым. Это обстоятельство вынуждало руководство газеты держаться настороже и, наконец, принять более решительные меры.

Добродухов и Остроухов то ли, чтобы определить свое положение, то ли, чтобы посмеяться над начальством, с серьезным видом спросили Мрачного:

— Как вы считаете, Сидор Палыч, нужен нам смех или смех нам не нужен?

И хотя Мрачный довольно четко представлял свою задачу, тем не менее он прибегнул к некоему маневру.

— Смех нам нужен, — изрек он. — Но какой, спрашивается? Смех смеху рознь. Здоровый нужен смех — вот какой!

И тут же выяснилось, что здоровый смех должен обладать следующими непременными качествами: во-первых, он должен быть смехом не «вообще», а конкретным и серьезным, во-вторых, он должен помогать, двигать и вдохновлять. Короче говоря, в интерпретации Мрачного и речи не могло быть о смехе в обычном человеческом понимании.

После сего экскурса в область теории смеха Сидор Мрачный приступил к анатомированию фельетона, только что подготовленного отделом. Он положил его на стол. Сначала содрал с него шкуру и обнажил костяк, который оказался с большими изъянами, а именно: не сгибался, словно гуттаперчевый, в любую сторону, обладал неприятными острыми углами и не поддавался произвольному расчленению, сокращению и уничтожению.

Сидор Мрачный нахмурился и пошел дальше: вывалил из фельетона всю требуху.

— Видите, сколько перца в этом материале? — спросил он, злорадно улыбаясь. И, не теряя больше ни минуты, приказал: — Товарищ Остроухов, немедленно зачистите все острые углы. А вы, товарищ Добродухов, удалите весьма неприятное ощущение, вызванное присутствием перчика, и все эти тонкости... Что касается смеха — с этим дурацким делом разделаюсь сам лично!

Произнеся эти слова, Мрачный закурил папиросу и погрузился в кропотливую и, разумеется, неблагодарную работу. Оценят ли по достоинству его, Мрачного, труды? Выскажут ли ему признательность в какой-либо форме? Или, как все скромное, его анонимная работа над фельетоном будет предана забвению, а лавры достанутся только автору?

Дух тщеславия не был, по-видимому, чужд и этой суровой душе.

Итак, отдел работал.

Казалось, что-то тяжелое, стопудовое нависло над головами сотрудников. Не до смеха тут было! Остроухов и Добродухов трудились над своими экземплярами. Словно учуяв всю важность переживаемого момента, перестали звонить телефоны. Воцарилась та самая тишина, которую принято именовать гробовою.

Время от времени в коридоре раздавались голоса:

— В отделе тихо, должно быть ни души.

— Куда провалились эти фельетонисты?

Кто-то приоткрыл дверь и нескладно пропел:

— «Не слышно шума городского»...

Поющий умолк, как только увидел работников отдела, усиленно потевших над листками бумаги. Он не нашелся, что сказать, хлопнул дверью и легкомысленно крикнул кому-то:

— Они борются со смехом!

Мрачный не расслышал или сделал вид, что пропустил мимо ушей это в высшей степени бестактное выражение. «Приучили людей к глупостям», — думал он, имея в виду отдел фельетонов, где порою собирались веселые люди и пытались сочинять что-либо смешное.

Поздно вечером скрупулезная операция была закончена. После того как отдельные препарированные части фельетона были склеены, Мрачный удалился в машинописное бюро, бросив своим сотрудникам короткое:

— Ждите меня.

В отделе Мрачный появился спустя час.

— Уже читают, — сказал он таинственно, указывая пальцем на потолок. (Этажом выше помещался редактор.)

Остроухов и Добродухов пошли ужинать. Мрачный, несмотря на голод, уселся в кресло и стал терпеливо ждать начальственного звонка. Звонок, наконец, раздался, и Мрачный помчался наверх.

Когда явились Остроухов и Добродухов, они нашли на своих столах записки: «Ждите меня».

Наступила глубокая редакционная ночь. Где-то окончательно доделывался фельетон, первый фельетон под руководством Мрачного. Это был, по существу, экзамен: быть отделу фельетонов или не быть? Быть на газетной полосе твердокаменному фельетону или вовсе не быть фельетону? Как видите, вопрос был поставлен довольно-таки остро. Газета задерживалась только из-за фельетона. Добродухов и Остроухов уже клевали носом.

Наконец появился Сидор Мрачный. Он весь сиял. В руках у него был оттиск газетной страницы. Заведующий насмешливо оглядел своих сотрудников и сказал:

— С материалом все в порядке.

Остроухов и Добродухов потянулись к полосе. Они внимательно проглядели ее.

— Где же фельетон?! — воскликнул крайне изумленный Остроухов.

— Должно быть, забыли заверстать, — предположил Добродухов, с которого всю сонливость как рукою сняло.

Мрачный сделал небольшую паузу и пояснил:

— Получился очень острый материал. Понимаете? Читайте, вот он, под рубрикой «Нам пишут».

Это была коротенькая заметка, которая заканчивалась оригинальной фразой: «Райисполкому следовало бы обратить на этот вопрос внимание и устранить имеющиеся в этом деле недостатки».

Молодые журналисты тщательно протерли глаза, прочитали заметку и... покатились со смеху.

Мрачный недоумевающе глядел на хохочущих сотрудников. Он не мог понять, чем вызван смех у этих странных журналистов.

Остроухов с трудом сказал Сидору Мрачному, держась рукой за живот:

— Вот это самое и есть — и смех и грех...

Шутка прошла мимо сознания Сидора Мрачного. Однако ему было ясно, что между ним и этими непонятными людьми лежит целая пропасть. И в эту минуту он даже немножко пожалел их...

1955

СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПОРОГ

Не спится Егору Антоновичу. Вот не спится — и все!

Ворочается с боку на бок, глаза закрывает покрепче, а сон убегает. Что тут поделаешь? И все потому, наверно, что человек не глазами спит, а головой. Если в голове мысли или заботы какие-нибудь — не уснешь, хоть убейся.

Мыслей у Егора Антоновича каких-нибудь особенных нет. Да какие мысли, если дача построена, большие хлопоты позади и над головою нынче добротная крыша, с боков — добротные стены и лежишь на хорошей деревянной кровати. Вот месяца три-четыре тому назад, когда дачу строили, были мысли. И даже очень много. И тому деньги дай, и этому дай, за кирпичами проследи, за известью присматривай, цемент вовремя припаси, о кровельном железе подумай. Словом, была горячка! Зато во какой поднял дом и всего за два месяца! Два отпускных месяца, считай, пропали (один из них за прошлый год), да недаром пропали: своя теперь крыша, свои стены, свой двор, свои птицы и грядки на огороде свои.

На все это, что нынче радует взор Егора Антоновича, сил положено немало. Особенно, когда тещу пришлось уговаривать отдать накопленные денежки. Собственно говоря, эти денежки не очень-то нужны были — своих достало, — но для разговоров со знакомыми очень даже были необходимы: дескать, и тещины деньги пришлось в оборот пустить! А иначе, пожалуй, и не объяснишь, как это руководитель деревообделочной артели с окладом в семьсот рублей в месяц домину в два этажа отгрохал. Короче говоря, даже теща с ее капитальцем в пять тысяч рублей тоже пригодилась.

Стоял Егор Антонович во дворе денно и нощно в течение двух месяцев и командовал: кирпич туда, цемент сюда, землю — куда-нибудь подальше! Машины носились взад и вперед, как на большой стройке.

Бухгалтерия была своя, простая: сговорились, значит, с плотником или шофером, ударили по рукам —

и деньги на бочку. Дачу за два месяца поднять — не фунт изюму.

И вот, как говорится, мечта сбылась: свой дом на берегу речушки, за домом — сосновый лес, и своя морковь на грядках растет. И чего это, скажите на милость, не спится Егору Антоновичу?

Вот он все ворочается — красный весь, жирный, пятидесятилетний, сопит, словно дырявые мехи кузнечные вместо легких (это от ожирения сердца), а уснуть никак не может.

Видите ли, есть на это своя причина — хоть и не велика забота, а все-таки, как ни говорите, забота.

Дело в том, что перед дачей проходит дорога, не своя, а общая. У обочин, как полагается, вырыта канава. Стало быть, нужен был мостик через канаву, — без него не обойдешься, в ворота не въедешь (а ворота железные, на тяжелые бетонные столбы повешены). Пришлось, значит, и мостик соорудить под стать воротам: тоже бетонный, на века рассчитанный — тысячи лет без всякого ремонта простоит.

Да вот незадача: два дня подряд на том мостике чья-то машина разворачивается. Въедет задом на мостик, а потом поворачивается направо или налево — куда захочется шоферу. Это делается так просто, точно мостик поселковый Совет построил, а не Егор Антонович на свои собственные деньги. Вот и выходит, что на твоем собственном пороге, именно собственном, чья-то машина разворачивается. А на каком таком основании?

Вот об этом-то и размышляет Егор Антонович: на каком основании? Он, работник промкооперации, скопил деньги и выстроил дачу, а также и вышеназванный мостик. Это ясно. А почему кто-то тем мостиком пользуется? Мостик-то свой собственный, к даче непосредственно относится, а то, что он на улице, так на это он и есть мостик, но мостик собственный, не чей-нибудь.

Особенно неприятно было вчера. Сидел на террасе вечерком Егор Антонович и попивал чаек с вареньем. День был чистый, теплый. От речки подымался невидимый парок, из лесу веяло сосновым ароматом.

Но все это вдруг испортилось.

Справа на дороге показалась машина. Она шла подозрительно тихо и вдруг остановилась против дачи. Из машины показалась чья-то вихрастая голова, и тут же машина начала пятиться задом. Вот она въехала на мостик (правда, одним задним колесом). Буфер оказался по эту сторону канавы. Егор Антонович так и замер: вдруг зацепит ворота? Но до ворот добрых два метра оставалось. Два метра, но все же... Правда, ворота прочные, но это неважно. Важен принцип: мостик-то Егора Антоновича. Да, может быть, эта машина каждый день на этом месте разворачиваться будет!..

Егор Антонович ложится на спину, и под ним трещит кровать...

В том-то и вся штука, что важен принцип. Мой порог — значит не становись на него своей машиной, даже одним задним колесом.

Что же делать? Как отвадить от этого места ту машину? Не сооружать же шлагбаум, как на железнодорожных переездах! Засмеют еще.

Запретить словесно? Но мало ли кому придет в голову развернуть здесь свою машину — не стоять же день-деньской у ворот, забросив дела в артели. Так что же делать?

Всю ночь нейдет из головы это проклятое «что делать?». И только под утро осенила Егора Антоновича счастливая идея. Удивительно, как это она не пришла раньше!

И вот чем свет встает Егор Антонович и тут же берется за топор. Жена и старая теща удивленно глядят на него. Но хозяин ничего не объясняет — дескать, увидят сами, не слепые.

Егор Антонович тащит из сарая два больших полена и начинает их тесать. Он работает целый час, основательно потеет. Наконец готово: это два больших кола по полтора метра длиною.

Он уносит колы за ворота и внимательно присматривается к мостику. Так где же тут разворачивается машина? Ага, вот она, колея! Ее ясно видно.

Егор Антонович вбивает в землю сначала один

кол, затем другой. Потом пробует руками, прочно ли держатся колы в земле. Дернул раз — все в порядке, дернул другой раз — великолепно! Теперь машине не развернуться на этом мосточке, задний буфер непременно упрется в колы, вставшие грозными часовыми на страже личного порога Егора Антоновича.

Егор Антонович отправляется к себе домой, умывается и садится пить чай. А сам все время посматривает на мостик — как там ведут себя два чисто обструганных, толстых кола?

Егор Антонович очень доволен: можно спокойно спать, машине теперь не развернуться. Это совершенно невозможно! Это исключено! Но теща, разумеется, ничего не понимает. Едва ли и жена достойно оценит поступок мужа. Скорее всего ей будет неловко перед соседями.

— А что бы с ним сталось? — говорит неразумная теща, имея в виду бетонный мостик.

Егор Антонович шумно дует на блюдце, до краев наполненное крепким чаем. Он косится на тещу, решая, стоит ли вообще обсуждать с нею этот вопрос.

— Это непорядок, — солидно говорит хозяин, — чтобы чужие машины на мой собственный мостик наезжали.

— Да машин-то в поселке раз, два — и обчелся.

— Все равно непорядок.

Теща умолкает. Жена сидит тут же, но не вмешивается в разговор: раз муж сказал — его и колом не перешибешь, на своем стоять будет.

— Свое на пороге начинается, — философски замечает Егор Антонович, — пустишь на порог — на себя пеняй, в дом влезут. Так-то...

И гордый содеянным, он продолжает чаепитие: свой собственный порог надежно защищен двумя колами...

Дня через два после этого пришлось одной машине разворачиваться возле дачи Егора Антоновича. Увидев грозные колы, шофер беззлобно сплюнул в сторону ворот и громко проговорил:

— Откуда такие типчики берутся?

И развернулся метрах в пятидесяти от мостика, возле чужой дачи.

Егор Антонович слышал эти слова, но сделал вид, что глух и нем.

1957

КОРИНФСКИЙ ОРДЕР

— Товарищ техник, опять этот старик...

— Какой старик?

— Вон он, на арбе. С бородой. Мимо не пройдет, не проедет. Обязательно заговорит.

— Что ему надо?

— Спрашивает, как и что...

— Любопытствует?

— Наверно. Третий раз толкуем, что клуб строим. Колонны, дескать, штукатурим. Объясняем, что штукатурка плохо держится, что доски сырые.

— Из правления артели, что ли?

— Нет. Просто так. По соседству живет. Начальника, говорит, видеть хочу.

— Назойливые эти старики...

Техник и двое рабочих стоят на лесах у самого карниза почти законченного каменного клуба. Техник молод, живет в городе и не часто бывает здесь. Рабочие сами читают чертежи, что не так — подправят. Это же вообще несложно — выстроить клуб в небольшом горном селе. Но вот с колоннами — дело другое. Не клеится оно. Поэтому и пришлось технику из районного центра добираться сюда по крутым дорогам.

Он спокойно покуривает, выслушивая объяснения штукатуров.

— Э-гей! Э-гей! — доносится от ворот.

— Товарищ техник, — говорит один из штукатуров, — это он вас...

— В чем дело? — кричит техник.

Старик спрашивает:

— Начальник приехал, что ли?

— Приехал. Это я.

Старик легко спрыгивает с арбы, торопливо шагает по двору. Вот он уже совсем близко, под лесами. Задрав кверху голову, говорит:

— Ты — начальник?

— Да, я техник.

— На два слова можно тебя?

— Я занят, — говорит техник.

— Так я же насчет твоей работы. Ей-богу!

Рабочие советуют технику:

— Идите поговорите с ним. Все равно не отлепится.

Техник нехотя спускается вниз по шатким лесам. Кислое выражение его лица может обидеть хоть кого, но старик, кажется, не замечает этого.

— Меня зовут Айба, — говорит старик. — Здесь и живем. У самых звезд.

Он виновато улыбается. От плотных розовых щек во все стороны расходятся веселые морщины. Это высокий, крепкого телосложения крестьянин, каких немало в абхазских горах.

— Ну, я техник, — говорит молодой человек, а про себя думает: «Ему песок нужен со стройки или, скорее, известь».

Старик радостно потирает руки.

— Вот тебя-то мне и нужно. Я все хотел узнать, чего они так долго возятся. Почти месяц сидят, как куры на насесте.

И пальцем указывает на штукатуров.

— Как что? Колонны делают. Учтите: капители не так-то легко вылепить. И колонны, стало быть, тоже не из простых.

— Столбы, что ли? — спрашивает старик.

— Да. Колонны называются.

— А почему так много возни?

— А как же! Попробуйте вылепить коринфский ордер, если известь неважная и цемента мало. Алебастра тоже не хватает. Проще на луну доставить стройматериалы, чем к вам.

Старик почесывает затылок.

— И в этом вся загвоздка?
— Да.
— В этих столбах?
— Это не столбы.
— Ну, вроде столбов.

Техник возражает:

— В том-то и дело, что вроде. Это же не просто столбы. И не просто капители. Коринфский ордер называется. Ясно?

Старик, видно, дотошный — не отстает.

— Нет, — говорит он твердо, — не ясно.

Техник отводит его на некоторое расстояние от незавершенного фасада.

— Четыре колонны. Видите? — спрашивает техник.

Старик утвердительно кивает.

— Капитель видите? Ну, вроде шапки над столбом?

Старик снова кивает.

— Плотники сбили из досок стержни колонн, — поясняет техник. — Штукатуры обили доски дранью. А потом заштукатурили. Пошел дождь. Известь оказалась неважной. Все пришлось начинать сначала. Ясно?

— Это ясно. И даже очень.

— Дальше. Очень трудно без хорошего алебастра капители делать. Архитрав кое-как закончили. А с капителями канитель. Ясно? Классика не так-то просто дается.

Старик светлеет лицом.

— А я, по моему разумению, сделал бы решетку из каштана. Такую красивую. На наш вкус, куда приятней. И гораздо прочней. Каштан не известь. Вот что я хотел сказать. Давно хотел! Но не мог тебя встретить.

— Видите ли, дедушка, — говорит техник, — нельзя каштан! По проекту — капители... Классика все-таки, а не хурма...

— Что это значит?
— Классика? Это красота.

— А ежели не держится красота? От дождя линяет?

— Наладим красоту, — солидно заявляет техник.

Старик щурит глаза: и так и этак присматривается к стройке.

— Красота, говоришь?

— Ну да. Древние греки придумали.

— Что придумали?

— Коринфский ордер. Две тысячи лет назад. В Греции до сих пор держатся те колонны.

— И не погнили?

— Что вы! Они же из мрамора.

— Ты смотри, — шепчет пораженный старик. — Из мрамора.

— Словом, — продолжает техник, — скоро получите свой клуб.

И он делает шаг вперед, давая понять, что беседа, в сущности, закончена.

— Подожди, сынок, — говорит старик. — А почему бы и тебе не сделать столбы из мрамора?

Техник смеется.

— Это же дорого, — объясняет он. — Денежек у вашей артели слабовато... Ясно? Тети-мети не хватает...

— Тогда бы из каштана! — упорствует старик. — Такую решетку. Красивую.

— Нельзя.

— А из сырого дерева и плохой штукатурки можно столбы делать?

Вопрос поставлен в упор, и на него приходится отвечать.

— Не очень-то хорошо и облезет скоро, но надо. Так по проекту. Ясно?

Старик в раздумье. Он потирает одну о другую смуглые, потрескавшиеся от грубой работы руки.

— Еще минуточку, — говорит старик. — Как это ты назвал?

— Коринфский ордер.

— Гм... Две тысячи, стало быть?

— Еще больше, дедушка.

— Да, многовато. А решетку из каштана, стало

быть, никак нельзя? Дерева у нас много. Совсем под боком. И дешевле, значит. А у тех греков, наверно, такого не было. У них своя красота, а у нас в горах своя. Я так понимаю...

Техник, позабыв о приличии, направляется к лесам и быстро взбирается наверх.

— Какой-то чудак, — говорит он штукатурам. — Классика для него что жизнь на Марсе. Закрытая книга! Ну, давайте мозговать, что дальше-то делать с этим проклятым ордером?..

Старик стоит под солнцем и с удивлением глядит на трех взрослых людей, занимающихся, с его точки зрения, непонятным делом.

Он медленно возвращается к своим буйволам, стегая хворостиной высокую траву. Взобравшись на арбу, громко обращается к технику:

— Начальник, как шапку-то назвал?

Техник из уважения к старческому возрасту терпеливо повторяет несколько раз.

— Ко-рин-фский! Ко-рин-фский!.. Ор-дер! Ордер...

Старик усмехается.

— Ну и ну, — говорит он, качая головой. — Ну, и ну...

1957

ИЗ РАССКАЗОВ ОБ АЛБАНИИ



СЕМЕЙСТВО АГРОНА КОНОМИ

Агрону Кономи льют воду на лицо, и он с трудом приходит в себя. В ушах стоит звон. Левый глаз заплыл, виски нестерпимо болят.

Кто-то наклоняется и заглядывает в глаза, будто черная тень заслоняет небо. «Живой!» — слышится Агрону, и он улавливает чужую, грубую речь.

— Старик, поговори с этими сумасшедшими женщинами!

Агрон горестно вздыхает. Так и есть: перед ним турки! Теперь ясно все: битва проиграна. Вот и дым стелется по земле — горит село...

Сознание окончательно возвращается к Агрону Кономи.

— Эй, старик! — расталкивает его усатый турок. — Поднимайся, да поживее! С тобой будет говорить сам Гассан-паша.

Агрон будто прижат к земле. Он бледен и изможден, словно сухой дубовый лист. Ему стоит огромных усилий приподняться на локтях.

А кто это рядом? Василий, старший сын. Василий Кономи. Голова у него вся в крови. Василий такой же желтый, как и земля, к которой он в последний раз прильнул небритой щекой.

А вон и Фатбард. Кажется, что он спит. Зубы у него стиснуты, холодные кулаки сжаты.

Где же Дмитер? Где юный Дмитер?

Агрон шарит вокруг беспокойным взглядом. Вот и младший, Дмитер; он раскинул крепкие руки и похож на орла, который вот-вот поднимется в воздух.

Агрон продолжает отыскивать взглядом своих питомцев.

— Все со мною, — говорит, наконец, Агрон, пересчитывая мертвых.

Верно, погибли все мужчины из семьи Кономи, сражаясь против врага. И лежат они безмолвные, но гордые — именно гордые, так кажется старику.

Гассан-паша молод, он весь обвешан оружием. Кривая сабля блестит позолотой. На голове у Гассан-паши ярко-красная феска, а шелковый кушак его, должно быть, не менее двенадцати локтей в длину. Гассан-паша надменен, ибо он победитель, а Кономи в его глазах — ничто, побежденный, жалкий землепашец.

Гассан-паша говорит:

— Как зовут тебя, старик?

— Меня? Да разве ты всех упомнишь? Зови просто албанцем, — отвечает Агрон.

Гассан-паша улыбается, неторопливо покручивает длинные, каштанового цвета усы.

— Сколько тебе лет, старик?

— Семьдесят.

— В эти годы, старик, люди должны получше заботиться о семье... Вот взгляни на этих слабоумных и подай им достойный совет.

На краю глубокой пропасти сгрудились женщины. Их тридцать шесть — почти вся женская половина семьи Агрона Кономи. Женщины молчат, перепуганные дети жмутся к ним.

По щекам старика сползают две слезы.

— Джуле... хозяюшка... — зовет Кономи свою супругу.

Старуха стоит среди женщин, словно пчелиная матка, окруженная пчелами.

— Я слушаю тебя, — говорит старуха. Лицо у нее неживое, голос незнакомый.

— Где наши мальчики, Джуле? — спрашивает старик.

Он хочет, чтобы турки знали: все случилось так, как должно было случиться, и ни один мужчина из семьи Кономи не сдался врагу живым.

— Возле тебя наши мальчики.

— Все?

— Все!

— А внуки?

— Рядом с ними.

— Слава богу! — шепчет Кономи. — Слава богу.

Он обводит мутным взглядом дорогие лица дочерей, невесток, внучат. Холодный пот проступает на его лбу.

— А где же Мария? Где Нина? — говорит старик, откашлявшись. — Я не вижу их.

Старуха дает понять кивком головы — они в пропасти.

— Как! И Мария и Нина?

— Обе! — отвечает старая Джуле.

У старика кружится голова, и он падает наземь. Его грубо тормошат турки:

— Старик, с тобой разговаривает сам Гассан-паша! Перед ним полагается стоять.

И Кономи встает. Агрона пошатывает, словно былинку ветром.

— Старик! — говорит Гассан-паша, и усы у него грозно шевелятся, а глаза делаются узкими и злыми. — Эти женщины потеряли рассудок... Слышишь? Они стоят на краю пропасти и при нашем приближении прыгают со скалы. Ты можешь сохранить им жизнь — это в твоей власти.

— Стало быть, они не повинуются великому Гассан-паше?

Кономи резко поворачивается к женщинам. Самой старшей из них шестьдесят пять. Самой маленькой, внучке, пять лет. Агрон отыскивает девочку в толпе, и еще две слезы скатываются по его щекам. И снова взгляд задерживается на старой Джуле.

Джуле прошла с ним длинный, полувековой путь. Все бывало на этом пути: голод и холод, несчастья и радости. А теперь всему — и радостям и горю — приходит конец.

Агрону Кономи хочется утешить каждую из тех, кто стоит на краю жизни. Но где взять слова утешения? Вот Лири — мастерица утешать. Где же любимая Лири? Это в честь побед полководца Скандербега назвали внучку Лири, что значит «свобода». Где же Лири? А жених ее, должно быть, уже отдал душу богу. Село горит, и он, наверно, погиб, как настоящий албанец...

Вот она, Лири, стоит рядом с бабушкой. Внучка обнимает старую Джуле за плечи. Лири всего восемнадцать лет. Гассан-паша тоже глядит на Лири. Взгляд его похотлив, ноздри раздуваются широко, точно им недостает воздуха.

Кономи скрежещет зубами и незаметно проводит рукой по своему широкому кушаку в надежде нащупать пистолет или нож. Но пистолета нет и в помине, нет и ножа.

Старик обращается к женщинам:

— Хочу сказать несколько слов... Село наше погибло. Ни один мужчина не опозорил себя пленом. И перед вами не я, а моя тень. Бог пересчитал все наши души, все до единой! И он не допустит, чтобы там, на небе, не оказалось и моей. Ну, а вам можно и пожить. Да, отчего же, вполне можно...

В семье Кономи не полагалось прерывать старшего. Этот обычай соблюдается и сейчас над бездонной пропастью. Кономи проводит тыльной стороной руки по лбу и продолжает:

— Гассан-паша пришел издалека, из самого Стамбула. Ему нужны рабыни, очень много рабынь. А село наше сгорело, мужчины наши погибли... Вам надо жить...

— Замолчи! — кричит старая Джуле, и еще теснее сжимается круг дочерей, невесток, внучек.

Гассан-паша хмурится.

— Старик прав, — говорит он. — Не перебивай его, старуха!

— Вам надо жить, — повторяет Кономи. — Верно говорю?

В ответ зловещее молчание.

— Вот ты, Лири, отвечай мне.

И Лири отвечает: медленно разжимает она руки, обхватывающие бабушкины плечи, — миг! — и летит в пропасть, летит, словно там, внизу, пуховая постель.

Кономи пожимает плечами:

— А ты, старая, мудрая Джуле? Что скажешь ты?

Старая Джуле спокойно делает шаг назад и еще один шаг. И Джуле летит в пропасть вслед за своей Лири.

Гассан-паша разгневан.

— Они сошли с ума! — рычит он, и вся окрестность оглашается его бессильной бранью.

А старый Кономи улыбается — правда, через силу, но улыбается. Нет, неплохая у него семья!

Гассан-паша теряет терпение. Он приказывает своим воинам:

— Удержите этих безумиц!

Турки делают движение, только один шаг — и в ту же секунду женщины из семьи Агрона Кономи, будто стая птиц, оказываются в воздухе и летят в пропасть. Только легкая белая шаль остается на земле — шаль любимицы Лири.

Старик, пошатываясь, идет к этому куску белой материи, поднимает с земли и целует. И он уже не видит ни Гассан-паши, ни остолбеневших турок с кривыми саблями, ни дыма пожарищ, ни синего неба, ни горного края сухих камней — милого Курвелеша...

Это случилось в теплый апрельский день 1467 года.

1952

РЯДОВОЙ НАЕ ТРЕБЕШИНА

На́е Требеши́на вышел из казармы, пригладил пальцами короткие черные усики и по привычке глянул на море. Куда же глядеть солдату морской пехоты, как не на море! И Нае не поверил своим глазам.

Он протер их кулаками: может быть, это зрение обманывает его?

«Нет, ошибки тут никакой!» — подумал матрос.

Он постоял неподвижно, внимательно прислушался: все тихо, спокойно. Совсем недалеко Дуррес. До него рукой подать. Но и в городе, как видно, спокойно в это утро 7 апреля 1939 года. Спокойно и в весеннем воздухе. Спокойно и в сосновой роще. Спокойно и на море: Адриатика бесшумно катит светло-зеленые волны.

— Прэнк! Прэнк! — кличет Нае своего друга. — Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

Прэнк — коренастый моряк с грудью тяжелоатлета. Он показывается в дверях дежурки. И лицо его, широкое и скуластое, вдруг вытягивается от удивления.

— Клянусь будущей тещей, — говорит Прэнк, — это эскадра! С визитом, что ли?

— Корабли итальянские, — говорит Нае, — а в порту никаких флагов. Что же это такое?

Прэнк перечисляет корабли:

— Линейный корабль... Эскадренный миноносец... Подводные лодки. Транспорты... Торпедные катера...

Нае в сердцах сплевывает:

— Что же это такое, Прэнк?

Не дожидаясь ответа, Нае срывается с места и мчится в дежурку. Он звонит командующему гарнизоном. К аппарату долго не подходят.

— Алло! — слышится, наконец, в трубке. — Кто это?

— Господин полковник?

— Спрашиваю я: кто говорит со мной?

— Рядовой Требешина из морской пехоты.

— Что вам угодно? Собственно говоря, почему звоните вы, а не дежурный офицер?

— Извините, господин полковник...

Нае вешает трубку и бросается на поиски дежурного, но щеголя лейтенанта нет в казарме.

— Ребята! — раздается голос Нае. — Дежурного к телефону!

Однако дежурного не удается отыскать.

Тем временем корабли выстраиваются на рейде, а тяжелый транспорт входит в порт. Над Дурресом низко пролетают двухмоторные бомбардировщики. Нае снова звонит по телефону:

— Извините, господин полковник. Дежурный отсутствует. Разрешите доложить?

— Ну, в чем дело? Поскорее! — Голос у полковника сиплый, тон недовольный.

— На рейде эскадра. Военный транспорт уже вошел в порт... Корабли иностранные, господин полковник...

— Что значит «иностранные»?

— Итальянские, господин полковник.

— Так что же?

— Орудия направлены на берег, господин полковник...

— Какие орудия?

Нае багровеет от нарастающего возмущения.

— Орудия корабельные, господин полковник, — отвечает Нае, сдерживая гнев.

— Так что же?

— Имею честь доложить: так не положено иностранным...

— Дурак! — доносится по проводам издалека. — Погоди, сейчас с тобой поговорят.

В трубке что-то потрескивает, а потом слышится высокий голос:

— Алло, у телефона майор Луиджи Донини, королевский советник по военно-морским делам.

Нае Требешина плотнее прижимает к уху телефонную трубку. В дежурку набиваются моряки.

— В порту высаживаются войска! — доносится со двора.

— Господин советник! — кричит в телефон Нае что есть мочи. — В порту высаживаются войска! Слышите? Какие будут распоряжения?

Советник кашляет, мычит что-то невнятное, а потом говорит:

— Синьор, первым делом не волнуйтесь. Успокойтесь, мы все выясним. Оставаться на местах, ничего

без нашего ведома не предпринимать! В Тиране все известно... Вам понятно?

— Так точно! — машинально отвечает Нае.

— Синьор, ничего не предпринимать! Это королевский приказ. Вам понятно?

Нае кладет трубку:

— Понятно, черт побери! Все понятно!

Кто-то в дверях говорит:

— А вот нам непонятно! Где господа офицеры? Где командующий гарнизоном?

Нае вытирает рукавом потное лицо.

— Непонятно? — спрашивает он. — Ты знаешь, что значит оккупация? Если не знаешь, сходи в порт!

Тотчас раздаются возгласы:

— Измена!

— Офицеры улизнули!

Нае цедит сквозь зубы:

— Да, измена... Да, оккупация...

На минуту воцаряется тишина. И в этой тишине звучит голос Прэнка:

— Неужели мы сдадим оружие солдатам Муссолини? Неужели?

Нае выпрямляет грудь, широко расставляет ноги, точно собирается принять на себя всю грозящую опасность.

— Никогда! — говорит он. — Никогда!

И, глядя на лица своих друзей, он произносит тихо, но твердо:

— Объявляю боевую тревогу. Вопреки им! — И он указывает пальцем куда-то в угол.

Но все понимают, это он о короле и офицерах. Нае еще раз повторяет:

— Объявляю боевую тревогу!

И моряки, словно заранее сговорившись, отвечают коротко:

— Есть боевая тревога!

И через несколько минут перед казармой выстраиваются пятьдесят моряков, вооруженных карабинами.

Нае снова звонит в город, однако станция не отвечает.

— Предательство! — восклицает он и приказывает: — Просигналить катерам: огонь по неприятелю! Живо, Прэнк!

Нае вызывает к себе орудийную прислугу. Ему сообщают, что на пушку оставлено всего два десятка снарядов.

— А где остальные снаряды?

— Вывезли вчера по приказу командующего гарнизоном.

— Проклятье!

Нае Требешина наспех производит смотр своим друзьям, выстроившимся перед казармой.

— Голову придется продавать как можно дороже, — говорит Нае жестко. — Кто жалеет свою голову, может выйти из строя.

Моряки остаются на местах.

— Умирать так умирать! За Албанию! — И Требешина поднимает над головой туго сжатый кулак. Его примеру следуют все остальные.

И через несколько минут из сосновой рощи, что южнее порта, раздается первый пушечный выстрел. На транспорте, высаживающем пехоту, происходит замешательство. Оно еще больше усиливается, когда второй снаряд ложится прямо на палубу.

А в ответ корабли бьют прямо по роще. Тяжелые снаряды вырывают деревья с корнями, поднимают к небу столбы песка и камня.

Нае приказывает двигаться вперед, к порту: ружейный залп — и перебежка, еще залп — опять перебежка...

Требешину поддержали все моряки Дурреса. Их пулеметы уже строчат по итальянскому транспорту, их пушки стреляют прямой наводкой с трех сторон.

Итальянские корабли обрушивают на берег тонны смертоносной стали. Вскоре прилетают бомбардировщики и сбрасывают свой груз. Кажется, само полуденное, пылающее жаром небо опускается на землю, грозя испепелить все живое.

Моряки продолжают наступать. Пушка отряда Требешины время от времени бьет по транспорту, не причиняя ему, однако, особого вреда.

— Прекратить! — приказывает Нае. — Занять позицию вон за тем холмом. Бить только по пехоте! Беречь снаряды.

Итальянские корабли, развернувшись полукругом, посылают на берег новую сотню снарядов. Они стоят на рейде в полной безопасности и могут стрелять безнаказанно, как на маневрах.

Спустя час из-за моря прилетают еще два десятка бомбардировщиков, а потом еще два десятка и еще два десятка... Дуррес содрогается от взрывов.

Город, преданный королем Зогу, оставленный офицерами, продолжает обороняться... Тщательно разработанный план захвата Албании срывается из-за этой досадной задержки в Дурресе. И только тогда, когда не остается в строю ни одного моряка, когда и рядовой Нае Требешина падает ничком на сухую землю, генерал Гудзони, командующий итальянской армией вторжения, сообщает по радио в Рим Бенито Муссолини:

«Мой дорогой дуче! Наши доблестные войска, авиация и флот подавили упорное сопротивление в Дурресе. Адриатическая дверь на Балканы широко распахнулась перед вами».

1952

МСТИТЕЛЬ

Солнце почти над головой. От жары земля потрескалась, стала сыпучей, точно песок. Слева — голая гора и справа — голая гора. Вернее, это огромные каменные глыбы. А камень на августовском солнце известно что — жаровня на огне.

Агим Петрела облизнул сухие губы. Он прильнул небритой щекой к прикладу, прищурил левый глаз. Над треугольной мушкой — голова Барвюля Леши.

Вот Барвюль задумался, постоял словно в нерешительности. Вдруг голова исчезает: это Барвюль нагибается к зеленому ящику и достает оттуда какую-то трубку.

«Постой же, черт!» — шепчет Агим.

Он удобнее пристраивается у камня. Смуглое лицо напряжено, губы сжаты. И Агим словно становится старше: ему можно дать все сорок лет.

А Барвюль много моложе Агима. Барвюлю лет двадцать пять, не больше. Четыре года тому назад он уехал учиться. И вот Барвюль тут, в пятидесяти шагах. Теперь-то ему не уйти!

И снова над мушкой появляется худое потное лицо Барвюля. Должно быть, туго ему приходится на солнцепеке... Но чем же занят Барвюль?

Агим опускает ружье и присматривается к недругу.

Барвюль тем временем приладил трубку к треножнику и внимательно смотрит в нее. Куда же он смотрит? Туда, где дом Агима. Кого же он хочет увидеть в эту трубку?

Агим глотает слюну, снова прицеливается. Кадык у Агима острый, некрасивый... Некстати прилетела оса и жужжит у самого носа. Агим отмахивается от нее...

Что же все-таки делает Барвюль? Может быть, Барвюль подстерегает своих врагов из рода Петрела — братьев Агима, или дядю, или самого Агима? Эти проклятые Леши давным-давно убили отца Агима. Правда, они-таки здорово поплатились. И еще поплатятся! Скоро Барвюль Леши почувствует, что такое настоящее хакма́рие — месть!

Истоки кровавой вражды теряются в глубине десятилетий. Род Петрела и род Леши — непримиримые враги. И этого вполне достаточно... Верно, нынче Албания не та, что была прежде, — придется строго отвечать перед законом. «Но закон законом, а месть местью», — думает Агим.

Агим хорошо помнит, как убили отца, картина эта перед глазами, словно живая... Шли они рядом, отец и Агим. Головорез из рода Леши подстерег их в засаде и поразил старого Петрела в самое сердце. Но недолго ликовал убийца: однажды, наклонившись над горным ключом, чтобы отведать студеной влаги, он тут же свалился бездыханный. Нет, пули рода Петрела не летали мимо цели!

Барвюль почему-то наводит трубку на тот самый камень, за которым скрывается Агим. И Агим поспешно ложится на землю. Она сухая, эта земля, как порох, даже не пахнет и вовсе потеряла цвет: пепельно-серая, без единой травинки.

Вот Барвюль неожиданно поворачивается спиной. Агим про себя отмечает: «У него нет револьвера». И снова целится прямо меж лопаток. А Леши все вертится у треножника с трубкой...

Агима гложет любопытство. Очень хочется знать, что собирается делать этот Леши. «Живешь, — размышляет Агим, — в горах и света божьего не видишь. В Тирану бы съездить да на мир поглядеть! Там, говорят, недалеко и Дуррес, а в Дурресе — целое море воды. Приятно хотя бы пальцами море пощупать!»

Агим озирается. Вокруг ни души — значит, дело обойдется без свидетелей.

А Барвюль, прильнув глазом к трубке, стоит, не двигается. Ах, вот оно что! Недалеко в землю воткнута полосатая палка. На нее-то и глядит теперь Барвюль. Как же до сих пор не приметил эту палку Агим? И что это за палка?

Жаль, что Агиму никогда не приходилось держать в руках книгу; тогда бы он, может, и понял, что это за трубка у проклятого Леши. Впрочем, осенью Агим непременно поступит на курсы и выучится грамоте. Это теперь нетрудно. Но, черт возьми, при чем сейчас грамота! Надо стрелять — и дело с концом!

А Леши что-то записывает в тетрадь. Хорошо бы узнать, что ему тут надо.

И Агим решается: он оставляет ружье за камнем, а сам как ни в чем не бывало подходит к Барвюлю.

Барвюль не сразу узнает Агима. Наконец он произносит непринужденно:

— А, это ты, Агим? Привет тебе!

— Здравствуй, — отвечает Агим.

— Вот и до нас дошла очередь, — говорит Барвюль.

Эти слова Агим понимает по-своему.

Барвюль вытирает пот со лба и делает пометку в своей тетради.

— Вижу, что дошла очередь. — Голос Агима глухой, недружелюбный, будто из-под земли идет.

Барвюль словно не замечает этого недружелюбия.

— Послушай, Агим, — говорит, — не окажешь ли небольшую услугу?

— Какую?

— Мои помощники что-то запаздывают...

— Так что же? — Агим глотает слюну.

— Не подержишь ли рейку? Вон на том месте, где стоит вешка...

— А зачем?

— Видишь ли, Агим, мы здесь проводим канал. Он пройдет недалеко от твоего участка. Вот я и говорю: дошла очередь и до нашего села. Воды у тебя будет вдоволь, хоть купайся в ней!

— Воды?

— Да, воды.

— Воды? — еще раз переспрашивает Агим.

— Канал будет полноводный, — продолжает Барвюль. — Его-то я и намечаю на местности.

— А ты по какой части? Где учился?

— Инженер я, Агим, инженер по каналам. А учился в Москве.

Агим подходит совсем близко к своему «кровнику».

— Вода?.. А ты не шутишь? — говорит он, хрипя, должно быть, от жажды.

Барвюль и Агим стоят лицом к лицу. Нет, Барвюль не шутит. Эти Леши никогда не шутят!

Агим молчит, посапывает, исподлобья поглядывает на Барвюля. А потом, не говоря ни слова, берет складную рейку с делениями и становится против трубы. Ради воды он готов простоять под солнцем и день, и два, и три...

«Неужели будет вода? — думает Агим и отвечает на собственный же вопрос: — Наверное, будет. Раз этот Леши говорит, значит будет. У них в роду никогда не нарушали слова». И он улыбается тому, как смешно целится Барвюль трубкой прямо в рейку, которую прочно держат шершавые руки Агима Петрела.

1952

ИЗ РАССКАЗОВ
О РУМЫНИИ

В ДОБРУДЖЕ

Инженер Аурелио Станеску стоит на вершине холмика. Отсюда хорошо виден котлован, выкопанный рядом с железобетонной махиной электростанции. Дно котлована с каждым днем опускается все ниже и ниже — в него вгрызаются мощные зубья экскаваторов. Всего еще год назад здесь было пустынно: выжженная солнцем земля, болота и далеко вокруг ни крестьянской избушки, ни проезжей дороги. Только на востоке — синий кусок моря, словно мираж в знойную летнюю пору скупой Добруджи.

За год здесь, на месте гиблых болот, выросла тепловая электростанция высотою с десятиэтажный дом. Но это всего лишь половина дела, или, как говорят инженеры, первая очередь. На днях уже дан первый промышленный ток. Аурелио Станеску — строитель этого огромного сооружения, так называли его все, кто жал руку и поздравлял с успехом. А теперь новое дело — вторая очередь строительства. Внизу, под холмиком, — грохот бетономешалок, экскаваторов, свистки паровозов, отвозящих грунт к морскому берегу, вспышки электросварочных аппаратов, спорящих в своей яркости с силой солнечных лучей...

С моря дует свежий бриз. Станеску приятно стоять без шапки. Ветер треплет жидкие, седеющие волосы, играет полою незастегнутого пальто.

Инженеру лет пятьдесят, но выглядит он гораздо старше. На лице проступают острые скулы, а на висках впадины, шея тонкая, жилистая. А глаза у него чистые; они с юношеским любопытством глядят на мир и словно дивятся его бесконечным оттенкам и краскам...

На холмик поднимается невысокого роста, коренастый человек. Ноги у него чуть кривые, но крепкие, словно у горца.

Это механик Петру Дояну. Он вытирает паклей руки, вымазанные в масле, идет и на ходу чему-то улыбается. Дояну работает здесь недавно. Он поступил механиком по ремонту экскаваторов. Два или три раза разговаривал с ним Станеску, но как-то мимоходом. Инженер невольно спрашивает себя: «Что так развеселило этого механика?»

— Чем больше гляжу на вас, товарищ инженер, — говорит Дояну, продолжая подниматься вверх по узкой лестнице, — тем больше убеждаюсь...

— В чем вы убеждаетесь? — спрашивает Станеску.

— А в том, что я вас где-то раньше видел...

— Весьма возможно.

Механик бросает паклю и закуривает. Станеску от сигареты отказывается.

— Кажется, я начинаю кое-что припоминать, — продолжает механик. — Знали вы когда-нибудь такого помещика — Константинеску?

Инженер, наблюдавший за тем, что делается на широком днище котлована, живо поворачивается к механику.

— Константинеску? — говорит удивленно инженер. — Знал такого, черт бы его побрал!

— И я тоже знал, товарищ инженер, тоже, черт бы его побрал!

— И вы работали у него?

Механик утвердительно кивнул:

— Работал...

— Значит, вы меня там и видели.

— Помните курятник, который вы тогда строили? Нашему хозяину захотелось иметь хороший курятник, и он пригласил на работу вас как инженера и нас тоже.

— И что вы делали?

— Копал землю по колено в грязи.

Станеску криво усмехается.

— Стало быть, вам знакома история с молодым инженером-электриком? — спрашивает он.

Механик глубоко затягивается сигаретой.

— Теперь припоминаю все... Не вам ли это сказал

Константинеску: «Молодой человек, вы тут можете применить все свои познания».

— Верно, говорил, черт бы его побрал! Словно ножом по сердцу провел.

— Я понимаю: вам, безработному инженеру, и курятник в то время небоскребом показался...

Станеску просит сигарету. Дело это давнее, но настолько неприятное, что ему хочется покурить, чтобы не слишком поддаваться неприятным воспоминаниям.

Он говорит механику:

— Константинеску принял меня в своем особняке. Он не попросил даже присесть. «Вот что, — сказал он, — вы электрик? Отлично! Я предлагаю вам построить курятник и оборудовать его электричеством». Я ужаснулся, когда узнал, что предлагают мне, вызвав меня из Бухареста. Инженер и трое рабочих с лопатами — вот и все строители. «Молодой человек, не раздумывайте, беритесь за дело, — сказал Константинеску, — в Румынии не каждый день строятся даже такие курятники». Очень было обидно, товарищ механик. Разве для того годами корпел я над книгами, чтобы строить курятник для Константинеску?

— А куда вы уехали потом, после того курятника?

— Страшная озлобленность, неосторожные речи — вот и угодил в Дафта́ну. Десять лет Дафтаны — это не шутка!

Механик на минуту задумывается: перед ним встают одиночки мрачной тюрьмы Дафтаны, холодные коридоры, жуткие дворики, похожие на каменные мешки. Дояну тоже хлебнул тюремной похлебки в Дафтане.

— А все-таки пришлось вам станцию строить, товарищ инженер, — говорит Дояну, — да какую еще! Не всякому выпадает такое.

— Верно, — соглашается Станеску, — дожили всетаки до этого дня...

— Хорошо сказано, — говорит Дояну. — А еще, товарищ инженер, учтите: бывший чернорабочий стал

механиком. Это тоже чего-нибудь да стоит! — И он тычет пальцем себе в грудь.

— Верно, Дояну, и очень даже дорого стоит! — инженер хлопает его по плечу, и оба раскатисто смеются.

1952

ПАСТУХ ВИЭРУ

Скоро рассвет, а Георге Виэру так и не удалось сомкнуть глаз. Мучит проклятый ревматизм: что называется, и сон бежит и явь нейдет.

Виэру корчится от боли и стонет. «Быть непогоде», — мелькает в голове. Такое бывает только к перемене. Виэру плотно сжимает зубы, и они скрипят. Проклятый ревматизм!

И все это из-за дьявола Гинеску... Виэру стонет пуще прежнего, потому что к боли в ногах добавляются еще и черные воспоминания.

Гинеску служил управляющим в имении помещика, известного в Восточных Карпатах. Это был жилистый, сухой и высокий человек с оловянными глазами. Вытянутое лицо, острый нос и черные усы, как у цыгана... Что еще запомнилось? Руки, точно у орангутанга, длинные, почти до колен. А в руках или трость, или кнут. Чаще всего кнут. У этого Гинеску разговор был короткий — даром что управляющий у самого известного в Восточных Карпатах помещика! А Виэру пас свиней, ходил под началом у Гинеску и должен был снимать перед ним свою рваную шапку, кланяться до самой земли. Гинеску словно и не замечал этих поклонов. Наплевать было ему и на поклоны, да и на самого пастуха.

Однажды помещику захотелось посмотреть своих свиней. Вот Гинеску чем свет примчался в коляске. Утро было осеннее, хмурое. Дул сильный ветер, он пронизывал насквозь.

— Гица! — услышал Виэру. — Гица, куда ты запропастился?

Георге вскочил с соломы, на которой спал в мазанке, рядом со свинарником.

— Слушаю вас, господин управляющий! — протараторил Георге спросонок, представ перед Гинеску.

Гинеску поглядел на пастуха своими оловянными глазами, словно в пустоту, недовольно повел усами и прошипел, точно змея:

— Живо мыть свиней!

Георге не сразу понял, чего от него требуют. Мыть свиней? А чем же занимался Георге вчера? Именно мытьем этих самых свиней, черт бы их побрал совсем! Ходят они словно мраморные, несмотря на осеннюю грязь. Но все это достается пóтом и кровью пастуха... Георге находит в себе мужество возразить, хотя он понимает, что шутки с господином управляющим весьма плохи.

— Они чистые, господин управляющий, — сказал Георге.

— А я говорю: мыть!

Георге снял шапку и проговорил:

— Будет исполнено, господин управляющий!

Весь день Георге Виэру простоял в воде. Босой бегал к колодцу. Мерз на ветру. И с этого времени стали ныть ноги. Боль все усиливалась. Наконец Виэру свалился и пролежал на своей соломе целый месяц...

Гинеску о нем и не вспомнил. Да разве мог думать о каком-то пастухе важный Гинеску?..

Вот откуда у Георге этот самый проклятый ревматизм!

Георге поворачивается лицом к стенке и скрежещет зубами: нет болезни хуже ревматизма!

Во дворе хлопочет жена. Она пытается успокоить собаку, которая вдруг залилась яростным лаем. Должно быть, кто-то явился... Верно, сюда, в комнату, доносится чей-то басовитый голос... Немного погодя на цыпочках входит старуха...

— Гица, — говорит она тихо, — ты не спишь?

Георге трудно пошевелить губами. Он предпочитает прикинуться спящим.

— Гица, тебя зовут.

Эти слова оказывают немедленное действие: Георге вскакивает — сказывается старая привычка, выработавшаяся за долгую службу у помещика. В то время было так: говорят «вставай» — значит не мешкай. Управляющий терял всякое терпение, если его приказы выполнялись не молниеносно...

Жена испуганно шарахается от Георге — он так неожиданно подпрыгнул в постели!

— Что с тобой, Гица?

— Ты же сказала, что зовут...

— Тебя вызывают в правление коллективного хозяйства... А я сказала, что ты болен...

— Я, слава богу, болею не первый год. Вызывают — значит дело срочное. А зачем — догадываюсь: надо сено убирать, непогода на носу.

— Мне этого не говорили, — замечает жена. — А сказала я сущую правду. Если бы знал, как ты стонал ночью! На дворе собираются тучи. Наверно, быть дождю. Ты всю ночь ворочался в постели.

Георге закашлялся, свесил с кровати ноги.

— Не все говорится, надо и самой кое-что понимать. Всю ночь мне снилась свинья Гинеску. У меня такое чувство, точно я в грязи провалялся. Я не знаю, жив ли он сейчас, очень хотелось бы повидать его и поговорить о ним по душам. А что касается ревматизма, — продолжает Георге, — то, пожалуй, лучше будет, если я пройдусь. Пора страдная, и хозяйству нужны лишние руки — это несомненно. Раз так, мне неудобно тыкать всем в глаза этот свой ревматизм. Гинеску ни на что не посмотрел бы, а тут, как ни говори, о собственных доходах речь идет.

Жена понимает, что раз Георге решил, его не переубедишь. Она молча варит кофе.

Георге торопливо одевается, расчесывает густые иссиня-черные с проседью усы. Проглотив чашку кофе, он выходит на улицу, тяжело опираясь на палку.

Георге шагает, пытаясь не выдавать боли в ногах. Ему не хочется, чтобы люди, глядя на него со стороны, вдруг сказали бы: «Осень, пора урожай снимать, а Георге согнулся в три погибели». А злые языки,

пожалуй, еще и съязвят: вот, дескать, знает же Георге, когда надо слечь в теплую постель. Нет, Георге не выкажет своей немощи. «Поболит — пройдет, — говорит он про себя. — А нынче просто стыдно болеть: свое, общее хозяйство — значит надо работать, а не хныкать».

Вот оно, небольшое светлое здание; в нем помещается правление коллективного хозяйства. За письменным столом — председатель правления, его заместитель и два члена правления.

Председатель — человек молодой, из бывших батраков. За год выучился грамоте, съездил в Бухарест, побыл там месяца три и вернулся оттуда, точно снова родился на свет. Память у него, как говорится, светлая, всех знает по имени, каждую цифру наизусть помнит, разбуди его ночью — расскажет, что́ и где из общего добра лежит. Он родился на берегу Черного моря, почти всю молодость в батраках провел. Его прежде и за человека не посчитали бы, а поглядишь на него сейчас — не наглядишься, молодец молодцом!..

— Здравствуй, Гица, — говорит председатель. — Болеешь?

— Я? Болею? Да откуда вы взяли? Просто ноги заныли — вот и все. Если надо ехать на поля, я готов! Дело идет к непогоде, надо поторопиться.

— Все это так, товарищ Гица. Однако мы побеспокоили тебя по другому поводу... Мы решили, Гица, послать тебя на лечение.

— На лечение? — удивился Георге.

Председатель поясняет:

— Мы просили областной Народный Совет кое в чем помочь нам... Вот и придется тебе, Гица, поехать на грязи. Месяц лечения — что скажешь?

Георге Виэру опускается на табуретку и пристально смотрит на людей, сидящих за столом, словно видит их впервые. Это такие же простые крестьяне, как и сам Георге. Они тоже хлебнули немало горя в старой Румынии и хорошо знают думы крестьянские. И сами небось о многом думают и мечтают...

— Послушайте, — говорит Георге, — вы все сговорились, что ли? Никто из вас не смеется.

— Смеяться? По какому поводу, Гица?

Георге не сводит глаз с председателя.

— Откуда вы взяли это — насчет лечения? Что я, помещик, чтобы на грязи ездить?

— Мы полагаем, что помещики тебе и в подметки не годятся.

И председатель заливается смехом. Очень, должно быть, смешно видеть перед собою сутулого, старого Георге Виэру, который не верит в свое счастье.

Георге просит, чтобы председатель еще раз повторил все сказанное.

Ему говорят:

— Верно, Георге, все верно: ты едешь на курорт.

И протягивают ему зеленую бумагу.

Георге растроган до глубины души. Он теребит усы и не сводит глаз со своих друзей. Значит, теперь о Георге есть кому подумать и позаботиться... Прежде его болезнь никого не интересовала. Кому была охота возиться с больным? Гинеску говорил: «Больной что заноза: надо поскорее освобождаться от него...» Вот почему в помещичьей усадьбе прежде не было больных крестьян — одни здоровые: свалился, значит выволакивай за ворота!..

Георге Виэру говорит:

— Стоит ли?.. Обойдется как-нибудь... К тому же дело это неслыханное...

И он пытается спрятать глаза. Но как их ни прячь, они все же блестят...

1952

ИЗ РАССКАЗОВ
О ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ

ВОДА И ОГОНЬ

Старинный дом с толстенными стенами... Он стоит на перекрестке двух узких и кривых улочек старой Праги. Мощный цоколь его сложен из грубо отесанных камней. В цоколе устроены небольшие проемы, словно бойницы в крепостной стене. Так и чудится: вот-вот покажется из подвала средневековая аркебуза и пальнет по врагу.

Этот дом некогда осаждали иноземцы. Впрочем, и сегодня он окружен врагами. И старый дом в этот весенний день 1942 года снова стал крепостью. Он объявлен на осадном положении с самого раннего утра. Пули свищут вдоль и поперек замощенного камнем дворика. А жильцы дома жмутся в тесных комнатах и коридорах. Им строжайше запрещено выходить на улицу...

Дверь, ведущая в подвал, завалена изнутри. К ней не подступишься: стреляют из проемов, но не аркебузы, а современные многозарядные автоматы. На эти выстрелы солдаты, пытающиеся захватить подвал, отвечают пулеметным огнем.

Осадное положение! Настоящая война, казалось бы, в мирном городе.

Во втором этаже дома находится штаб. Операцией руководит полковник. Он разговаривает с комендантом города по телефону, сообщает обстановку, а затем выслушивает донесения с нижнего этажа и снова звонит по телефону. Полковник высок, сухощав, подтянут. Он при всех орденах, точно на параде.

— Господин генерал, — говорит он в трубку, — все выходы со двора забаррикадированы. Окна заставлены мешками с песком. С нашей стороны пока потерь нет. Враг упорно отстреливается...

Полковник внимательно слушает телефон, чертя узоры на бумаге, а потом продолжает:

— Численность врага? Судя по огню, господин генерал, засело не менее десяти человек. У них запас патронов и, пожалуй, автоматов. Все подозрительные жильцы мною арестованы.

Полковник озирается: ему неловко перед подчиненными, ибо генерал выходит из себя, и телефонная трубка трещит на всю комнату.

— Позор! — слышится в аппарате. — Десять бунтовщиков в мышеловке, а вы возитесь с ними с самого рассвета! Огонь из всех пулеметов и автоматов! Непрерывный огонь!

— Слушаюсь!

Полковник резко поднимается со стула. Он готов наброситься на своих офицеров, но сдерживается. Он невольно припоминает операции в Голландии и на острове Крит. Эти офицеры делили с ним опасность, там они были бесстрашными. Что же стряслось теперь с ними?

— Мы позорим германскую армию! — ворчит полковник, стиснув зубы. Его бесцветные глаза устремлены в пространство, лицо делается каменным. — Десяток чешских бунтовщиков приковал к себе целый батальон! Стыдно! — Полковник торопливо надевает перчатки. — Идемте... Огонь, непрерывный огонь!

Через несколько минут со всех трех этажей, из всех окон начинается неистовая пальба по проемам — по двум черным квадратикам на сером цоколе.

Прилегающие улицы наполняются зловещим эхом. Пражане многозначительно переглядываются между собой. Они понимают: там, в Старом городе, происходит что-то очень серьезное. Но что именно?

На улицах появились танки: гитлеровское командование усиливает охрану. В Градчаны, резиденцию имперского наместника в Чехии, мчатся бронемашины. Наместника, как видно, основательно лихорадит...

А в осажденном здании все идет своим чередом.

Под прикрытием огня несколько гитлеровских солдат ползут на животах к проемам. Они намереваются забросать гранатами осажденных.

Вдруг солдаты замирают, потом только один из них медленно двигается вперед. Ему удается бросить

гранату в проем, но обратного пути ему уже нет: он лежит на земле, корчась от боли.

Подвал огрызается еще ожесточенней.

Полковник поднимается к себе наверх. Звонит телефон, но полковник не подходит, морщится, как от чего-то очень кислого. Он кивает майору:

— Скажите, что я внизу, на наблюдательном пункте, — и указывает пальцем на телефонный аппарат.

— Разрешите доложить? — говорит майор в трубку. Он низкий и жирный, обтянут ремнями, словно толстая колбаса плотным шпагатом. — Наши потери: один убит, трое ранено... Заставить замолчать не удалось... Так точно, отстреливаются...

Он кладет трубку и огромным платком вытирает лицо, лоснящееся от пота.

— Вы помните, — говорит полковник, — как мы расправлялись с противником в Роттердаме?

Офицеры коротко кивают: дескать, помнят.

— А помните, как хватали врагов на Крите?

Опять утвердительные кивки.

— Не объясните ли мне, господа офицеры, что случилось теперь? Какой-нибудь десяток чехов держит оборону против батальона наших войск! — Полковник резким движением отодвигает от себя полевой телефон.

Все молчат. Не молчат лишь автоматы в подвале да пулеметы в коридорах...

— Разрешите сказать?

Это капитан Рейнгоф. Полковник глядит на него пристально, точно вспоминая, кто он. Капитан, по мнению полковника, смекалист, но большой трус. Кажется, он отличился в одном из лагерей для военнопленных французов...

— У вас появилась какая-нибудь идея, капитан?

— Так точно.

— Слушаю вас.

Рейнгоф поджимает тонкие сухие губы. Он сводит рыжие брови и берет в руки карандаш:

— Их надо взять живьем?

— Весьма желательно. По нашим данным, это члены подпольного центра. Они могли бы снабдить нас важными сведениями.

Рейнгоф выводит на бумаге цифру пять.

— Мы ведем огонь пять часов подряд, — говорит он.

Полковник глядит на часы:

— Вы правы. Но это известно любому фельдфебелю.

— Я хочу сказать, господин полковник, что огонь мало действен.

— Тоже верно.

— Придется положить взвод, а может быть, и два, чтобы взять этих подлецов.

— Вы с ума сошли, капитан! Два взвода?!

— Поэтому предлагаю вызвать две, три, четыре — в общем нужное количество машин... пожарных машин. Со стороны фасада мы пробьем дыры и зальем подвал водой. Против воды автоматы бессильны.

Полковник задумался:

— Вы полагаете, что потом их можно будет привести в чувство?

— Почему бы и нет? Утопленника оживляют минут через десять после того, как он основательно окунулся в воду.

Полковник оглядел офицеров и сказал:

— Господа, а мне нравится эта идея.

Он решительно потянулся к телефонной трубке...

Через полчаса к осажденному зданию подъехали пожарные машины, и саперы начали пробивку дыр в цоколе.

Неизвестно, что подумали засевшие в подвале, услышав глухие удары в стены и шум машин. Они по-прежнему упорно отстреливались, словно не обращая внимания на то, что делается у них за спиной, на улице.

Время уже близилось к полудню. Было очень тепло. Над квадратным двориком стояли квадратные небеса. Осажденные, если бы пожелали, могли увидеть из своего подвала клочок синего неба. Но это было рискованно. И до неба ли им!

Из проема неожиданно высунулась палка с белым лоскутом. Как только об этом сообщили полковнику, он приказал прекратить огонь.

— Посмотрим, что они запоют теперь, — сказал он, потирая от удовольствия руки.

И вдруг в наступившей тишине из проема выпрыгнул мяукающий котенок. Почуяв себя на воле, он задрал хвост — и был таков! А белый лоскут материи тут же исчез...

— Это еще что такое?! — воскликнул полковник.

И снова заговорили пулеметы. Бой продолжался...

В четыре часа пополудни был отдан новый приказ: запустить помпы. Десятки кубометров воды устремились в подвал. Теперь полковнику и его солдатам оставалось только ждать. Однако генералу не терпелось. Он звонил через каждые десять минут, требовал поскорее покончить с этой «идиотской осадой».

— Господин генерал, — ответствовал ему полковник, — все идет по плану...

— Взять только живьем! — настаивал генерал. — Это очень важно. Приготовьте спасательную команду.

К шести часам вечера из проемов во двор потекла первая струйка воды. Вскоре вода побежала по камням. В правом углу двора собралась специальная команда, которой поручалось вскрыть подвальную дверь. Осажденные, очевидно, заметили эту команду: длинная автоматная очередь полоснула по двору. А спустя несколько минут из проема вылетел кусок камня с привязанной к нему красной материей.

Нет, подвал и не помышлял о сдаче: он жил, он боролся!

К вечеру вода уже вовсю хлестала из проемов. Пять пожарных машин работали на полную мощность.

И вот поздно вечером, при холодном свете электричества, на камни квадратного дворика солдаты выволокли два трупа... Их было не десять, а всего двое — двое молодых людей, обросших бородами, как старики, и худых, как сама смерть. Кто знает, сколько времени они скрывались по подвалам и чердакам, ежечасно подвергая себя смертельной опасности!

— Покончили самоубийством, — объяснил один из офицеров полковнику.

Полковник поискал глазами капитана и сказал ему:

— План ваш был задуман превосходно, господин капитан. И это не мы, а они виноваты в том, что замысел ваш не удался.

...Старый дом безмолвствовал: он был на осадном положении, пока эти два коммуниста — пусть мертвые — находились во дворе.

1953

СМЕРТЬ МАТЕ́Я Я́НЧО

Это все же не миновало... В конце концов можно было предположить, что дело так именно и кончится. Казалось, что соблюдается крайняя осторожность. Но, по-видимому, она была не самая-самая крайняя — есть, должно быть, на свете еще какая-то особая предосторожность... Во всяком случае, нет в душе того ужаса, который, как говорят иные, неизбежен, когда человек попадает неожиданно в ловушку. Совсем напротив: откуда-то взялась выдержка, и воля пришла, и даже захотелось пошутить в эти минуты.

Они постучали в дверь очень тихо: Мате́й Янчо подумал, что это партизаны. «Но почему же раньше срока? — мелькнуло в голове. — Обещали быть в девять часов вечера, а сейчас всего восемь тридцать». Но недолго пришлось гадать: в комнату ввалились эсэсовцы, и положение стало предельно ясным.

— Прошу вас, господа офицеры. Чем могу служить?

Матей оказался в кольце: эсэсовцы заняли четыре угла, дверь, окно — словом, все ходы и выходы. Матей догадывался, что и жена и дочь его в эту минуту тоже объясняются с эсэсовцами в том, другом доми-

ке, что стоит недалеко отсюда. Более того, наверно, окружена вся окрестность. Короче говоря, это ловушка для партизан, которые вот-вот должны явиться в гости...

— Вы Матей Янчо? — спрашивает коренастый, среднего роста офицер.

Его вопрос на словацкий язык переводит краснощекий, похожий на подвыпившего пивовара фельдфебель.

— Да, я художник Матей Янчо.

Янчо туговат на ухо, просит говорить погромче. Офицер злорадно обещает:

— Поговорим и погромче, можете не беспокоиться.

«Все знают, — с тревогой решает Янчо. — Им кто-то сообщил... Скоро придут партизаны... Они придут, как было условлено вчера... Ах, кто предполагал, что все обернется так скверно-прескверно!..»

Усадьба художника Матея Янчо находится в конце села, на живописном косогоре: один домик, жилой, — пониже, а другой, мастерская, — повыше, ближе к лесу. Лес смешанный — дубы и ели, — большой, густой лес, в котором водятся олени и кабаны. Он простирается до самых Татр. В нем удобно скрываться партизанам после набегов на железнодорожные станции. Пока немцы воюют далеко в России, партизаны разрушают в Словакии дороги, сбрасывают поезда под откос.

Янчо случайно познакомился с партизанами. Они пришли к нему глубокой ночью, попросили воды. С тех пор и завязалась тайная дружба. Дочь Матея, шестнадцатилетняя Мария, в неделю раз отправлялась в город и оттуда вместе с хлебом привозила разные, порой очень важные новости. Сказать по правде, она кое-что забирала в город — секретные записки партизан — и передавала их кому надо. Возможно, немцы пронюхали обо всем этом. Все возможно...

Но Янчо больше всего беспокоят стрелки часов, неодолимо движущиеся вперед, к условленному часу. Перед глазами маячат образы Петрова, Микуша, Елинека, Даби и других людей из партизанского от-

ряда. Родились партизаны в самых разных городах: Петров — в Воронеже, Микуш — в Жилине, Елинек — в Пльзене... Янчо хранит их портреты под старыми рисунками. Когда кончится война, он передаст эти портреты в местный музей: пусть узнают люди, кто боролся за их счастье в словацких лесах!

— Не хотите ли сообщить что-нибудь, господин художник?

Задав этот вопрос, офицер с вызывающим видом садится на сундук. В этом сундуке, под кипой пожелтевших бумаг, спрятан пистолет, подаренный Петровым. Если бы офицер догадывался об этом...

— Что вам сказать? — Янчо прикидывается беззаботным. — Вот пишу картину «Гуситы»... Плохо с заработком, господин офицер. В прошлое воскресенье моя дочь так и не смогла продать ни одной картины.

Офицер зловеще осклабился:

— Но в город, надеюсь, сходила не без успеха?

— Что вы имеете в виду, господин офицер?

— А мы как раз и желаем узнать: что вы сами имеете в виду?

— Но...

— Довольно! — Офицер вскочил с места. — Вы трус, а не служитель искусства! Вы решили переменить свою благородную профессию художника на грязную должность партизанского разведчика?

— Позвольте... — попытался возразить Янчо, чтобы по возможности уяснить себе, какими сведениями располагает немецкий офицер. — Позвольте, господин офицер, вы наносите оскорбление без всякого на то основания.

Офицер брезгливо шмыгнул носом и подошел к художнику, держа руку на кобуре. Он заглянул в глаза Янчо, точно в щели, пробитые в непроницаемой перегородке. Янчо спокойно выдержал этот хищный взгляд.

— Вы меня назвали трусом, — сказал Янчо, — это неверно. Вы назвали меня разведчиком — это несправедливо. Какие основания для таких тяжелых обвинений?

Офицер не ответил художнику. Он повернулся к дверям и бросил короткое:

— Обыскать!

Из прихожей в комнату, стуча тяжелыми сапогами, вошли солдаты и начали рыться в бумагах и красках. Один из автоматчиков, стоявший позади Янчо, буркнул: «Поднять руки!» — и тщательно ощупал карманы художника.

— Оружие есть?

— Нет.

Янчо взглянул на часы: скоро девять. «Они где-нибудь поблизости, — говорит про себя Янчо. — Они могут выйти из лесу с минуты на минуту — и тогда им конец!»

Янчо все время напряженно думает о том, как бы подать знак партизанам — знак грозящей опасности... Конечно, можно пожалеть свою семью, взмолиться, выболтать все и тем самым, может быть, спасти себе жизнь. Янчо припомнил полувековой трудный путь... Постоянная нужда, бесконечные заботы о завтрашнем дне и куске хлеба.. Вот и вся жизнь! Правда, были и радости — удавшиеся картины, которые приносили пусть короткое, но яркое счастье. Была, наконец, надежда — надежда на будущее...

Огромный детина, разбросав рисунки по полу, подносит офицеру несколько карандашных набросков.

— Что это такое? — не говорит, а рычит офицер, обращаясь к Янчо.

— Эскизы, господин офицер.

С серого листа бумаги глядит бородатый Петров. На нем стеганка и меховая шапка.

— Кто это?

Янчо говорит:

— Тип, господин офицер.

— Тип русского партизана?

— Совершенно верно, — подтверждает художник. — Видите ли, я задумал картину: «Поимка диверсанта»... Это будет патриотическая картина, господин офицер, которая...

— Врите побольше! — обрывает офицер. — А откуда взялся этот тип? Он бывал у вас?

Янчо еще раз проверяет время — почти девять! Сейчас, или будет поздно!

— Господин офицер!

Янчо говорит неестественно громко, и офицер поворачивается к нему всем корпусом.

— Господин офицер! Разрешите быть откровенным: я ошибся и хочу исправить ошибку чистосердечным раскаянием. Я постараюсь оказать вам большую помощь.

— Какую?

Янчо не отвечает.

— Говорите же, какую?

Солдаты перестают ворошить бумаги.

— Любую, — выдавливает из себя Янчо и чувствует, как от стыда у него краснеют кончики ушей, будто он и впрямь совершил преступление.

Офицер пожимает плечами и внушительно произносит:

— Ваша жизнь в ваших собственных руках.

— Я помогу вам! — точно в припадке отчаяния восклицает Янчо. — Разрешите показать вам некоторые документы, а позже и самих...

Он подчеркивает слово «самих», дескать самих партизан. Так и понимает его офицер.

Янчо достает из кармана связку ключей и садится на корточки перед сундуком, до которого еще не успели добраться солдаты. Уверенным и быстрым движением он откидывает крышку, запускает руку глубоко в бумажную груду и нащупывает то самое...

«Здесь он, — шепчет Янчо. — Милый мой, здесь и, как всегда, на взводе... Как хорошо, что предусмотрено хотя бы это...»

Резким рывком Янчо достает пистолет и выпускает в окно все пули до единой — вестниц грозящей опасности.

«Они услышат выстрелы... Они не придут сюда», — проносится в голове художника короткая мысль, и вдруг все озаряется ослепительной оранжевой вспышкой, и тело становится невесомым, точно оно никогда и не существовало на земле.

1953

КЛОЧОК ЗЕМЛИ

Прошел год с тех пор, как Штефан переселился в город и поступил на новый завод. На тридцатом году своей жизни он сделался слесарем. Работал он, стало быть, не на поле, где и солнце печет и дождичек тебя поливает, а в огромном цехе, крытом железом и стеклом. Штефану во всем помогали машины, совсем новенькие машины. На большинстве из них стояли заводские клейма с надписями: «Свердловск», «Харьков», «Ленинград». И работал Штефан не один, как бывало, в поле, а, можно сказать, плечом к плечу с сотнями рабочих.

Когда Штефану предоставили отпуск, он поехал не в дом отдыха, а в деревню. Он с удовольствием мечтал о плуге, поднимающем первую борозду. Сказать по правде, Штефан соскучился по широким деревенским просторам, полевым цветам и высокому небу. Это был настоящий крестьянин, вскормленный землей и выросший на земле. В деревне почему-то так и не привелось ему жениться, а в городе еще не успел. Городские девушки не очень нравились ему. Они, по мнению Штефана, были чересчур умными и слишком воображали о себе. Во всяком случае, едучи в деревню, Штефан мечтал о какой-нибудь Маринке или Анке, и кто знает, не в этот ли приезд решится его судьба?

С братом Михалем он всегда был дружен. Мысли у обоих братьев текли в одном и том же направлении: как бы получше вспахать землю-матушку, как бы поскорее засеять ее и поскорее убрать урожай осенью. Вся семья Михаля была одержима одной заботой, и все думы — только о земле...

Приехал Штефан вечером, а рано утром вышел в поле вместе с братом.

Пахло весной. Небо тоже было весеннее — теплое, без облаков. Почки на каштанах, что выстроились вдоль дороги, уже набухли. От земли поднимался пряный запах, точно от пирога, подрумянившегося на печке.

Участок Михаля лежал на горбатой местности. Он

был длинный-предлинный, этот участок — зеленый лоскут земли. Слева от участка уже провели дюжину борозд — жирных и глубоких. А направо — тоже длинный-предлинный лоскут, пока что нетронутый, обнесенный глубокой канавой-межой. Это был чужой участок, соседский.

Михаль не терял ни минуты: живо запряг в старенький плуг здоровенных коней. Штефан снял куртку и по привычке поплевал себе на ладони.

— Кто-то старается с самого рассвета, — сказал Штефан, кивая на вывороченные рядом пласты.

— Всё они, — ответил Михаль.

Михаль, казалось, похудел за год. Глаза его потускнели и еще глубже запали в орбиты. Эти перемены Михаль объяснил так: «Время идет—все мы стареем. — И еще добавил: — Ну, и заботы, конечно». Он так и не сказал, какие именно заботы гложут крестьянское сердце. Однако Штефану было ясно, что с братом творится неладное. И было что-то особенное в его голосе, когда Михаль произнес: «Всё они».

— Кто это «они»? — спросил Штефан.

— Разве не знаешь? Я, кажется, писал тебе...

— Что-то не припомню, Михаль.

Михаль подвел брата к меже.

— Видишь тот желтый песок? — Он указал рукой далеко на запад. — От него и до самой реки и все, что лежит прямо перед тобой, — все это теперь кооперативное.

— Так, значит, у вас кооператив?

— Это у них.. у них, — уточнил Михаль. — Они распахали межи и всю землю объявили общей.

Штефан задумчиво почесал затылок.

— Кто же вступил в кооператив? — поинтересовался он.

— Да как сказать... Многие. Брезина, Захар, Фигули...

— А они? — Штефан указал на лежащие справа лоскутные участки.

— Пока что не желают. Предпочитают работать в одиночку.

— А тебе предлагали вступить в кооператив?

— Уговаривали. Но я полагаю, что мне и так не плохо.

Штефан сдвинул шляпу на затылок, подбоченился и начал аккуратно приминать траву своим сапогом.

— Начнем, что ли, Штефко?

— Да уж нечего ждать...

Штефан взялся за плуг, лошади рванули, и потускневший за зиму лемех вгрызся в разбухшую от весенней влаги землю.

— С богом! — крикнул Михаль. — Ты, я вижу, Штефко, не разучился хозяйствовать!

Штефан двинулся вдоль участка. Солнце светило ему в спину. Могучие руки, словно приросшие к плугу, выводили ровную и глубокую линию на поле. Штефан скрылся за бугорком и вскоре появился снова. Он щурился, идя против яркого солнца. Коней не приходилось понукать: они знали свое дело и, пофыркивая, тянули плуг, отталкиваясь от земли огромными копытами.

Из-за бугра, откуда только что возвратился Штефан, раздался глухой шум. Вскоре на соседнем поле появилась машина. Это был новый трактор. Он сверкал на солнце гусеницами, поблескивал краской, не тронутой еще временем. Трактор тащил многолемешный плуг и оставлял за собой широченную вспаханную полосу. Машина поравнялась со Штефаном. На ней важно восседал Янко Кырно, лет восемь назад работавший шофером у местного богатея.

— С приездом, Штефко! — крикнул тракторист, останавливая свою машину.

Штефан поклонился ему.

— Как жизнь в городе?

— Неплохая, Янко, — отвечал Штефан. — В отпуск приехал.

— Это уж как полагается, — сказал Янко. — Завод у тебя, говорят, новенький.

— Завод что надо, Янко.

— Случайно не твоего ли производства? — спросил Янко, похлопывая ладонью своего железного коня.

— Нет, мы делаем котлы, — отвечал Штефан. — Мы делаем и маленькие котлы и настоящие гиганты.

— И машины у тебя, наверное, самые лучшие, — громко продолжал Янко, не спускаясь со своего сиденья и перекрикивая гуденье машины. — Ведь заводу всего-навсего один год!

— Верно, год, не больше.

Штефану становится не по себе. Ему кажется, что Янко нарочно заговорил о машинах, чтобы намекнуть на старенький плужок, которым пашет Штефан. И Штефан пытается заслонить собой скромное орудие пахаря. Он вдруг с особой силой ощущает нелепость своего положения: городской человек, работающий на одном из лучших заводов, идет послушно за плугом, изготовленным чуть ли не в прошлом веке. Штефан готов провалиться сквозь землю. А Янко, словно желая посильнее досадить ему, не трогается с места. Он старательно вытирает руки тряпкой.

— Решил помочь брату? — спрашивает он.

— Как видишь.

Ну, что еще скажет этот Янко? Штефан стоит весь красный от досады: ему неловко... Он почти оскорблен. Правда, никто не сказал ему худого слова. И все же...

Янко, как видно, хочет еще что-то сказать, но не решается. Неожиданно кивнув, он включает рычаг и едет себе дальше на своей машине. А за ним, словно волны за кормой быстроходного корабля, поднимаются борозды и медленно ложатся набок. Янко точно плывет на большом пароходе мимо жалкой посудинки, у которой торчит Штефан.

Давно не переживал Штефан такого стыда. Он, рабочий большого завода, где все машины словно живые, — и вдруг у старенького плуга! Ему было очень стыдно и за себя и за брата.

И Штефан обращается к брату:

— Михаль, не кажется ли тебе, что не все у нас ладно?

— А что?

— У меня такое чувство, словно я в чем-то провинился.

— Как тебе сказать...

— Этот клочок земли и этот допотопный плуг... —

говорит Штефан. Он готов разозлиться. — Можно подумать, что нынче не двадцатый век, будто и машин не бывало на свете!

— Я бы мог попросить машину, — бормочет Михаль, точно оправдываясь, — да ей нечего делать на этом клочке.

— Надо что-нибудь придумать, — говорит Штефан. — А срамиться не стоит, ей-богу, не стоит! Надо что-то решить.

У Михаля тоже, видно, не совсем сладко на сердце. И он понимает, что надо что-то решать.

— Ладно, поработаем, а завтра отправлюсь в кооператив, — говорит Михаль. — Перемолвлюсь там словечком.

Штефан снова берется за плуг. Словно желая подбодрить брата, Михаль бросает ему вдогонку:

— Не беспокойся, Штефко, непременно схожу!

1953

ИСХОД

— Видите, как хорошо и как просто, пан Новак, — сказал герр Штаубе.

Он поднял бокал. Сделал небольшой глоток. Почмокал пухлыми губами.

— Ничто не может сравниться с токайским, — продолжал немец. — Пан Новак, еще раз — ваше здоровье!.. Вы очень плохо кушаете и мало пьете... А ведь здесь уютно. Мне здесь нравится. А вам? Тоже? Этот гуляш и это вино напоминают мне веселый Пешт. Я люблю Венгрию.

Герр Штаубе говорил тихо, и улыбка не сходила с его лица. Из-за больших эллиптических стекол смотрели два водянисто-серых немигающих глаза. И улыбка казалась искусственной, какою она на самом деле и была. Яркую лысину окаймляли иссиня-черные волосы, тщательно подстриженные.

Это был крупный мужчина, одетый по самой последней моде: пиджак, застегнутый высоко на груди, и узкие без манжет брюки.

Немец весело рассказывал о том, как явился невольным свидетелем (он подчеркнул интонацией слово «невольным») венгерских событий в октябре прошлого года. Ему повезло: редакция одной западногерманской газеты предоставила корреспондентскую машину, и он все видел собственными глазами. Хотя было и не до вина, но все же на острове Маргит нашелся тихий уголок, где можно было полакомиться острым гуляшем и токайским...

Новак слушал рассеянно. Суховатая фигура, склоненная над тарелкой, являла вид человека, чем-то внутренне озабоченного. Шея наполовину как бы ушла в плечи, и все внимание его, казалось, сосредоточилось на кончике вилки, которую вертел в руках.

В ресторане «Будапешт» людно, жарко. Заняты все места. Оркестр исполняет какую-то итальянскую песню, переведенную в ритм фокстрота. Танцующие пары снуют в беспорядке.

Новак в такт оркестру начинает постукивать вилкой о краешек тарелки. Нет, ему определенно не хочется ни пить, ни есть...

— И хорошо, и просто, — повторял довольный герр Штаубе. — Здесь, у вас в Праге, к туристам весьма предупредительны. — Он понизил голос до шепота: — Ей-богу, это значительно проще, чем прыгать с парашютом и садиться на какое-нибудь сучковатое дерево.

Герр Штаубе громко рассмеялся. Новак остановил его взглядом.

— Нас никто не слышит, — сказал герр Штаубе. — Ведь у вас поощряют встречу простых граждан с туристами. Не правда ли? Это очень хорошо! Я нашел вас быстро по телефонному справочнику.

Новак поморщился.

— Герр Штаубе, — сказал он сухо, — может быть, мы переменим тему нашего разговора? Я не турист. Больше того: я житель Праги!

Герр Штаубе возразил:

— Чем проще будете вести себя за столом — тем лучше. Вы же с официальным немецким туристом,

вашим старым соседом по Крумлову. Были мы добрыми соседями или нет?

— Были, — выдавил из себя Новак и нахмурился.

Бледное, воскового цвета лицо сморщилось. Чех словно постарел на десяток лет тут же, на глазах своего старого друга.

— Пан Новак, мы всегда находили с вами общий язык. Послевоенные события нас разлучили: вы оказались в Праге, я — в Мюнхене. Что поделаешь! Судьба играет человеком. Именно играет, пан Новак. Притом иногда жестоко. Но мы с вами остались друзьями. Выпьем за это.

Пану Новаку под шестьдесят. Но за всю свою жизнь он не чувствовал себя так гадко, как в настоящую минуту за этим столом. Его мутило при мысли, что этот разжиревший господин смеет разговаривать с ним как с мальчиком — по-отечески снисходительно. Почему? Только потому, что он, Новак, связан невидимой нитью с этим наглым разведчиком. Верно, было такое в прошлом. Но прошлое, казалось, поросло быльем. Казалось, что с падением райха Новака оставят в покое. Да не тут-то было! Снова явился этот Штаубе, но на сей раз от имени долларовой державы. Да, от нее самой!..

Пан Новак снова оказался в цепких руках. И в цепких и неумолимо суровых... Когда позвонил этот тип, Новак не поверил своим ушам. Настойчивое приглашение в ресторан «Будапешт» повергло Новака в смятение. С той минуты он не мог смотреть в глаза жене, сыну, дочери.

Как всегда, герр Штаубе делает вид, что шутит. Это у него выработалась такая манера. Болтает о том, о сем, о каких-нибудь пустяках, приберегая под самый конец всегда самое страшное. Но на этот раз его опередит пан Новак. Это решено твердо!

— Герр Штаубе, — говорит Новак как можно тише, — мне хочется сказать вам кое-что... О себе, разумеется. С тех самых пор много воды утекло. Со времен Крумлова... Надеюсь, я выражаюсь достаточно ясно. Я постарел. У меня взрослые дети. Они получили высшее образование. Хорошо устроены. Вы

меня понимаете, герр Штаубе? И, наконец, я считаю, что народная власть в Чехословакии прочно утвердилась. Это факт. И мы неизбежно будем обречены на провал. Так я думаю...

Герр Штаубе налил себе вина и вопросительно глянул на собеседника. «Что это с ним?» — с тревогой подумал он. И тем не менее сделал вид, что не придает никакого значения словам Новака.

— Ну что ж, пан Новак, — сказал Штаубе, — рад за вас. Я передам шефу, что вы чувствуете себя хорошо. И вы и ваша семья. Однако я не понял, что вы сказали насчет народной власти. Надеюсь, пошутили?

— Ничуть, — жестко ответил Новак.

— Вы это серьезно?

— Выслушайте меня, герр Штаубе, и вам все станет ясно... Словом, я на жизнь не жалуюсь. Сказать по правде, и на правительство жаловаться не приходится. Думаю, что суверенная республика лучше, чем гитлеровский протекторат. Что вы скажете?

Герр Штаубе насторожился.

— При чем здесь протекторат? — сказал он все с той же улыбкой. — В конце концов мы с вами не политики. Может быть, вы вступили в эту самую... Коммунистическую партию?

Новак отрицательно покачал головой. Выждав, пока чуточку поуймется оркестр, он сказал:

— Я просто стар и устал от всего.

— Как это понимать, пан Новак?

Новак перевел дух.

— Я был бы признателен, герр Штаубе, если бы вы позабыли о моем существовании. Хотя бы ради старой дружбы.

Штаубе разрезал мясо. Он застыл на мгновение, подумал и процедил сквозь зубы:

— Не-воз-мож-но...

— Я очень прошу, герр Штаубе.

— Не-воз-мож-но...

Герр Штаубе решил, что с этим вопросом покончено, и обратил все свое внимание на танцующих.

Под клубами табачного дыма мужские и женские фигуры, ничем особенно не примечательные, переступали с ноги на ногу неторопливо и чинно, как и положено в первоклассном ресторане.

— Красивая дама, — произнес герр Штаубе, указывая глазами куда-то вправо. — Не знаете, кто она?

— Не знаю, герр Штаубе. Так вот, я прошу...

— Очень, очень элегантна...

— Я был бы вам обязан за услугу...

— И с нею какой-то лысый...

Пан Новак налил вина в свой бокал и залпом осушил его.

Как бы отнеслась дочь, думал Новак, если бы она узнала, с кем он сидит в этом ресторане и какие ведет разговоры? Наверное, отреклась бы от него! А сын? Тот просто взбесился бы... Верно, с этим надо кончать. Во что бы то ни стало! Что было — того уж, конечно, не вычеркнешь из жизни. Но продолжать и дальше черное дело нельзя. Никто этого не простит — ни близкий, ни дальний.

Новак снова подымает полный бокал вина и, кажется, окончательно набирается решимости.

— Нет, — говорит он упрямо, — это надо кончать. Они мне доверяют. Они делают хорошее и для меня и моей семьи, и я не желаю... Да, не желаю гадить... Они не знают о моих прошлых связях. И я хотел бы покончить с этим...

Новак закрывает глаза, точно перед ним бездонная пропасть. От переносицы через весь лоб проходит глубокая линия, похожая на восклицательный знак.

— Надо кончать, — говорит он решительно.

— Ужин кончать, что ли? — издевательски спрашивает Штаубе. — Во-первых, я турист, и мне положена определенная доза развлечений. Во-вторых, о делах потом...

— Нет, не потом, а сейчас же. Немедленно.

— Вы сегодня невыносимы, пан Новак.

— Я заявляю официально: на меня в своей деятельности больше не полагайтесь. Это решение созрело у меня постепенно. И оно окончательное.

У Новака от волнения дрожат руки. На носу выступают капельки пота. Он встает из-за стола. Выкладывает на стол двадцать крон — свою долю за ужин.

— Я ухожу, герр Штаубе. Один ваш звонок — и я обо всем заявлю органам безопасности. Вам это понятно?

У пана Новака странно сверкают глаза.

Герр Штаубе умеет вести себя на людях. Он хорошо воспитан. Но он, кажется, готов свернуть ударом челюсть этому трусу.

Новак медленно проходит меж тесно поставленных столов и скрывается за дверью.

Теперь уже герру Штаубе не до ужина. Он взвешивает все возможности и приходит к выводу, что Новак уже потерян. Это факт. В этих условиях важно знать: заявит Новак или не заявит? «Заявит», — решает герр Штаубе. Так подсказывает ему интуиция. Он отдает себе отчет в том, что надо отсюда уезжать. И чем скорее, тем лучше.

Он подзывает официанта и говорит ему:

— Счет.

А про себя добавляет:

«Проклятый Новак! Заявит. Непременно заявит...»

1957

НЕОПРОВЕРЖИМОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Быль

Кажется, нехитрая это машина — мотоцикл: два колеса и мотор. Ничего особенного, почти что велосипед! Многие даже стесняются его. Но только тот, кто хотя бы раз по-настоящему испытал его норов и приручил его, подобно необъезженному коню, только тот, кто чуть было не погиб на крутом повороте шоссе, только тот, кто после безуспешных стараний починить заглохший мотор привел мотоцикл домой из загородной поездки, словно коня под уздцы, — способен по достоинству оценить новую модель мотоцикла и бросить все ради того, чтобы полюбоваться на него, потрогать руль и с волнением прочесть название фирмы, изготовившей чудо-машину...

Таким любителем мотоцикла, несомненно, был Петко Боянов.

Всякое случалось в его жизни: он и мотоцикл пешком приводил домой в июльскую жару, и по ночам возился с ним, ремонтируя его, падал замертво на шоссе, рвал себе брюки, пачкался в масле — словом, испил до дна чашу, предназначенную для истого мотоциклиста. Теперь ему под сорок, он отец семейства, ездит аккуратней и реже, но вид нового мотоцикла возбуждает его сильнее самой выдержанной гы́мзы — красного сухиндольского вина. Вот почему, приметив на той стороне улицы незнакомые очертания нового мотоцикла, Петко тотчас же оставил завтрак и, быстро расплатившись, покинул ресторанчик.

Утро было солнечное, теплое. Деревья, тронутые осенью, слегка пожелтели и изредка роняли увядшие листья на улицу, мощенную под стать осенним цветам красноватыми плитками.

На тротуаре Боянова остановил знакомый хозяин шапочной мастерской «Луна» по фамилии Генев. Мастерская находилась рядом с тем ресторанчиком,

в котором так и не удалось как следует позавтракать Боянову из-за этого самого мотоцикла.

Генев в молодости тоже увлекался мотоциклами и в свои пятьдесят пять лет сохранил живой интерес к двухколесным машинам. Это был плотный, невысокий человек с широким лицом и серыми плутоватыми глазами. Узкая линия губ никак не вязалась с большим мясистым носом, и казалось, что Генев поджимал губы от нестерпимой боли в ногах.

— Петко, — сказал он таинственно, — я не могу понять, как ты можешь есть сосиски, когда напротив стоит такой чудесный незнакомец. — И Генев указал на мотоцикл.

— А я и не доел. Бросил.

— Правильно поступил! Но ты не торопись, постой рядом со мной и спроси себя, как это делаю я: что за мотоцикл перед нами? «Ява»? Нет. «Харлей»? Нет. «Триумф»? Нет. «Бе-эм-вэ»? Нет. «Нортон»? Тоже нет. Но мы с тобой должны же угадать, черт возьми, — даром, что ли, мотоциклисты и поездили на всех машинах мира!

Петко улыбнулся: он знал эту привычку Делчо Генева немного приврать и тем самым приукрасить свою речь.

Петко на целую голову выше своего собеседника. Лицо у него загорелое, фигура подтянута, руки длинные и на вид тяжелые. Он одет в коричневую кожаную курточку, так не идущую к его франтоватым серым брюкам с малиновыми крапинками. Но что поделаешь? Кожаная куртка никогда не разлучается с настоящим спортсменом...

— А я скажу, какой марки, — проговорил Петко с намерением перейти улицу.

— Э, нет, — остановил его за руку Генев, — прирожденный мотоциклист должен угадывать издали. Верно говорю?

— Пожалуй, верно, — согласился Петко и остался на тротуаре рядом с Геневым.

— Ты присмотрись-ка получше, — продолжал владелец мастерской, — кто угадает, тот выиграет бутылку гымзы. Согласен?

— Пусть даже две, — ответил Петко.

До мотоцикла было шагов десять-двенадцать. Очертания его были совершенно незнакомые, но, несомненно, самые модные — последнее слово техники. Рамы как бы не существовало: она, казалось, слилась с мотором, сигарообразная форма, устремленная вперед, и только колеса отстают немного, как бы не поспевая за корпусом. Мотоцикл стоял на солнце и оттого, может быть, казался еще красивее. Солнечные зайчики, рожденные на никелированных частях, ярко светились на гладких плитах мостовой...

— Черт возьми, — проговорил Петко, от удовольствия глотая слюну, — я первый раз вижу такую машину.

Генев взял собеседника за пуговицу курточки.

— Послушай, Петко, — сказал он, — вот как это было: сижу я, значит, у окна и работаю. Слышу, подкатила машина. На ней сидел молодой человек. Он вошел в тот подъезд. Как взглянул я на мотоцикл, так и обомлел. Стой, думаю, что это такое? Выбегаю на тротуар и начинаю гадать: откуда взялся он? Когда выпущен? Какой марки? Ведь сейчас в Пловдиве ярмарка, и мотоциклов там, говорят, очень много, и самых различных марок. Я не сомневаюсь, Петко, этот красавец прямо с ярмарки!

Мотоцикл быстро привлек к себе любопытных. Знатоки осторожно притрагивались пальцами к холодному никелю, щупали туго накачанную резину, молча рассматривали мотор.

— Ну, что? — спросил владелец мастерской. — Не угадал, Петко?

— Дай присмотреться, — ответил Петко. — А ты-то сам какого мнения?

— Я полагаю, что этот мотоцикл из Западной Германии. Или из Италии. — Генев собрал лоб в складки и почти крикнул: — А вернее всего — из Америки.

— Должно быть, так, — пробасил Петко.

Генев хитро подмигнул.

— Ну, где же еще могут придумать такую красоту? Ты посмотри: ведь это же орел в полете!

Генев присел на корточки, чтобы получше разглядеть машину, но теперь это было не так-то просто: толпа все увеличивалась, и мотоцикл, наконец, вовсе исчез за живой стеною.

— Значит, не угадал? — снова обратился он к Петко, которому не терпелось поближе рассмотреть машину.

— Сдаюсь, — сказал Петко и, перебежав через улицу, начал осторожно, но решительно пробираться сквозь людскую массу. Генев последовал за ним.

Вблизи мотоцикл оказался настоящим красавцем. Отличная пригонка деталей, которая не могла ускользнуть от опытного взгляда, хорошая окраска, а самое главное — необычайная форма, нигде и никогда прежде не виданная! Петко смотрел как завороженный. Его толкали со всех сторон такие же любопытные, как и он сам, и, наконец, вовсе вытеснили из круга. Мотоцикл подвергался всестороннему профессиональному осмотру собравшихся. В большинстве своем это были молодые люди. Судя по отрывочным замечаниям и восклицаниям, многие желали бы стать владельцами этой машины, если бы это было возможно.

— А марка? — вдруг спохватился Петко. — Я забыл взглянуть на марку.

— Нет на нем никакой марки, — отозвался чей-то голос. — Мотоцикл проходит испытания.

— Как так испытания?

— Очень просто.

— Здесь какое-то недоразумение, — сказал Петко.

— Марка должна быть, — заметил Генев, стоявший за спиною Боянова.

В это время из подъезда вышел молодой человек, тот самый, который подъехал минут десять тому назад.

— Позвольте, позвольте, — говорил он, врезываясь в толпу.

— Это он, — прошептал Генев и дернул за рукав Петко.

Счастливый обладатель мотоцикла поставил ногу на стартер.

— Одну минуту! — закричал Петко и рванулся к молодому человеку.

— Слушаю вас.

— Будьте любезны, — быстро заговорил Петко, — откуда этот мотоцикл? Мы тут поспорили с другом.

Молодой человек не торопился с ответом. Его бледное худое лицо сделалось серьезным, и он проговорил очень тихо:

— Это наш, болгарский мотоцикл.

— Болгарский? — протянул опешивший Генев.

Петко недоверчиво поглядывал на машину.

— Да, болгарский, — продолжал молодой человек все так же тихо, — о нем написано вот здесь. — Он достал из кармана аккуратно сложенную газету «Отечествен фронт» и обратился к толпе: — Смотрите, сегодняшний номер газеты. 15 сентября. Запомнили? Вот что написано на первой странице: «Первый мотоцикл, выпущенный у нас». Тут же и снимок. Теперь ясно?

Он передал газету Геневу, а сам завел мотор и, как говорится, был таков.

Давно замолк шум мотоцикла, а люди все не двигались с места, словно не в силах были поверить тому, что очень тихо, но очень четко произнес молодой человек.

Петко искал газету, которая уже ходила по рукам. А Генев успел юркнуть к себе в мастерскую и, как видно, не желал показываться на улице. Он был очень и очень смущен.

Петко не стал терять времени на пустые разговоры с Геневым. Ему хотелось поскорее раздобыть свежий номер газеты и непременно сохранить на память.

И он быстро зашагал по улице, которая с детства была знакома, но нынче представилась какой-то особенной. Она красиво тянулась вперед, туда, где скрылся мотоциклист, и утопала в мягкой утренней дымке.

1955

БЕДА

«Ужас! Невиданная от века беда! Кажется, вдребезги разбился небесный купол и осколками усыпает землю!.. О аллах, что делать?»

Руфат Кабадабаев вовсе потерял голову: за каких-нибудь два часа он пожелтел, словно после жестокой болезни. Глаза лихорадочно горят, будто уголья в мангале, руки судорожно сжимаются в кулаки...

Куда идти? Кому высказать свое горе?..

Сердце бешено стучит. Черная пелена злобы легла на глаза. Душа жаждет мести. Именно мести. Только мести! А все-таки что лучше: действовать немедленно или же?..

Аллах, опять это малодушное «или»! Откуда оно? Только кровь способна смыть этот позор. Где нож? Он всегда был под рукой, а нынче, как нарочно, запропастился куда-то! Или, может быть, подождать немного, например час, или два, или же до утра?.. Опять эти проклятые «или»! Не узнает себя Руфат: где же прежний твердокаменный магометанин, верный последователь отцовских обычаев?

Руфат выбегает из дому так быстро, что даже шаткие ступеньки не успевают скрипнуть под ногами. Тропинка крута и коварна, но и она в одно мгновение остается позади Руфата... Скорее подальше от этого жилища!..

В угрюмом молчании стоят высокие горы. Молчат еловые леса. Кажется, и леса и горы собрались вокруг Ру́дозема, чтобы посмотреть, что делается в ущелье, где от сотворения мира не было никакого города, где всегда было тихо и спокойно, где одиноко шумела Арда, где всегда все шло по неписаному закону прадедов, где всегда царствовал крепкий дух старины, казалось, несокрушимый, как буйволовы рога.

Горы Руфату представляются нынче удивленными. И есть чему удивляться даже этим великанам: за каких-нибудь три года вырос из пеленок город Ру́дозем и теперь не вмещается в долине Арды. Крытые

черепицей дома, словно потоки, растекаются меж гор, и перед ними отступают не только девственные леса, а и скалы, дотоле не знавшие силы рук человеческих.

Руфат замедлил шаги: не хватает воздуха для легких. Он знает, это от злобы, а не от усталости. Синьки в воздухе становится все больше. В этот сумеречный час дневной свет исчезает так же быстро, как и заяц на шоссе. Наверху загораются звезды, крупные южные звезды, а навстречу их холодному свету несутся огни Рудозема — яркий свет тысячи электрических лампочек, — и под немигающими лучами отступает мрак в Родопских горах.

Руфату сорок пять лет. Он худощав и смугл, как и тысячи его собратьев-пома́ков, некогда вручивших свои души великому пророку Магомету, а не христианскому богу, как остальные болгары. В последние годы жизнь улыбнулась Руфату и его друзьям: построили Рудозем, а в Рудоземе — фабрику, на которой Руфат зарабатывает немалые деньги. В доме у Руфата зажегся электрический свет, появилось радио, жена приобрела новые ковры... Словом, все складывалось как нельзя лучше.... И вдруг...

И вдруг... такая напасть: как подумаешь, кровь в лицо бросается. Спрашивается: что же теперь делать? Кому жаловаться? Небось отцы и деды не задавали себе таких вопросов. Все было ясно — и ножи сверкали в их руках, кровью смывая позор и ослушание... Нет, с некоторых пор Руфат определенно труслив в семейных делах, нет в нем прежней железной непреклонности главы семейства. Что с ним сделалось?..

Руфат шагает по освещенным улицам, машинально направляется в кафе: там наверняка удастся отвести душу в беседе с неунывающим и веселым Смаилом, старым другом детства.

Руфат уже на пороге кафе: в накуренном зале знакомые лица. Кажется, все они смотрят на вошедшего и злорадно улыбаются: дескать, вот на чью голову пал позор. Что им чужая беда, если говорить откровенно! Разве так уж много в этом зале настоя-

щих магометан, готовых на отчаянные поступки во имя веры?

Как во сне, переступает Руфат через порог и видит своего закадычного друга на обычном месте — в левом углу. Смаил сидит один, голова его свесилась над крохотной чашкой кофе. Нет, Смаил нынче почему-то не шутит с соседями по столику, не смеется громко, а сидит тихо, точно пришибленный.

Однако Руфат не придал особого значения настроению Смаила: собственная беда сильнее, чувствительнее, она заслонила все остальное. Руфат тяжело опустился на стул.

— Смаил, — начал Руфат, задыхаясь от волнения и не глядя на небритого Смаила, — есть у тебя нож?

Смаил выпрямился и отставил кофе подальше от себя: уж очень несуразным показался ему вопрос насчет ножа.

— Нужен очень острый нож, — продолжал Руфат.

Большие пухлые губы Смаила судорожно дрогнули, словно хотели произнести что-то. Но вместо слов до слуха Руфата донесся зубовный скрежет. Руфат же был слишком поглощен своими мыслями и не обратил внимания на это вовсе не пустяковое обстоятельство.

— Смаил, — проговорил Руфат с мрачной решимостью в голосе, — мне надо посоветоваться с тобой. Может быть, выйдем отсюда?

Смаил, не говоря ни слова, встал и двинулся к выходу, предупредив официанта, что скоро вернется.

— Говори, — пробасил он на улице.

— Не здесь. Пойдем к реке. Все должно остаться между нами.

Река была в полусотне шагов. Арда катила волны с шумом, и казалось, что это работает бойкий цех на местной фабрике. В лицо дохнуло свежестью горной воды. И только в эту минуту Руфат подумал: «Отчего такой невеселый мой друг?» — Он взял Смаила за рукав и, заглядывая ему в глаза, нынче

почему-то очень грустные, заговорил неожиданно осипшим голосом:

— Нешуточное дело, Смаил. Вонзи в меня булавку — кровь не пойдет. Зато я знаю, у кого она брызнет фонтаном!

— Что случилось, Руфат?

— Слушай же внимательно... Нет, я не могу...

Руфату очень стыдно, и он тащит Смаила в темень.

— Ну говори, Руфат, говори.

И Руфат с трудом, будто при последнем издыхании, выговаривает слова:

— Она сказала, Смаил... Она решила, что ференджé *... Словом, собирается лицо открыть... И завтра же хочет на фабрике появиться. Прямо в народе...

Смаил молчит. А голос у Руфата окончательно сел.

— Позора такого я не вынесу, — шипит он, — не из таковских я! Я ей сказал: откроешь лицо — получишь нож по самую рукоятку.

— А она что?

— Она смеется.

— Разве она такая бесстрашная?

— Не знаю. Я сказал ей: на фабрику явишься — голову сниму.

— А она что?

— Все смеется.

— Руфат, ты говоришь о своей супруге?

— Да!

— Неужели о своей супруге?

Нельзя сказать, чтобы Смаил хотел поиздеваться над своим другом — это было бы не только жестоко, но и подло в этой ситуации.

— Я тебя спрашиваю вполне серьезно, — говорит Смаил, — это твоя супруга выкидывает дурацкие коленца?

— Я говорю... — шипит безголосый Руфат, — я говорю о собственной жене, шайтан бы ее забрал! Я имею в виду свою многоуважаемую супругу... лю-

---

* Ференджe — чадра.

безную супругу, сто болезней на ее голову!.. А теперь ты доволен моими объяснениями?

— Значит, так: ты грозишь, а она смеется?

— Да.

— Ты о ноже, а она хохочет?

— Да.

— Она уверена, что ты не посмеешь?

— Думаю, что да.

— А сам-то ты уверен?

Руфат чуть не подпрыгивает на месте.

— Кажется, и я не уверен, Смаил. В том-то и вся беда! Иначе я всадил бы нож.

Смаил задумывается. Он берет Руфата под руку, и они идут вдоль берега. Сделав два десятка шагов, друзья возвращаются назад. Руфат с нетерпением ждет, что скажет ему Смаил, что он посоветует в этом почти безнадежном положении.

Вдруг Смаил начинает хохотать. Он хватается за живот и приседает на корточки — такой безудержный смех способен даже с ног свалить... Смаил хохочет и приговаривает:

— Это ужасно смешно!.. Это ужасно смешно!..

Руфат остолбенел и не знает, что делать: обидеться? Повернуться и уйти? В самом деле, как быть? Что это за смех такой?..

...Спустя пять минут они сидели за столиком на обычном месте — в левом углу зала. Смаил говорил очень тихо:

— В мире происходят невероятные вещи, Руфат. Это ужасно смешно, но моя хозяйка обещала поступить точно так же, как и твоя. Сговорились они, что ли? Мне бы следовало убить ее, как и тебе свою. Но я не знаю, что с моим сердцем и моей рукою?

— И я тоже не знаю, — пробормотал Руфат.

Смаил сказал:

— Остается одно, Руфат, чтобы нам в дураках не оказаться: не подавать виду, — мы ничего не замечаем. Понимаешь? Сбросили ферендже? Аллах с ними. На фабрике хотят работать? Аллах с ними. Между прочим, до твоего прихода я тоже не знал,

как мне быть. Но теперь-то я уверен: это единственный и притом самый мудрый выход.

Руфат внимательно выслушал своего друга, несколько раз затянулся сигареткой и после долгого молчания сказал удивительно спокойно:

— Ты так думаешь? Ну что ж, давай-ка выпьем по рюмке менитовки, с нею, по-моему, легче хлебать горе...

1955

*ИЗ РАССКАЗОВ
О ВЕНГРИИ*

САМОЛЕТ ЛЕТЕЛ В СОМБАТХЕЛЬ...

Самолет летел в Сомбатхель — город, расположенный у самой австрийской границы. Будапештский аэропорт Ферихедь, освещенный ярким летним солнцем, проплыл под крылом и потерялся из виду... Теперь можно устроиться поудобней и поразмышлять над предстоящей лекцией.

Но любопытно все же бросить взгляд на пассажиров, в первую очередь, разумеется, на соседей. И режиссер Пал Фёльвари чуть приподнялся над сиденьем. Все кресла были заняты — впереди и сзади.

Рядом с ним занимал место молодой человек лет двадцати трех. Он курил сигарету и перемигивался с пассажиром, сидевшим впереди него, который ерзал в кресле и, в свою очередь, обменивался многозначительными взглядами с другими молодыми людьми, находившимися поближе к кабине летчиков. Вообще молодых людей в самолете было много — более половины всех пассажиров (девять или десять из шестнадцати). Фёльвари обратил внимание, что это были настоящие ёмпецы — будапештские щеголи-бездельники, разгуливающие по улицам Ваци или Ракоци, ярые посетители ночных баров. Была среди них и девушка с модной прической, напоминающей рыженький хвост жеребеночка. Молодые люди время от времени выкрикивали что-то непонятное, переговаривались то жестами, то взглядами, исполненными тупого самодовольства. Словом, вид их, и ужимки, и гортанные возгласы — всё от подлинных ёмпецов, ничего привлекательного. Едут, должно быть, на какой-нибудь футбольной матч или к такому же, как сами они, другу-ёмпецу.

А остальные пассажиры?

Это люди с портфелями, должно быть степенные

отцы семейства, быстро прикорнувшие на мягких креслах.

Фёльвари, удовлетворив законное любопытство, достал из портфеля «Гамлета» и, не раскрывая книгу, попытался прочесть наизусть несколько отрывков.

Уснуть... И видеть сны? Вот и ответ:
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?

И так далее.

А сцена с флейтой? Гамлет говорит Гильденстерну:

Вот флейта. Сыграйте что-нибудь.

Гильденстерн

Принц, я не умею.

Гамлет

Пожалуйста.

И далее:

Гамлет

Эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у нее чудный тон, и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой?..

Самолет продолжает свой путь в Сомбатхель. Моторы мерно гудят. Погода отличная, никакой болтанки. Мысли только о лекции. Фёльвари, можно сказать, уже там, в Сомбатхеле, где ждут его участники творческого семинара. Человек он с опытом, много поработал в театрах... Ученая степень искусствоведа... Печатные труды... Его с интересом ждут в Сомбатхеле...

Голова Фёльвари покоится на белой спинке. Глаза полузакрыты. Жидкие черные волосы аккуратно зачесаны назад. Профиль резко очерчен: большой нос, острый подбородок, пухлые губы.

Роста он невысокого, одет в модный костюм, сшитый из недорогого материала. Плащ оставлен дома — уж больно жарко, чтобы возиться с ним в дороге. И к тому же Сомбатхель — всего час полета.

И он, кажется, чуточку вздремнул или же слишком увлекся «Гамлетом», причем настолько, что на

некоторое время потерял связь с окружающим. Но вскоре эта связь восстановилась, к тому же несколько странным образом.

— Дьер! Дьер! — выкрикнул кто-то из пассажиров.

Фёльвари выглянул в окно, чтобы посмотреть на город Дьер, лежащий на полпути к Сомбатхелю. И в эту самую минуту его ударили по голове. Сначала показалось, что это свалился чемодан с полочки. Однако долго гадать не пришлось: после второго удара Фёльвари потерял сознание.

* * *

Уснуть... И видеть сны? Вот и ответ:
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?

Эти слова не дают покоя.

Они надоедают, возникая то очень-очень далеко, то совсем близко — над самым ухом.

Их кто-то произносит то шепотом, то громовым голосом.

Черт возьми, это невыносимо!

Режиссер Фёльвари с трудом открывает глаза.

Что это? Где он?

Небольшая чистая комната. Кровать. Тумбочка, выкрашенная в белый цвет... Голубоватые стены... Голубоватая вода в стакане... Голубая тишина... А сам Фёльвари — именно он, Фёльвари! — лежит забинтованный. На нем голубовато-белая рубашка...

Нет, это не номер в гостинице! Так что же это, если не номер?

Входит высокий человек в голубовато-белом халате. Он внимательно разглядывает режиссера и говорит по-немецки:

— Вы меня понимаете?

— Да, я говорю по-немецки. Скажите, в чем дело?

Фёльвари привстает на локтях.

— О, вам уже хорошо! — говорит человек в халате. — Я — доктор. Не беспокойтесь.

— Ради бога, в чем дело?

Доктор переходит на скороговорку и понижает голос:

— Вы находитесь в Западной Германии, недалеко от Нюрнберга. Ваши хулиганы овладели самолетом... К вам никого не пускают... Скоро сюда придут. Желаю вам здоровья... — доктор наклоняется совсем низко, — и бодрого духа.

— Где остальные пассажиры?

— Все, кроме злоумышленников, которые вполне здоровы, находятся здесь же, но в разных палатах. Только не выдавайте меня...

— Давно?

— Часа четыре. Желаю всего наилучшего. Я навещу вас.

Доктор приветливо машет рукой, а у самой двери напускает на себя сугубую серьезность. И, видимо, неспроста: на пороге он сталкивается с двумя господами в штатском с небрежно накинутыми поверх костюмов больничными халатами. Они буквально влетают в палату. Каждый берет по стулу и присаживается поближе к Фёльвари.

Разговор максимально деловит, господа, как видно, не желают терять времени, а почему такая поспешность — это пока не известно режиссеру Фёльвари.

— Господин Фёльвари Пал? — спрашивает пожилой мужчина в коричневом костюме с лицом пивовара.

— Да, я, — ответил режиссер.

— Очень приятно. Вы знаете, что находитесь в Федеративной Республике Германии?

— Нет... Но почему же в Германии? Как я сюда попал? Я же летел в Сомбатхель.

Господин с лицом пивовара ухмыльнулся, глаза его превратились в линию. Другой, сухощавый господин с загорелым лицом пловца и большим подбородком, величину которого особенно подчеркивали тоненькие усики, сказал густым басом:

— Не волнуйтесь, вы находитесь в свободном мире, господин Фёльвари. Вот здесь отпечатан текст с просьбой о предоставлении вам политического убе-

жища. Только одна подпись, чтобы не тревожить вас.

Господин протянул бумажку и самопишущую ручку.

— Простите, — сказал Фёльвари, — тут какая-то ошибка. Вы, очевидно, имеете в виду кого-нибудь другого.

— Господин Фёльвари Пал, уверяю вас, никакой ошибки. Мы знаем режиссера Фёльвари — бывшего сотрудника театра «Пигаль» в Париже и цюрихского радио, а еще раньше — театра Макса Рейнгардта. Более того, мы знаем, как обидели вас коммунисты, лишив работы...

Фёльвари перебил:

— Это была досадная ошибка. Виноватыми оказались какие-то чиновники. И они понесли наказание.

Господин с лицом пивовара поморщился.

— Ну, допустим, допустим. Но вы-то теперь в свободном мире и можете делать выбор.

— Выбор? Это серьезно? — воскликнул больной.

— Несомненно. Запад предоставляет полную свободу.

— Так ли это? — обращается Фёльвари к другому господину.

Тот резко кивает:

— Надо поторапливаться, господин Фёльвари. Тут шатаются какие-то венгерские представители. Они прибыли из Бонна и требуют свидания с вами.

— В таком случае выслушайте меня. — Фёльвари берется за голову, ноющую от боли, напрягает силы. — Господа, прошу вас, оставьте меня в покое. Если это в вашей власти, помогите добраться до Будапешта.

Два господина подпрыгивают на стульях.

Они удивлены.

Они поражены.

Они, должно быть, ослышались.

— Нет, господа, — говорит Фёльвари, — вы меня поняли совершенно верно: я еду в Будапешт и как можно скорее...

Фёльвари валится на подушку.

Оба господина наклоняются к нему и наперебой, как торговки на рынке, предлагают:

полную свободу,

большое счастье,

радость и богатство,

свободу творчества,

любые постановки в любых театрах...

Фёльвари терпеливо выслушивает их. А когда убеждается, что господа выговорились, произносит очень внятно:

— Почему вы пытаетесь обмануть меня?

Господа обижены. Ну, возможно ли так говорить? Можно ли сомневаться? Не верить им?..

Они тычут больному бумажку и самопишущую ручку.

Худощавый выходит из себя. Его лицо теряет благообразное выражение деревенского пастора.

— Господин Фёльвари, — цедит он слова, и в голосе его звучит зловещая нота, — вас все равно арестуют там, в вашей Венгрии, — вполне достаточно того, что вы побывали у нас, на Западе. Вас сгноят в тюрьмах. Одумайтесь, господин Фёльвари.

Это продолжается целый час.

Потом господа уходят и вскоре возвращаются снова.

Фёльвари твердит только одно:

— Мне надо домой. Я тороплюсь в Будапешт.

— Послушайте, господин Фёльвари. Все пассажиры, кроме вас, решили остаться в свободном мире.

— Я тороплюсь в Будапешт.

— Все, кроме вас.

— Я тороплюсь домой.

— Все подали заявления и остаются здесь.

— Мне надо домой.

— Это их окончательное решение.

— Я не верю. Дайте поговорить с ними.

— Это пока невозможно. Решайте же, господин Фёльвари.

— Мне надо домой.

— Подумайте.

— Скорее в Будапешт!
— Вас ждет работа... Свободное творчество...
— Мне надо домой.
— Все, кроме вас...
— В Будапешт!
— С вами невозможно разговаривать.
— В Будапешт!
— Послушайте, вы же не коммунист.
— В Будапешт!

Господа срываются со своих мест и выбегают вон.

Фёльвари, бледный, покрытый холодным потом, лежит неподвижно.

Нужны силы. Нужна выдержка. Нужно набраться терпения...

Появляется врач. Он молча подает какие-то порошки, щупает пульс, потом предлагает воду, чтобы запить лекарство.

Уходя, дружелюбно пожимает руку и шепчет:

— Они в бешенстве. Не сдавайтесь, господин.

И скрывается за дверь.

Кто он, этот врач? Как его фамилия, чтобы отблагодарить когда-нибудь за сочувствие и поддержку?

И снова те же господа в штатском, но уже без халатов. Они долго молчат, почесывают подбородки. Постепенно они делаются злыми, вежливости как не бывало... Господа готовы разорвать этого несговорчивого интеллигента, черт бы его побрал!..

* * *

И вот мы сидим в городе Печ — режиссер Пал Фёльвари и я. На лбу его алеет свежий рубец.

— Знаете, что их окончательно вывело из себя? — рассказывает Фёльвари. — Слова Гамлета, обращенные к Гильденстерну: «Что ж вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой?»

— И вас оставили в покое?

— Дня два терзали идиотскими предложениями. И страшно обиделись на Гамлета. Плюнули и ушли. А толстый господин обозвал меня гнилым интеллигентом. На том и разошлись.

Был тихий сентябрьский вечер. Высоко в небе светила луна. Холмы Задунайского края сливались в одну зеленую цепь. Мы пили кофе, и Фёльвари думал о новой лекции, которую предстояло прочитать завтра в труппе местного театра.

1956

В СТЕПНОЙ ЧАРДЕ

— Ну, а теперь небольшая передышка, Ра́ро. Постой здесь рядом с Ке́ше. Видишь, кто завтракает в этой чарде? Да не туда ты, а на окно погляди! Это он сам — Ба́ршош Зо́лтан. Я только выпью кружку пива и поговорю с Золи. Ей-богу, я его переманю. Вот увидишь — на моем поле будет работать Золи. Разве вы не знаете вашего Ференца-бачи?.. Эй, Бу́нди, посиди возле своих старых друзей!

Дядя Ференц, или Ференц-бачи, ударил ладонью Раро по морде. Лошадь, давно уже привыкшая к подобного рода шуткам своего хозяина, добродушно фыркнула и замотала головой.

— Не лягайтесь с Кеше, — продолжал Ференц-бачи наставительно. — Я ведь все вижу и слышу. В крайнем случае Бунди подаст свой голос.

Собака завиляла хвостом и хрипло пролаяла.

Ференц-бачи привязал лошадей к столбу, торчавшему недалеко от ча̀рды — старинной и потому особенно почитаемой степной харчевни. Это одноэтажная постройка с потемневшей черепичной кровлей, пристроившаяся в тени дюжины высоких тополей. Здесь вы всегда найдете что поесть за недорогую плату, получить настоящий гуляш и выпить кружку пива или бокал вина.

Ференц-бачи был невысокого роста, щуплый крестьянин, с большими усами и горбатым носом, настоящий кун — житель Хортобадьской степи, что на востоке Венгрии. Его маленькие, иссиня-чёрные глаза светились ярким огоньком. Одежда на нем была поношенная — такую только и можно надевать в этой

пыльной и горячей степи. Ференц-бачи отряхнул пыль с пиджака, снял мерлушковую шапку и раза два ударил ею по коленям. Приведя себя немножечко в порядок, он оглядел степь перед тем, как войти в харчевню.

Полуденный зной раскалил землю. Степь терялась в почти прозрачной и слегка колеблющейся дымке. Небо было такого же цвета, как и соляные пятна, там и тут проступающие на солончаковой почве.

Старик, казалось, был удовлетворен пейзажем и заковылял к чàрде. Войдя в небольшой зал, потемневший от времени, Ференц-бачи сделал вид, что не узнает Золтана, который сидел за столиком у окна и ел сало с хлебом, закусывая вездесущей пáприкой — крупным, мясистым перцем, сладким, если удалить из него семена. В чарде было почти пусто — всего два посетителя да работник, выдававший еду и питье.

Ференц-бачи постоял немного, словно выбирал место, а затем воскликнул:

— Ах, это ты, Золи?! Добрый день! Как поживаешь?

Золи вытер руки о салфетку, в которую был завернут завтрак, и поздоровался с Ференцем-бачи.

— Спасибо, — проговорил он тихо.

Золтану лет тридцать. Его серые глаза спокойно сосредоточены. Он медленно разжевывает пищу. Лицо у него худощавое, волосы светлые, шея крепкая, рабочая, руки большие, загорелые, грудь атлетическая. Одет он в изрядно замасленный комбинезон защитного цвета, какие обычно носят трактористы.

Ференц-бачи садится против Золтана, не обращая внимания на человека, занимавшего место за тем же столиком, и, судя по всему, столичного интеллигента. Он заказывает два бокала вина и говорит Золтану:

— Я очень рад тебя видеть.

Золтан на минуту перестает жевать.

— Это твои лошади? — спрашивает он, кивая в сторону дороги.

— Мои. Еду в Дебрецен. Там ждет меня брат с телегой.

— Не свалишься? — говорит Золтан.
— Что ты, Золи. Учти, я старый гусар.
— Ага...

Ференц-бачи чокается с Золтаном и тот, не говоря ни слова, пьет, будто так и полагается, чтобы Ференц-бачи при каждой встрече угощал его вином или пивом. А Ференц-бачи приступает к задуманному разговору:

— Пшеница была в нынешнем году плохая. Сам понимаешь — засуха. Кукуруза — так себе. Зато виноград все окупит. На нашей песчаной почве кое-что родится. Уверяю тебя! Послушай, если убрать вовремя, зиму перезимуешь по-барски.

— Пожалуй, — соглашается Золтан.

— Это наверно. Раз я говорю — это, значит, так. Во всей Хортобади знают, что значит слово Ференца-бачи... Давай выпьем... Давненько тебя не видел, едва узнал. Чего похудел?

— Работа.

— Работа? От нее еще никто не худел. Скорее всего заработки. Верно? Сколько тебе платят? Гроши?

— Не сказал бы, — замечает Золтан.

— Ты просто упорный человек, ей-богу... Послушай, иди ко мне — будешь доволен сверх всякой меры.

Золтан пьет вино, пихает в рот кусок хлеба и сало, закусывает паприкой.

— Что мне у тебя делать-то, — говорит Золтан, — я же на тракторе?..

— Сдался тебе трактор! У меня будешь сыт по горло, деньжонок припасешь, состояние понемногу скопишь. Послушай, Золи, я хозяин крепкий, и мне можно позавидовать. Еще по бокалу вина!

Ференц-бачи нынче очень добр. Когда он видит этого Золи, он всегда становится добрым. Ему бы такого вот работничка, и был бы Ференц-бачи счастлив. Он даже не посмотрит на то, что его обвинят в найме рабочей силы. Кулаком его никто не назовет, а середняк он настоящий, стопроцентный. В конце концов можно как угодно объяснить присутствие

Золи — родственник, кум, сват... Выдумки не хватит, что ли?

— Ференц-бачи, — почтительно обращается Золтан, — да пойми же ты, пожалуйста: я работник государственный. Тракторист. Мы уже не раз с тобой толковали об этом.

— Дался тебе трактор! — говорит в сердцах Ференц-бачи.

Вдруг незнакомый посетитель чарды, сидевший рядом, вмешивается в разговор:

— Верно, Ференц-бачи, вы правы.

Старик резко поворачивается к соседу.

Это выхоленный человек в больших очках. Волосы определенно серебрятся. Тонкие черты лица. Сжатые губы, которые, казалось, улыбаются по принуждению. Одет незнакомец в обыкновенный дешевый «баллон» — плащ защитного цвета. На стуле лежат кожаные перчатки и дорожная шапка. «Должно быть на мотоцикле», — решает Золтан.

Ференц-бачи что-то бормочет и умолкает.

— Вы правы, — повторяет незнакомец, откладывая в сторону нож и вилку. — Эти трактора только на нервы действуют. Их специально для кооперативов придумали.

Ференц-бачи и Золтан молчат.

— Я еду из самого Пешта. Видел несколько кооперативов. Я бы не сказал, что они засыпаны зерном поверх головы или утопают в отличном вине.

Золтан ест сало с хлебом и, кажется, вовсе не интересуется незнакомцем, только исподлобья глядит на Ференца-бачи.

— В том-то и дело, — говорит Ференц-бачи, обращаясь к Золтану, а на самом деле имея в виду незнакомца, — многие кооперативы, верно, слабы еще... Ну, а ты, Золи, человек стоящий, тебе работа нужна по плечу и заработок по желудку. На двадцать форинтов в день не разгуляешься.

Незнакомец снова вставляет словечко:

— И дело все-таки не в одних кооперативах. Если подумать как следует — можно и до самого корня докопаться... Пожалуйста, получите с меня.

Расплатившись, незнакомец принимается допивать свое пиво.

— Одним словом, Золи, ты должен подумать очень крепко. Я дело говорю. Поработай сезон, не понравится — пересмотрим условия... Твое здоровье!

Они еще раз чокаются. Золтан молчит и не говорит ни «да», ни «нет». Он, надо полагать, знает себе цену и не желает открывать рот прежде времени. Ференц-бачи заказывает еще вина — только для Золтана. «Надо бить по рукам, — решает старик, — нельзя же тянуть без конца. Этого парня уломать мудрено, но он стóит того, чтобы не пожалеть сил».

Незнакомец достает из кармашка зубочистку и ковыряется в больших, как тыквенные семечки, зубах.

— Прежде всего, товарищ тракторист, — говорит он, прищурив глаза и взметнув кверху чуть прорисовывающиеся брови, — прежде всего надо трезво оценить предложение Ференца-бачи. Не отвергайте его — это мой совет.

— Справедливо сказано! — восклицает старик, притопнув ногой. — Осень на носу: сбор винограда, пахота и многое еще. Ты не пожалеешь, Золи!

Золтан глубоко вздыхает и прячет глаза, словно устыдившись чего-то... Или, может, расставание с трактором показалось ему тяжелым?

— Ференц-бачи, — говорит он медленно и тише обычного, — не надо так... Я не большая шишка... И не стоит меня так долго уговаривать.

— Хорошо, Золи! Не буду. Давай по рукам. Без дальних слов.

Золтан краснеет до самого затылка.

Снова ввязывается незнакомец:

— На вашем бы месте, молодой человек, я не раздумывал. Вам предлагает руку честный крестьянин, уважаемый середняк, как его сейчас называют.

— Это вы правы, — поддерживает его Ференц-бачи, — человек я честный.

— Тем более! Я б на вашем месте, товарищ, плюнул на трактор. И не только на трактор.

Незнакомец встает из-за стола, Ференц-бачи удив-

ленно смотрит на него. А тот неожиданно наклоняется к самому уху старика и что-то шепчет.

— Как?! — вскрикивает Ференц-бачи пронзительным голосом и хватает незнакомца за грудь. — Что ты посмел?

Незнакомец вырывается и поторапливается к выходу. Он бледен, почти дрожит — видимо, не предвидел такого оборота. А Ференц-бачи — за ним.

Через несколько минут Ференц-бачи возвращается злой-презлой.

— Удрал, как мышонок, на своем мотоцикле, — говорит он. — По-моему, это был один из тех... как их?.. провокаторов. Ты знаешь, что он сказал, Золи? Он сказал, что надо, дескать, гнать взашей народную власть. Как тебе нравится этот негодяй? А?

Золтан смеется. Он одобрительно подмигивает обоими глазами — ему понравился на сей раз этот Ференц-бачи.

— Да я обо всем имею понятие, Золи. То, что я не в кооперативе, ровным счетом ничего не значит. Я настоящий крестьянин, и я за новую Венгрию. Ей-богу! А этот молодчик хотел бы снова посадить нам на шею какого-нибудь графа из тех, кто удрал за границу. Значит, и землю снова, пожалуй, тому графу, а Ференц-бачи прозябай по-прежнему. Нет уж, дудки!

Золтан продолжает смеяться:

— Я видел, как ты чуть не ухватил его за полу, Ференц-бачи. Вот уж газанул, трусишка!

— Я бы проучил этого провокатора. Видно, он крестьян за дураков считает.

— Ты молодец, Ференц-бачи.

Ференц-бачи, успокоившись, допивает стакан и собирается уходить.

— А как насчет моего предложения, Золи?

Золтан неопределенно пожимает плечами.

— Не понимаю тебя, Золи. Видно, еще раз придется потолковать с тобой. Ну, прощай, мне надо в Дебрецен.

Старик покидает чарду и направляется к своим животным.

— Ты понимаешь, что случилось, Раро? Тут один тип меня за круглого дурака принял. Как бы не так! Жаль, что он удрал, а то бы изведал хортобадьских тумаков.

Раро замотал головой. Ференц-бачи с сожалением посмотрел на него.

— Если бы ты понимал, Раро, что произошло сейчас в чарде, — говорит старик с сожалением.

Перед тем как вскочить на лошадь, он машет рукой Золи. Но тот уже исчез.

1956

НА КРАЮ НОЧИ

Выстрелы раздались где-то в камышах. Шандор Марки выглянул во двор. Ни свет ни заря. Над Балатоном стоит вязкий туман. Из зарослей доносятся людские голоса.

...Вот еще выстрел...

— Шани, — умоляет Шандора старая Ёржи, цепляясь за рукав мужа. — Поберегись. Подумай хотя бы обо мне.

Но Шандор упрям. Надо же узнать, говорит, что происходит там, на берегу. Неспроста же стреляют.

— Шани, — шепчет Ёржи, — нынче всюду шныряют эти головорезы. Не лезь ты в пекло.

Старик горбится на осенней прохладе. Лицо и руки быстро влажнеют в тумане. В пяти шагах ничего не видно. Но и сидеть взаперти, словно крот в норе, ей-ей, негоже. Надо же поинтересоваться, что происходит у тебя под боком... За последние десять дней черт знает что творится на Балатоне, как, впрочем, и во всей Венгрии. Отовсюду повылазили, точно тараканы, какие-то молодчики, с австрийской границы понаехали автоматчики и хозяйничают себе, убивая честных людей направо и налево.

— Я к калитке подойду и тотчас же вернусь, — говорит Шандор.

— Шани, не ходи... Они и не посмотрят на твои седины.

— Я же только до калиточки.

— Шани.

— Ержи... Бёшке моя, — ласково обращается муж к своей старухе, — я же все-таки мужчина. Стреляют под боком и не казать носа — просто позор.

Шандор, осторожно переступая с ноги на ногу, продвигается к калитке.

Можно сказать, ночь еще, точнее — самый краешек ночи, когда она вот-вот кончится, а до рассвета далеко. Вокруг молочно-серый туман. Липкий. Непроницаемый. Зябко в этакой жиже. Неуютно, как и в эти последние десять дней сумятицы, перекинувшейся из Будапешта на всю страну... Что-то дальше будет?

Вдруг перед самым носом вспыхивает ярко-желтый свет и раздается чей-то грубый голос:

— Хозяин! Марки Шандор!

— Кто там?

— А ну-ка, сюда, да поживее!

Шандор с головы до ног освещен ярким светом. И при свете фонаря ночь становится еще темнее. Вот теперь-то действительно ни зги не видать...

У самой калитки вырастают черные, неподвижные фигуры. Туман вокруг фонаря светится большим, рыхлым комом, рассеивая свет, в котором можно кое-как разглядеть непрошеных гостей...

Их пятеро. Они в беретах, спортивных кожаных куртках. А лиц не разглядеть.

— Марки Шандор? — спрашивает тот, который держит в руках толстый цилиндр фонаря.

— Да, я.

— Вас-то и надо! Вы знали такого — Петё Пала?

Шандор пытается заслониться ладонью от яркого луча.

— Да, я знаю Петё Пала. Это председатель нашего кооператива.

Его обрывают.

— Бывший, Марки, бывший! Можете полюбоваться им — он в камышах валяется.

От этих слов Марки закачался, словно от порыва бешеного ветра. Глаза у него расширяются, и он хватается руками за голову.

— Боже мой, — тихо говорит он, — значит, вы его...

— Успокойтесь, Марки. Все это пустяки по сравнению с тем, что услышите сейчас...

— Кто вы? — спрашивает Шандор. — И нельзя ли убрать этот свет?

Луч скользит книзу и огромным пятаком застывает на земле у самых ног Марки.

— Вы на чьей земле живете, Марки? — спрашивает все тот же голос.

— Как на чьей? На своей.

— Дудки, Марки! Не прикидывайтесь овечкой. Хозяин земли здесь. Он, слава богу, жив и здоров.

Луч фонаря подскакивает и выхватывает из темноты сухощавое бледное лицо с узкими прорезями глаз и бледными, туго сжатыми губами.

— Это господин Эстергази, сын того самого, у которого вы и ваши сообщники землю украли.

— Как так украли?

— Очень просто, Марки. И не только землю в пятьдесят тысяч хольдов, но и все дома.

Шандор огорошен. Значит, сам молодой Эстергази, отпрыск того самого Эстергази?!

Ему говорят:

— Чтобы к утру убрались ко всем чертям, если дорога вам жизнь. О деталях можете посоветоваться с вашим председателем — он близко, в камышах!

Господин Эстергази беззвучно усмехается уголками губ, и в его маленьких зрачках вспыхивают желтые, недобрые огоньки.

Шандор вынужден возразить. Если бы вопрос не о земле — он и слова бы не вымолвил перед этими убийцами Петё, но земля? — она дороже жизни! И тут Марки ничем не запугаешь...

— Эта земля досталась мне согласно реформе. У меня на этот счет есть документ.

Господин Эстергази поясняет:

— С прошлым покончено, человече. Господин Им-

ре Надь решил положить конец безобразиям. Или вы еще спите, Марки? Вы слышали, что в Будапеште революция? Слышали, что там заседает правительство господина Надя?

Марки глядит на незнакомцев исподлобья. Наяву ли все это? Скорее всего ночной кошмар. Это, говорят, бывает во сне на краю ночи — когда ни свет ни заря. Верно, должно быть, случается. Человек, говорят, во сне все видит и слышит, как наяву. Ему кажется, что все правда, а потом рассветает, исчезает туман, и оказывается — ночной кошмар! Ночь порою выкидывает удивительные штучки. Вроде этой, например. Откуда, скажем, взялся этот Эстергази со своими молодчиками? Казалось, давным-давно сгинул он вместе с Хорти Миклошем, вместе со всеми графами и баронами. Черт знает что способна выплюнуть осенняя ночь из своей черной пасти! Верно, кошмар это какой-то. Не иначе...

— Ваши документы, — слышится повелительный голос Эстергази, — можете сохранить себе на память. А землю вернуть без промедления! Если пожелаете, Марки, я беру вас в работники. Об этом необходимо сообщить сегодня же утром. Не позже девяти.

Шандор снимает кепи и проводит по лбу тыльной стороной ладони. Кожа на руке шершавая, словно наждачная бумага. Он хорошо ощущает ее шершавость... Нет, все это наяву, и ни о каком сне не может быть и речи. И потом эти выстрелы. Они звучали в ночи... Значит, погиб Петё Пал... Бедный человек! Сколько он выстрадал, батрача с утра до вечера у этих господ Эстергази. Петё часто говорил нерадивым членам кооператива: «Вспомните помещика Эстергази». И люди, припомнив былое, брались за работу по-настоящему. Так вот, значит, Пала уже нет...

— Господин Эстергази, — возражает старый Шандор, — в этой хижине живем я и моя старуха. Мы немало сделали добра вашему батюшке. И несправедливо прогонять нас с этой земли. К тому же и закона нет...

Один из молодчиков тычет Марки под нос дуло новенького автомата.

— Ну-ка, старик, понюхай. Что, приперчено?

Человек с фонарем глухо смеется. Ему смешно оттого, что старик машинально отпрянул от дула и с головы при этом слетела кепка.

— Ну, каков закон? — справляется Эстергази. — Правительство господина Надя опирается на настоящий закон. Ясно вам теперь, Шандор-бачи?

Шандор трет рукавом кепку и снова нахлобучивает ее на голову.

— Значит, утром? — справляется Шандор.

— Не позднее девяти.

— И с вашей стороны никакой милости не будет, господин Эстергази? Мы же старики....

— Нет, — отрезает Эстергази.

Фонарь светит прямо в глаза Шандору-бачи и вскоре гаснет. Люди поворачиваются и уходят. Подкованные ботинки глухо отдают в ночи.

И вот уже исчезли ночные посетители. Над Балатоном — туман. В камышах — молчание. Вокруг сплошная темень, но не полуночная, а предутренняя, когда время приближается к самому краю ночи, когда вот-вот забрезжит рассвет...

К Шандору приближается старуха. Она испуганно озирается вокруг.

— Шани, кто приходил к нам?

— Ударь меня, Бёшке.

Старуха не понимает его.

— Что ты говоришь, Шани? Как это так ударь?

— А я говорю, ударь. По щеке.

Старуха трясет мужа. Она чуть ли не рыдает.

— Что с тобой, Шани?

Шандор-бачи опирается плечом на частокол и ни слова не говорит. Молчит.

«Такая бурая вперемешку с дегтем темень, — думает Марки. — Именно в такие ночи и случаются кошмары. А между тем все это правда...»

— Бёшке, все это правда... Сюда приходил сам сынок Эстергази. Он предложил нам убраться отсюда. Говорит, кончилась ваша власть. Вон и Петё убит. В камышах лежит.

Старуха тихо плачет.

— Боже мой, — говорит она, — что же теперь будет?.. Что с нами станется?..

Шандору все еще не верится. Ему нужны вещественные доказательства. Побольше доказательств! Кошмар обычно кончается и проходит порою без следа. Надо все проверить... Вот они стреляли. Надо пойти и посмотреть. Это здесь, у маленькой пристани...

— Идем, Бёшке, идем...

Старики медленно шагают по тропе. Вокруг — камыши. Шандор зажигает спичку и оглядывается. Нет, не здесь...

Небольшая прогалина. Камыши отступают к болотам...

Снова чиркнула спичка.

— Смотри, — дрожащим голосом говорит старуха.

В сторонке виднеется что-то темное, большое. Похоже на спящего человека, раскинувшего руки по сторонам.

Шандор делает еще несколько шагов, наклоняется и зажигает новую спичку.

— Это он, — говорит Шандор, задыхаясь, — Петё Пал.

Потом возвращается к старухе и крепко обнимает ее. И они неподвижно стоят несколько минут перед телом богатыря Пала Петё.

— Хороший был, хороший, — шепчет Шандор-бачи, — добрый, энергичный... Значит, все это правда, Бёшке... Дела, значит, пошли прахом. Снова Эстергази, снова Хорти... Кончилось доброе время...

— Не может быть, Шани, не может быть...

— Нет, все может быть. Ты видишь Пала? Это они убили его. Видишь, лежит и не двигается. А ведь без дела и минуты не мог просидеть. Нет, Бёшка, это не кошмар, а несчастье...

Вода на Балатоне не шелохнется. На нее тяжелым грузом давит влажный туман. Край ночи — пора кошмаров. Но скоро встанет солнце, разбудит оно дремлющие ветры и разгонит туман. Что-то тогда будет? Подымется Петё как ни в чем не бывало, или кошмар утвердится навсегда?..

Наверное, надо похоронить мертвого. Но нельзя одним. Надо, чтобы видели все. А сейчас необходимо покрыть простыней. Да, Ержи сходит за покрывалом. Бедный Пал, как печально закончилась его жизнь...

— Не плачь, — утешает жену Шандор. — Не плачь, Бёшке.

А у самого теснит дыхание. А у самого слезы бегут по щекам... А у самого сердце щемит от нестерпимой боли...

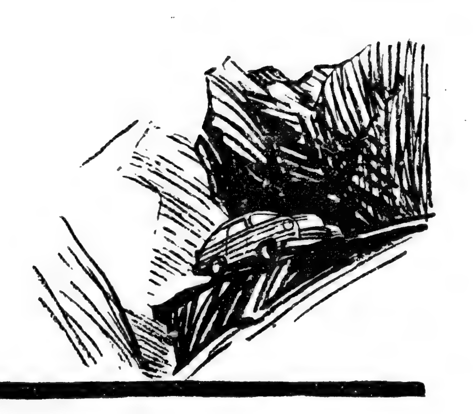
Всего три дня пролежал в земле Пал Петё. Всего три дня и три ночи... Встало, наконец, над Балатоном утро, рассеялся туман. Нет ни Хорти, ни Надя, ни Эстергази! Их как не бывало...

Яркое ноябрьское утро. Солнце бьет в глаза. На тихой озерной глади — одинокий парус. Голубая дымка на том берегу.

И только свежая могила свидетельствует о том, что всё это было, было именно в ту самую ночь. Осиротевшая семья Пала Петё свидетельствует о том же. И Шандор. И Ержи. Да разве только они?

1957


Очерки



ПОПУТЧИК

Горы Абхазии высокие, многие из них покрыты вечными снегами. Снега оттенены темно-синим небом, сочной зеленью альпийских лугов, вечнозелеными растениями юга...

Горная дорога.

Она вьется среди отвесных рыжеватых скал. Слева от нас — провал: черная, бездонная пропасть.

Кусок синего неба вверху, а вокруг — рыжие камни: камни справа, камни впереди и камни за спиной. Это и есть Волчий Зев...

— Волчий Зев? — спрашиваю я.

— Разве ты не слыхал о нем?

Мой случайный попутчик в горах Есна́т Ануа осторожно кладет наземь деревянный ящичек. Горцу лет шестьдесят. Лицо у него от горячего солнца стало коричневым, табачного цвета, лоб сморщился, а волосы и борода завились в редкие кольца. Он поясняет:

— Волчий Зев — это княжеская застава. Бывшая застава. Идешь, скажем, в город — клади мзду; возвращаешься домой — отдавай половину добра. Волчий Зев — это месть. Скажем, твоя жизнь помечена невидимым крестом рукою князя Маршан — и ты летишь в пропасть. Волчий Зев — это слезы и кровь. Волчий

Зев — это царский волчий закон. На этом самом месте погиб Григорий Боуа. Он был силен, но князья оказались сильнее гордого крестьянина... Нет, ты не знаешь, что такое Волчий Зев! Это наше прошлое, это голод и страх, это холод и мрак...

Я подхожу к самому краю обрыва. Я бросаю камень — он летит в пропасть, летит, словно в пустоту вселенной. Оборачиваюсь — вижу спокойные глаза старого горца — глаза под широкополой шляпой.

— Теперь ты знаешь, что такое Волчий Зев.

— Приблизительно, — говорю я и отхожу от пропасти.

Ануа угощает меня табаком.

— Свой, — рекомендует он, — попробуй.

— А куда ты держишь путь, Еснат?

— Домой.

— А далеко ли?

— Сделай три шага, не поленись...

Мы огибаем скалу, огромную рыжеватую глыбу в миллион тонн, всем своим грузным корпусом нависшую над дорогой. Перед нами — зеленая долина, шумливые молодые рощи, вечнозеленые мандарины и длинные ряды беленьких домиков.

— Это село Арас, — говорит Ануа.

— И ты живешь здесь?

— Да. Но раньше мы жили там... — И Еснат указывает рукой на каменные склоны гор, куда сернам нелегко добраться. — Сидишь, бывало, у себя, точно в логове. Прячешься подальше от княжеского взора. Наверху — ни воды, ни земли, пригодной для пахоты. Внизу, под тобой, — Волчий Зев... А нынче мы живем в долине...

Ануа гордо произносит слово «мы».

— Живем точно в городе: у каждого электрический свет, у каждого во дворе кран — почти что родник...

У Есната глаза суживаются, поблескивают задорными огоньками.

— Послушай, — говорит он, — может быть, ты слыхал о том, как прежде наши семьи в летние меся-

цы уходили в леса? Они шли на поиски кислицы и дикого каштана.

— В леса?

— Не хватало кукурузы, понимаешь? А есть надо было. Вот и уходили, а потом возвращались к скудному урожаю.

— Ясно.

— А теперь? Нет того села в помине! — Еснат подбоченился и выпустил клубы сизого дыма. — Наше село не из последних, милости просим к нам! В кукурузе никому не уступим — тысяча пудов с гектара. Каково? В работе тоже не уступим... А еще радио устроили. Есть телефон... И больница своя. А захотел врача из города — звонок по телефону, послал машину — и доктор тут как тут! А раньше, бывало, три дня до фельдшера добираешься. А школа у нас какая! Что твой дворец!.. Что еще? Вот лимоны неплохие есть. Прошлой зимой девять градусов мороза выдержали. Это наш сорт, арасский... Есть и кино и книжная лавка — тоже колхозная. Может быть, ты взглянешь на наши машины?

Из-за поворота показалась «Победа». Фыркнула она, словно конь, и покатила вниз по дороге.

— Легка на помине! Тоже наша машина.

— А что ты несешь, Еснат?

— Вот это, что ли? — Еснат открывает зеленый ящичек и достает оттуда небольшой прибор, сверкающий медью и стеклом. — Микроскоп, — говорит Еснат. — Проверяем зерна и листья: что лучше — нам, что похуже — чертям!

— Значит, ты проверяешь зерна?

Старик вздыхает.

— Нет, — говорит он, — не я, а наш агроном. Ты понимаешь, не довелось мне поучиться в молодости. В горах школы не было, да и не в чем было на людях показаться: одежда — рвань, ноги — босые... Ну, а ты к нам, что ли?

— Да, к вам.

— Ну что ж, идем — не пожалеешь, а нам краснеть перед тобой не придется...

Мы шагаем вперед широкой, укатанной дорогой,

где, бывало, прежде и двум козам не разминуться. Мы идем мимо столбов электрических, мимо столбов телефонных, держим путь к школе, от школы — к клубу, идем мимо клуба — в правление колхоза. А ведь каких-нибудь двадцать-тридцать лет назад эта местность считалась настоящей преисподней!

Еснат крепко прижимает к своей груди зеленый ящичек, словно несет любимое дитя. Старик касается плечом моего плеча, и мы идем вперед. Вглядываясь в Арас — одно из сотен тысяч сел нашей Родины, — вдумываясь в слова своего попутчика, слова советского человека, я уже ясно вижу день завтрашний — яркий, величавый, щедрый день коммунизма, в котором обязательно поживем все мы: и старый Еснат, и вы, и я.

Гульрипш, 1951

В ГОРАХ

Посередине зеленой поляны — огромное, широколиственное дерево. Оно с достаточной точностью обозначает геометрический центр абхазского села Ачанда́ра. Село кажется обращенным лицом к морю, ибо все дома, словно сговорившись, глядят фасадами на юг; за спиною Ачандары — горы, почтительно выстроившиеся. Эта почтительность седовласых исполинов едва ли кого-либо смутит: село-то, сказать по правде, тоже не молодое; немало оно хлебнуло горя при князьях да дворянах, немало пролилось тут крестьянской крови и пота. До советской власти в этом селе не было ни одного грамотного крестьянина...

Однако не возрастом своим, не голубыми туманами, стелющимися у подножия хребтов, не чинарами примечательно нынче это село, хотя и возраст, и туманы, и чинары не могут не вызывать к себе уважения. Село привлекает новью, трудовой доблестью горцев, богатством и знатностью колхозных дворов...

Душный августовский вечер.

На поляне перед школой — большое оживление.

Под деревом сооружают подмостки, устанавливают трибуну, которую доставили из клуба школьники, расставляют скамьи, подвешивают электрические провода к дереву... Село Ачандара отмечает годовщину смерти Александра Пушкина.

— Клуб не может вместить всех желающих, — объясняют мне хозяева, — решено проводить вечер под открытым небом.

Всходит луна. Ее появление кажется сигналом: вдруг со всех сторон повалили толпы людей. И под деревом стало тесно и шумно.

Вечер открылся вступительным словом директора школы. Сначала он говорил с некоторым напряжением, подбирая слова покрасивее, наизусть цитируя стихи поэта. Но скоро он перешел на обычную крестьянскую речь — образную, пересыпанную пословицами.

После директора один за другим выступали гости — молодые поэты, приехавшие из города. Они читали переводы пушкинских стихов. Из публики неслись «заказы», назывались любимые произведения...

Когда вечер подходил к концу, попросил слова старик. Его звали Батал. Он говорил, опираясь на длинный посох.

— Большое вам спасибо, — сказал он поэтам, — однако, я полагаю, вам было бы приятно послушать и наше чтение.

Его прервали односельчане: дескать, неудобно выставлять своих чтецов, словно напоказ. Но гости настояли — и предложение Батала было принято.

— Нину, Нину! — послышались возгласы.

Между рядами стала протискиваться девочка лет пятнадцати. Она поднялась на трибуну, на минутку задумалась и начала читать стихи.

Она читала «Кавказ» Александра Сергеевича Пушкина, читала на своем родном языке.

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины...

Баталу, как видно, эти стихи понравились. И он громко проговорил:

— Хорошо начато, ей-богу хорошо!

Но и конец стихотворения, должно быть, всем пришелся по вкусу: собрание бурно аплодировало девочке, требовало еще новых стихов.

— Сама знаешь каких! — кричали ей.

Девочка понимающе улыбнулась, и среди гор зазвучали бессмертные слова.

Я помню чудное мгновенье... —

читала девочка, и все слушали ее затаив дыхание.

Сверху лил голубоватый свет луны. Просочившись сквозь листву, он ложился круглыми пятнами. Я видел лица тех, кто слушал стихи. Я видел глаза, в которых отражалось волнение горячего сердца...

— Нравится? — спросил я Батала.

— Мне кажется, — сказал он, — что кто-то взял мое сердце в теплые руки и гладит его нежной ладонью...

Старик взглянул на меня вопросительно: он не был уверен в том, что достаточно ясно выразил свою мысль.

Мы сидели под широким небом, залитым лунным светом, мы были на земле, которой очень много лет, под деревом, которому тоже немало лет...

Но когда, в какие времена слышались здесь пушкинские стихи? Какая же изумительная сила свела воедино путь великого Пушкина и путь маленького села, затерянного в горах? И я невольно думаю о ней, об этой могущественной силе — о нашей чудесной советской жизни...

Поздно. Августовский звездопад обилен, как всегда. А слова Пушкина все еще звучат среди гор, все звучат...

Гудаута, 1952

В КРАЮ ПОМОРОВ

В эти дни над Мезенской губой светит летнее полярное солнце. На какой-нибудь часок оно слегка коснется моря и снова тянется вверх по крутому небу.

В поморском краю тепло. Зеленеют березки. В тундре, которая почти вплотную подходит к берегу моря, тоже зелено: по земле стелются брусника, жесткая стиха или сиха, а меж ними олений мох — ягель и нежная морошка. Только на крутосклонах невысоких сопок да в неглубоких овражках все еще тают не растают плотно слежавшиеся за зиму снега.

Село Койда расположилось в широком устье реки Койды. Это сотня бревенчатых изб. Избы крепкие, ладные, многие из них в полтора и два этажа. На улочках — деревянный настил. Во дворах тоже настилы, ходишь как по комнате. Сойдешь с настила — под ногами пружинистая, тундровая почва. Лучшие дома на селе — больница, школа, клуб, почта и телеграф...

Время прилива...

Вода прибывает с каждым часом. Нынче ранним утром на «живой воде» уходят на тони койденские рыбаки. Это о них ходит молва в северных краях: «Койда три года на славе проживет». Верно, славились рыбаки и зверобои Койды, славятся они и теперь своим умением, бесстрашием, дружбою с морем и в летнюю пору и в полярную суровую зиму...

На реке в это утро шумно: рыбаки грузят на карбасы свое имущество. Они уходят на прибрежный лов, уходят надолго в свои рыбачьи станы или, как здесь говорят, в тонские избы.

Рыбаки и рыбачки в высоких кожаных сапогах — бахилах. На поясах — широкие ножи. Это крепкие, загорелые люди, «нюхом чующие», где рыба. Мужчины неторопливо складывают сети, хозяйски просматривая их.

Многие койденские рыбаки уплыли на Баренцево море, к берегам Мурмана. Иные направились на полуостров Канин, к Шойне. Но не менее важен прибрежный лов, особенно сейчас, когда идет семга — ценная рыба Севера. Самые лучшие семужьи тони у Потапкина. От него и в нынешнюю путину ждут много семги.

Бригада Потапкина грузится на один из карбасов, стоящий под крутым бережком. Аккуратно уложены новые невода, полученные из Мезенской моторно-рыболовной станции. Вдоль бортов лежат тщательно об-

струганные стояки: будут устанавливать новые ставные невода.

Потапкин заглядывает в блокнот: как будто ничего не забыто.

Этот высокий, стройный человек из бывших пограничников. Родом он из Рязани. Четверть века назад решил остаться на Севере. «Всем поморам помор», — говорят о нем койденские рыбаки. Волевой, трудолюбивый рыбак пользуется в Койде, да и не только в Койде, а на всем Зимнем берегу, заслуженным уважением. От него, как говорят, рыба никогда не уйдет, и море ему ближе родного дома...

— Ну, кажется, с ловецкими делами покончили, — говорит Потапкин. — А теперь давай культуру! Где баян?

— Баян на месте, — отзываются из карбаса.

— Радиоприемник?

— Несут!

К реке бегут две девушки: одна из них несет приемник, а другая — связку книг и журналов.

Потапкин просматривает книги.

— Что так мало?

— А нам подошлют еще.

— Журналы, газеты... А не старые?

Убедившись, что и журналы и газеты свежие, Потапкин идет к карбасу.

— Отталкивайся от берега...

— Патефон не раздавите! — предупреждает одна из девушек.

Карбас медленно уходит на середину реки. Вслед за ним плывут и остальные бригады, направляющиеся на семужьи тони, что в районе Большой Кеды́, в тридцати километрах от Койды.

А на берегу работает Малыгин. Ему семьдесят три года. Он строит моторный бот. Дело идет к концу — хоть ставь машину и выходи в море.

— На семгу поехали, — говорит Малыгин, провожая взглядом рыбаков. — В Кедах-то первые семужьи тони.

Это здоровый, краснощекий бородач. Многое перевидел он на своем веку, в разных северных местах по-

бывал, и не раз и не два «на кромке», то есть на краю вечных льдов в Ледовитом океане.

— Проводили и этих, — говорит он, — а недавно провожали наших на Мурман. Те, значит, в море, а эти — на прибрежном лове. Порой диву даешься — ведь никому и в голову не придет: не отнимет ли добычу море? А ведь бывало...

Малыгин кладет в сторону топор, расправляет бороду и глубоко вздыхает.

— Что же бывало?

— Многое бывало... Шли на зверя, скажем, морского на карбасах — на веслах или парусах. Карбас занимали у богатых, добычу с ними делили. Они-то, богатеи, сидят дома, водку себе пьют, а ты на льду живота своего не жалеешь. Хозяину отдавай половину, а то и побольше... Уходишь, бывало, в море, а семья чуть не навзрыд плачет. Кто его знает, вернешься или нет? Вот тоже в покрут ходили — на паях, стало быть. Можно сказать, голой рукой брали и зверье и рыбу... А ежели добычу море отнимало? Море, знаете, было наше горе. Помню, перед революцией койденские рыбаки захотели на корабле попромышлять. Деревню заложили, всю Койду! Слава богу, была добыча, а ежели бы нет? Значит, лети Койда с молотка! Вот оно, прежнее житье-бытье поморское.

Старик снова принимается за работу. Надо кончать карбас: не сегодня-завтра привезут мотор.

— А вы поинтересуйтесь нами, сегодняшними поморами, — говорит он. — Вон там, за углом, правление нашей артели. Да посравните с тем, что было прежде...

И койденский кораблестроитель с силой заколачивает огромный гвоздь в штурманскую карбаса.

* * *

Рыбаки села Койда объединены в артель. В эту же артель входят и рыбаки села Майда, находящегося от Койды примерно километрах в пятидесяти. И Койда и Майда — на Зимнем берегу (Зимний берег — это

если идти от Архангельска на северо-восток, к Канину; Летний — на запад, к Онежской губе).

Более полутораста рыбаков трудится в артели. В большинстве своем это коренные поморы, безгранично любящие свое дело. В колхозе крепкая партийная организация. Она ведет работу и на далеких промыслах, и на прибрежном лове, и на селе. Коммунистам помогают комсомольцы...

Старики говорят, что нынче море стало другим. А сделалось оно другим, потому что поморы не те. Нынешний помор — это человек прежде всего грамотный, культурный, постоянно читающий газеты, журналы, книги, человек, изучивший на курсах какую-нибудь профессию (капитана, механика, моториста).

В Койде — большинство Малыгиных, так же как в Майде — большинство Котцовых. По всему берегу до самого Канина и острова Колгуева славятся койденские капитаны рыбачьих сейнеров и мотоботов. Коммунист капитан Малыгин плавает на боте своего же имени «Капитан Малыгин». Имя боту было присвоено приказом министерства за трудовые заслуги капитана. Другой Малыгин водит сейнер «Пескарь»... Словом, немало знатных людей среди Малыгиных.

Раньше бывало так: родится человек в Койде, и вся его дорога и вся его жизнь — от села до Мурмана, а то и ближе. И все дело его — тяжелая неводьба или зверобойный промысел, полный опасностей. А нынче перед койденскими людьми — широкий путь. Выходят из Койды и капитаны и штурманы. И не только они: и фельдшеры, и учителя, и кораблестроители выходят.

Канули в прошлое и рыбачьи избы по-черному, где дым глаза ел, и безденежье лютое, и беспросветная бедность. Нынче рыбацкая семья живет в опрятных, светлых, хорошо обставленных комнатах. Обои, красиво сложенные русские печи, пузатые блестящие самовары, высокие белоснежные постели — это в каждом доме. Книги и радио, газеты и журналы — непременная принадлежность каждого дома. И это у самого Полярного круга, в местах, некогда затерянных и, казалось, забытых всеми!

Артель снабжается ботами и новейшими материа-

лами Мезенской моторно-рыболовной станцией. Резко изменился характер самого промысла поморов. Сейчас рыбаки нередко промышляют на ледоколах, мощных кораблях, помогает им авиация.

Рыболовы занимаются также и «сухопутными» делами, не чураются их. Колхоз располагает большим стадом оленей, много коров, лошадей, овец.

Село Койда имеет свою больницу, хороший клуб, радиоузел и отличную библиотеку в несколько тысяч томов.

Мы разговаривали с преподавателями койденской школы. В этой школе, по словам одного рыбака, целая «бригада» учителей, а не один, как это было некогда. Действительно, в школе работают девять молодых педагогов, обучающих более полутораста детей. Своей школой располагает и село Майда, которое почти вдвое меньше Койды.

В Архангельске, в краеведческом музее, мы познакомились с «Обзором Архангельской губернии» за 1911 год. В то время во всей Архангельской губернии работало всего 45 врачей (сюда входила и нынешняя Мурманская область). На весь Мезенский уезд приходился один врач! Сейчас в Мезенском районе 16 врачей. Если взять только лишь один Ненецкий национальный округ, составляющий часть Архангельской области, то врачей здесь ныне 55, то есть больше, чем во всей Архангельской губернии до революции! А в области — более тысячи врачей!

Во всей Архангельской губернии обучалось около 32 тысяч детей. Сейчас в области учится около 150 тысяч детей, причем школы работают в самых отдаленных уголках тундры. В одном ненецком национальном округе около 60 школ и почти четыреста учителей. И это там, где прежде вовсе не было школ!

Сохранилось в памяти народа много рассказов о том, как горько и трудно жилось рыбакам. Еще хуже было казакам и казачихам, как называли здесь работников по найму. В одной народной песне поется:

В казачихах будешь жить,
Надо каждому служить,

Старому и малому,
Среднему, последнему...

Женская доля была мрачной, беспросветной.

С приходом советской власти круто переменилась судьба женщины. Женщина-поморка, которая прежде томительно дожидалась своего «счастьюшка», была лишена грамоты, теперь стала подлинной хозяйкой в своем краю. Она может смело выбирать свою дорогу в жизни, идти своим путем. Нынче ходить в море — не горе мыкать, как бывало прежде. На судах плавают и женщины.

* * *

Северная погода переменчива. Тепло, солнечно, море спокойно... Вдруг подует ветер, набегут тучи, море вспенится.

Или неожиданно наступит полный штиль, падет на море туман. Надолго ли? Неизвестно. Может случиться на сутки, а может быть и так: откуда ни возьмись выскочит шальной арктический ветер, мигом развеет туман.

Или набегут посреди ясного дня тучи. Пойдет дождь. И радуга вырастает у самых твоих ног и тянется от тебя вверх, опоясывая небо.

В один из таких переменчивых дней мы и побывали в стане Поповой. Был час прилива, ставные невода, как и должно, залило прибоем. Женская бригада собралась в избе на отдых. Тяжелая рыбацкая одежда сменена на легкую. На ногах вместо бахил тонкие капроновые чулки и изящные туфли. Бригада чаевничает. Нас приглашают к столу. Трудно отказаться от аппетитной тепушки — плоского ржаного хлебца, приготовленного на молоке и сметане.

Нас угощают северной камбалой, свежей розовой икрой пинагора.

Попова ставит на стол самовар, придвигает к нам конфеты, сахар, масло. Загорелое и обветренное лицо рыбачки, которое полчаса назад там, на берегу моря, казалось суровым, мужественным, в эти минуты домашнего хозяйствования исполнено доброты и женской заботливости.

Глядишь на нее и поражаешься ее могучей внутренней силе, неиссякаемой энергии. Она воспитывает пятерых дочерей. Муж ее погиб на фронте. Все умеет эта рыбачка: готовить вкусные тепушки, бить зверя на льду, штопать тонкие чулки и шить непромокаемые бахилы, складывать печь и ловить семгу. Она не раз ходила «на зверя», рыбачила у далекого Мурмана...

Она говорит тихим, грудным голосом, вспоминает тяжелую пору, когда осталась одна с малыми дочерьми.

— По прежним, стародавним временам быть бы мне в казачихах, — замечает она, — всю бы жизнь горбатить спину перед чужими людьми...

Дочери ее обеспечены всем необходимым, учатся грамоте. Две старшие уже работают. Это колхоз помог вырастить их.

— Может, вы знаете мою старшую? Она нынче в Прорывах, недалеко от Кеды.

Пока мы беседуем, одна из девушек время от времени выходит к крутому берегу и поглядывает на море. Вода понемногу отступает: начинается отлив. С каждым часом берег делается все шире и шире. Обнажаются невода...

Ловецкая бригада снова одевается по-рыбачьему. Приходится спускаться по плотному снегу. Девушки вырубили в снегу ступеньки, устроили перила. И вскоре вся бригада — по колено в воде среди неводов.

— Семга пошла!

В одном из углов, образованных неводами, вода закипает, словно в горшке. Попова хватает рыбину и оглушает ее ударом деревянной чушки.

Бригада работает слаженно, не теряя ни минуты. Одна из девушек берет дубец — гибкий еловый прут, стянутый веревкой в виде буквы «С», и начинает им чистить невода.

Вдоль берега, направо и налево, на многие километры растянулись тони колхоза. Одна из бригад, которая ловит рыбу на мысу Воронов, находится у самого Полярного круга.

...Идут карбасы. Они торопятся, чтобы на большой воде прийти на приемный пункт. Этой ночью десятки центнеров рыбы будут доставлены в Койду.

Мы усаживаемся в шлюпку. За весла садится старый рыбак — один из многочисленных койденских Малыгиных.

— Ну как, понравилось в нашем краю? — спрашивает он.

— Очень понравилось.

Рыбак хмурит брови. Сделав несколько взмахов веслами, он говорит:

— Сказать по правде, хороша теперь Койда, а могла быть и еще краше! Разве трудно нам было построить год или два назад электростанцию? Или денег у нас мало? Или в машине отказало бы государство? Не умеем мы порою хозяйствовать как надо, вот что! Или взять наши улочки. Что, мы не могли бы посадить березки? Да вон они, за рекой! Много молодых рук, пожелай — и деревья зацветут перед избами. По моему разумению, надо так: хорошо живется, а добивайся еще лучшего! Верно говорю? Вот ежели бы нам из района или области почаще подсказывали хорошие мысли...

Полярное солнце «восходит», то есть идет вверх от горизонта, к которому только чуть прикоснулось краешком. Нас нагоняет моторный бот. Оттуда доносится музыка.

— Москва поет, — поясняет Малыгин, налегая на весла.

Бот тянет большущий карбас, нагруженный тюленьими тушами. В ожидании шхуны из Архангельска бот бросает якорь против мыса Юроватого, недалеко от устья реки Койды.

Рыбаки с мотобота, завидя нас, машут руками, и кто-то из них переводит приемник на полную мощность. Песня из Москвы, пробежав сотни километров, громко звучит на просторах Мезенской губы. Багрово-красное солнце поднимается все выше. Дует свежий ветер.

— Может, дождаться большой воды? — спрашиваем мы у Малыгина.

— Ничего, — отвечает Малыгин, — пройдем и на этой. Нам не страшно.

Море спокойно. Над нами пролетают испуганные плеском весел морские утки. Вытянув длинные шеи, они быстро-быстро машут крыльями.

Койда—Архангельск, 1953

БУХАРА

В детстве у моего изголовья висела большая карта Российской империи. По ней я изучал названия городов, рек и морей. Но чаще всего глядел на непонятную желтизну закаспийского края, где, как писали в учебнике географии, нет воды, где сплошные необозримые песчаные просторы. Запомнились загадочные названия: Усть-Урт, Кызыл-Кум, Кара-Кум, Хива и особенно звонкое — Бухара. Несколько позже я узнал из книг, что все это означает, узнал, что Бухара — город, в котором обилие стоячей воды в грязных хаузах — бассейнах и недостаток свежей проточной. Летом там сильная жара. Скученность построек, соседство множества кладбищ, масса пыли и грязи, носящейся по воздуху, делают жизнь в городе весьма тяжелой и вызывают болезни — лихорадку и ришту. Узнал, что в Бухаре 75 тысяч жителей и что правление там деспотическое, во главе с эмиром... И я продолжал с удивлением рассматривать на карте желтизну, начинавшуюся вслед за яркой голубизной Каспийского моря.

...С особым чувством любопытства летел я из Ташкента в Бухару, в этот город, насчитывающий примерно двадцать веков своего существования. Бухара с ее оазисом расположена на стыке двух пустынь — Кызыл-Кум и Кара-Кум.

Земля здесь скупа. Требуется большое усилие, чтобы заставить легко поддающуюся засолонению почву служить трудовому люду. Отдельные участки сверху кажутся заснеженными. Их придется тщательно промыть чистой водой из каналов и таким обра-

зом, избавившись от соли, подготовить поля под посевы.

Город встретил нас новыми домами, выстроенными совсем еще недавно. При въезде со стороны железнодорожной станции Каган по левую руку стоит здание сельскохозяйственного техникума, чуть подальше от него — здание женского педагогического училища. А напротив, на соседней улице, находятся хлопкоочистительный и маслобойный заводы.

Бухара сегодня — крупный культурный центр Узбекистана. За годы советской власти здесь сделано очень много для того, чтобы вывести город из состояния средневекового феодализма. Это, пожалуй, не столько касается внешнего облика города, сколько внутреннего мира его жителей.

Город насчитывает до полутора десятка общеобразовательных школ. Здесь работают педагогический институт, медицинское и музыкальное училища, выходят газеты, есть узбекский музыкально-драматический театр.

Особенно радует прекрасная библиотека имени Абу-Али Ибн-Сины. Она находится в просторном особняке, на ее полках — свыше полутораста тысяч томов. В библиотеке работают молодые люди, окончившие институты в Ташкенте и Москве. Здесь вы можете найти не только печатные издания, но и отличные копии многих редких старинных рукописей. Внутренний двор здания, устроенный в восточном стиле, весь покрыт зеленью и пышными цветами. В читальном зале всегда много посетителей. Большей частью это учащиеся школ и техникумов. Но библиотека эта не единственная. Бухара располагает еще десятком других библиотек, разбросанных в разных местах.

Очень любят бухарцы свой тенистый парк культуры и отдыха. Вечерами аллеи парка заполнены старыми и молодыми горожанами, которые, к слову сказать, жалуют также своим вниманием несколько улиц в центральной части города. В часы досуга там много гуляющих, одетых в яркие национальные костюмы.

От старого мира осталось в Бухаре немало памятников культуры. На высоких башнях и минаретах по-хозяйски обосновались белые цапли. Летом молодые аисты часами неподвижно стоят на краях своих прочных гнезд, сплетенных из камыша и соломы. Но не осталось в Бухаре «традиционных» болезней — малярии и ришты, источниками которых являлись стоячие воды многочисленных хаузов. Осушение болот, проводимое энергично и последовательно, уничтожило источник злой малярии, а городской водопровод покончил навсегда с риштой.

Легко перечислить все сделанное за годы советской власти в Бухаре, но за каждым, даже небольшим шагом вперед встают картины напряженного труда и борьбы, борьбы в первую очередь с феодальными пережитками. Ведь надо было не только малярию и ришту изводить, но и снимать паранджу с женского лица, действуя при этом убеждением, настойчиво и терпеливо. Надо было бороться и с многоженством, не говоря уже о борьбе с прямым классовым врагом — остатками кровавого бухарского эмирата. Мы так привыкли к грандиозным масштабам наших успехов, что порою не замечаем более скромных, но несомненных достижений, совершающихся каждодневно у нас на глазах.

Я думал об этом, осматривая старинную бухарскую крепость — арк. В стенах арка сорок лет тому назад находились резиденция главы правительства — эмира и гарем, в котором томились четыреста наложниц. Здание гарема повергнуто в прах, а в бывшей правительственной резиденции ныне помещается музей. С высоты арка видны и старые постройки и то новое, что появилось за последние годы: заводы, школы, скверы. Ценные памятники архитектуры ремонтируются, многие из них стоят в лесах. Однако следует заметить, что можно и должно было бы уделить им гораздо больше внимания.

Музей в арке дает довольно верное представление о хозяйственной и культурной жизни области, которая добывает до восьмидесяти процентов ценных каракулевых смушек, производимых в Узбекистане,

большое количество хлопка и шелковой пряжи. Богатство области — продукция фабрик, заводов и сельского хозяйства, ископаемые, животный и растительный мир — неплохо представлено в соответствующих залах музея. Но есть существенный недостаток в ряде отделов, особенно историческом и историко-революционном. Бросаются в глаза обилие пестрых плакатов и некоторая скудость экспонатов. Музейные работники жаловались на то, что в подвалах музея как фонд лежит множество экспонатов, но никто не смог ответить, сколько же времени будут лежать они спрятанными от взоров посетителей.

В одном из переулков Бухары помещаются одноэтажные строения золотошвейной артели. Вышивание золотом — замечательный образец народного творчества наряду с гончарным делом и резьбой по дереву и ганчу. Гончары и резчики по дереву, надо прямо сказать, утеряли стимул к работе. Если Ширин Мурадов, мастер резьбы по ганчу (материал, схожий с алебастром), смог блеснуть своим искусством и украсить Бухарский зал в ташкентском Театре имени Навои, то его последователи лишены были возможности проявить себя, и их замечательное мастерство хиреет. Нет заботы и о том, чтобы возродить мастерство резчиков по дереву.

Даже на примере артели золотошвеев, этого, казалось бы, процветающего дела, можно увидеть, как неправильно порою используются силы народных художников. Артель выпускает бархатные и шелковые сюзане, тюбетейки и сумочки. Она применяет различные виды шитья золотом и серебром: сплошное шитье — заминдузи, причудливый рисунок, объединенный в один орнамент, — дархам, древний узор в виде небесных светил — хуршед и четырехугольную вышивку — точ. Здесь работает старый мастер Мирзаев. У него хороший вкус, огромный опыт и мастерство, которые он вложил, скажем, в такую свою работу, как «Мавзолей Самани». Рисунок кирпичного мавзолея, подлинного чуда строительного искусства древности (он находится на территории парка культуры и отдыха), великолепно передан золотым шить-

ем. Между тем автор этого уникального произведения вынужден делать обычные тюбетейки, обязан «выполнять план». В угоду тому же плану плохо используется искусство других народных художников.

* * *

Бухара находится, как известно, в центре большого оазиса, орошаемого рекой Зеравшан. Река теряется в песках совсем недалеко от Бухары. Если спросить, что нынче самое неприятное в городе, то оказывается — пыль. Правда, не та удушливая, въедливая пыль, о которой мы читали в детстве. Нынче пыль вызывается, можно сказать, искусственно.

Старая Бухара была окружена глинобитной стеною протяженностью в несколько километров. Там были оригинальные башни и не менее оригинальные городские ворота (числом одиннадцать). Года три тому назад кому-то пришло в голову разрушить эту стену. Стали рвать ее аммоналом, усыпали всю окрестность землей и в конце концов бросили работу на середине. Стену, наверное, не следовало ломать, а уж если сломали, надо куда-то убрать остатки. Но об этом никто не заботится, и ветер по своему усмотрению довершает дело, затеянное местными градостроителями.

В тесных уличках старой Бухары особенно заметно, как мало здесь власти уделяют внимания активной пропаганде санитарных правил и как мало и неохотно организуют самодеятельность горожан. Если бы городской Совет призвал население к наведению порядка на улицах Бухары, то понемногу, без особого напряжения сил, можно было бы значительно улучшить положение отдельных городских кварталов, до которых пока все еще «не дотягиваются» статьи городского бюджета...

Проходя мимо одной из древних построек, я обратился к сторожу-старику:

— Скажите, не в этом ли городе родился Ходжа Насреддин?

Старик, которому, как выяснилось, девяносто лет, ответил:

— Да, в Бухаре.

— А точнее, в каком квартале?

— Сейчас это трудно определить.

Он ни на одну минуту не допускал, что реальное существование Ходжи Насреддина, героя замечательного восточного фольклора и «гражданина Бухары», может быть подвергнуто какому-либо сомнению.

В этом городе, где древняя культура почти на все накладывает свой особый отпечаток, любители истории, археологии, архитектуры и фольклора найдут для себя много притягательного, помогающего больше узнать и о тех днях, когда здесь бушевали орды Тамерлана, и о более близких временах эмирата, когда существовали тридцать шесть видов налогов («облагалось всё, кроме воздуха»). Здесь можно узнать и о славной деятельности ученых Улуг-бека, Наршахи и Абу-Али Ибн-Сины, поэтов Рудаки, Дакики и Фирдоуси, познакомиться с произведениями неведомых мастеров прикладного искусства и послушать дивные сказки о хитроумном Алдаре Кусе.

Мне перевели с узбекского один из старинных коротких рассказов, который хочется привести:

«Некто спросил встречного:

— О досточтимый, могу ли я справиться о вашем брате, который является моим старым другом? Как его здоровье?

— Он умер, — был ответ.

— Мне очень тяжело услышать эту весть, но скажите, о досточтимый, что было причиной его смерти?

— Жизнь, — последовал ответ».

Прежняя мрачная жизнь низвела Бухару до крайней степени обнищания. Но новая жизнь вернула ей силы. А каналы, проложенные в пустынях, принесут свежее дыхание воды и, несомненно, смягчат жар пустынь. Это время недалеко. И, говоря сегодня о несомненных успехах Бухары и Бухарской области и о том, что ожидает их в будущем, мы должны еще раз назвать причину этого:

— Новая жизнь.

Бухара, 1956

В ДАГЕСТАНЕ

В Дагестане поражают горы. Здесь они особенные. Нет таких больше ни на Кавказе ни на Урале, ни в Карпатах. Может быть, самая главная особенность дагестанских гор заключена в том, что они почти сплошь обжиты, и автомобильные дороги приведут вас на любую из них.

Дагестан издревле пользуется славой неприступной страны. Еще много веков тому назад Дербент называли Железными воротами. Это наименование ему дали народы ближневосточных стран. Если бы они прошли сквозь Железные ворота и увидели, например, аул Гуниб, они поразились бы еще больше и, может быть, назвали бы его Железным гнездом.

Самое удивительное в Дагестане — это люди, его славное многоязычное население.

В Дагестане любят рассказывать легенду о том, как возникло на сравнительно небольшой земле, народы которой насчитывают около миллиона человек, такое множество языков и наречий — свыше трех десятков! В давно прошедшие времена, говорят, разъезжал по миру всадник — он раздавал языки народам. Объехав весь свет, очутился тот всадник, наконец, в Дагестане, среди неприступных гор, где и высыпал из дорожного мешка весь остаток языков.

Основные местные языки, на которых существует письменность и имеются школы, — это аварский, даргинский, лакский, кумыкский, лезгинский, табасаранский. Общим языком является русский. Без русского языка один аул не понимал бы соседнего, один район — другого.

Как-то мы беседовали с директором совхоза имени Карла Маркса, что недалеко от Дербента. К нам затем присоединилось несколько рабочих и служащих. Вспомнив легенду о всаднике, раздававшем языки, директор совхоза сказал:

— Смотрите, сколько нас! Кто же все мы по национальности? Я — азербайджанец, этот товарищ — аварец, а это—русский, вот тот—табасаранец, а те—

кумык, тат, лезгин, армянин, даргинец, лакец, кубачинец, агул, цахур, рутулец. Вот как!

Это было не какое-нибудь случайное стечение обстоятельств. То же самое мы наблюдали и в совхозе «Красный партизан», на стекольном заводе в поселке Дагестанские Огни и на консервном заводе в Гунибском районе. Люди в Дагестане живут единой дружной семьей, без прежнего предубеждения и национальной отчужденности. Задача у них одна — большая и благородная: сделать свою республику богатой, уютной для человека, потребности которого растут из года в год...

Что здесь было до революции?

Коротко, но очень хорошо ответил на этот вопрос пожилой учитель:

— Сорок тысяч мулл, две тысячи мечетей, триста учителей и очень много темноты.

В одной дагестанской песне говорилось:

О вековая бедность, ты меня
Хватаешь за шиворот бессердечно.
О тысячелетнее горе наших гор,
Ты сердца моего не покидаешь.
О вековая бедность, когда же
Я выброшу тебя за порог?

Но время летит быстро. Оно плодотворно работает на трудящихся. Не обходит оно и дагестанские горы, какими бы неприступными они ни казались... Вековая бедность горцев выброшена из сакли. И это не только главное, но и самое великое, что дала советская власть.

Достаточно переступить порог горской сакли, чтобы сразу же бросилось в глаза самое замечательное, что пришло сюда, в горы, — электричество! Оно вырабатывается и большими государственными гидростанциями, как, например, Гергебильской, и сельскими, пристроившимися на берегу какой-нибудь шустрой речки. Рядом с электричеством бытуют радиоприемники, радиолы и различные приборы. Раньше нарядные кровати были в диковину: такую роскошь—спать на кроватях—могли позволить себе

только богачи. А теперь «городская» мебель — явление в саклях повсеместное.

Кто жил в горах, знает цену не только аробной дороги, но и маленькой тропы. В Дагестане поражают хорошие шоссе, по которым днем и ночью движутся грузовые и легковые автомашины. До самых дальних аулов доводит нас грунтовая дорога, круглый год поддерживаемая в достаточно хорошем состоянии.

И если в магазинах аулов, вознесенных на высоту двух с половиной тысяч метров над уровнем моря и некогда оторванных от мира, вы видите радиоприемники и велосипеды, швейные машины и тетради, книги, одеколон и прочие необходимые вещи, то за все это надо прежде всего благодарить тех тружеников, которые, не жалея сил, пробивали дороги и привели сюда вскоре после установления советской власти первый автомобиль.

Коренные изменения внесла в жизнь горцев организация коллективных хозяйств. Достаточно одного взгляда на дагестанские суровые горы, чтобы понять, как трудно приходилось здесь человеку, который жил в одиночку и был, по существу, предоставлен самому себе.

Небольшие разрозненные клочки скудной, требовавшей огромного труда земли были уделом горца-крестьянина. А теперь трактор в горах — явление столь же обыденное, как и автомашина. И когда тракторист в мерлушковой папахе уверенно ведет трактор по полю, а ниже, метров на сто, легонько ползет облачко, а еще ниже парят орлы, — воочию убеждаешься в том, что приехал в необычный край, на каждом шагу поражающий тебя яркой, самобытной новью, хотя рядом с ней все еще приметишь и старое, пока не отжившее. Пусть высокогорные аулы и низенькие сакли по внешнему виду все еще напоминают о прошлых временах, но жизнь не стоит на месте: она, как горный поток, ушла далеко вперед, наполняя тесные ущелья, нагорья и горы всеми красками советского бытия.

Когда смотришь на аулы, то невольно думаешь о тех людях, которые вели трудящихся Дагестана

в бой против князей и прочих контрреволюционеров, о славных сынах Дагестана, как, например, Уллубий Буйнакский, получивший образование в Петрограде и Москве, — людях высококультурных, преданных делу Октября; думаешь о тех, которые своими руками строили Советский Дагестан, получая щедрую бескорыстную помощь русского народа; думаешь о тех, кто в годы Отечественной войны проливал кровь за родной Дагестан под стенами Москвы, Ленинграда, Киева, Севастополя, о тружениках, собиравших сотни тысяч рублей на постройку эскадрилий самолетов и танковой колонны имени знаменитого Шамиля; думаешь о тех, кто в наши дни заботливо растит сынов и дочерей многоязычного края для новых трудовых подвигов.

* * *

Дагестан — страна поэтов. Но таланты прежде глохли, ибо литература лишь тогда обретает свою могучую общественную силу, когда она «записана» на бумаге. Только в советское время, когда народы Дагестана получили свою письменность, здесь могли расцвести таланты таких литераторов, как народный поэт Дагестана аварец Гамзат Цадаса. Только наше время могло дать ашуга Сулеймана Стальского, слагавшего свои песни на кюринском наречии лезгинского языка. Создание письменности дало возможность аварцам, кумыкам, даргинцам, лезгинам иметь свои ежедневные газеты. В районах выходят газеты на лакском и табасаранском языках. Дагестанские писатели издают альманахи, которые носят название «Дружба». Альманахи издаются на восьми языках: аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, татском, табасаранском и русском. Даже самое беглое знакомство с дагестанскими литературами убеждает каждого не только в том, как много сделано за четыре десятилетия, но и в том, как велики возможности дальнейшего роста этих литератур, представители которых один за другим выходят на всесоюзную арену, как, например, талантливый поэт Расул Гамзатов.

Кроме русского драматического театра, в Дагестане работают четыре: аварский — в Буйнакске, кумыкский — в Махачкале, лезгинский — в Дербенте и лакский — в Кмухе. В репертуаре театров — пьесы современных дагестанских драматургов, а также произведения братских народов, русской и западной классики.

В республике — четыре высших учебных заведения, в том числе женский педагогический институт. Важность последнего института, в котором обучается свыше четырехсот девушек, вполне понятна, если напомнить о тяжелом прошлом горянки, придавленной обычаями шариата.

Одним из крупных научных учреждений Дагестана является Институт истории, языка и литературы, в стенах которого работают доктора и кандидаты наук различных специальностей и другие научные работники.

В 1935 году в Дагестане не было ни одного человека с ученой степенью. Теперь здесь около трехсот научных работников, из них примерно девяносто кандидатов наук.

— В различных научных учреждениях Советского Союза, — сказал нам директор института Гаджи-Али Даниялов, — дагестанцами подготовлено более сорока научных работ на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук.

* * *

Дагестан — это страна замечательных народных умельцев, подлинных художников — резчиков по металлу, камню и дереву. Широко известны кубачинские мастера, выделывающие оригинальные изделия из металла, в совершенстве овладевшие тайной отличнейшей гравировки, чеканки, черни, филиграни, насечки по металлу и кости, цветной эмали. Можно долго любоваться произведениями инцукульских мастеров, искусно украшающих изделия из дерева металлическими узорами. Весьма эффектны и своеоб-

разны дагестанские ковры, так называемые «арбабаши».

Однако с грустью приходится думать о том, что уникальное искусство, например, кубачинцев, может постепенно захиреть. Дело в том, что кубачинские мастера, из-под рук которых могли бы выходить произведения высокого искусства, сейчас работают по заказам Ювелирторга, вырабатывая для «широкого потребителя» подстаканники стандартного образца. И только изредка по предложению музеев или по какому-нибудь особому случаю кубачинцы имеют возможность блеснуть своим искусством. Надо думать, что местные организации найдут возможность, чтобы возродить в полной мере великолепное мастерство кубачинцев...

* * *

Аул Гуниб обнесен старинной стеной. Он стоит на скале и кажется неприступным. Диву даешься, когда на минуту представишь себе войска фельдмаршала Барятинского, бравшие приступом эту последнюю твердыню Шамиля. Мне было интересно увидеть эти исторические места и узнать, что же представляет собою нынешний Гуниб.

Верно, старинная стена там сохранилась. Сохранился даже камень, на котором сидел Барятинский, разговаривая со сдавшимся в плен Шамилем. Вот, пожалуй, и все от старины.

В Гунибе, который прежде не знал школ, теперь много школьников. Здесь работает и педагогическое училище. В Гунибе — радио и газеты. В Гунибе — электричество и книги.

Когда я зашел в одну саклю, хозяева, как это принято в горах, приветствовали меня и познакомили со всеми чадами и домочадцами. А хозяйка сказала:

— Это не все. Есть у нас еще и Нина Петровна.

— А кто она?

— О, учительница наша!

Русская девушка Нина Петровна приехала из Краснодара. По окончании музыкального училища ее направили в Гуниб преподавать пение.

— Здесь очень хорошо! — сказала она. — И даже совсем не скучно.

Верно, скучать в Гунибе не приходится: много людей в Гунибе, много работы, и, судя по словам Нины Петровны, чувствуешь, что ты очень здесь нужен, именно здесь, в этой почти заоблачной выси!

* * *

Когда бываешь в гостях у какого-нибудь народа, всегда приятно приобрести сувенир и взять его с собой на память. Но из Дагестана пришлось бы увозить много сувениров — по количеству народов, населяющих его.

Однако есть самый дорогой сувенир, который уносит в своем сердце любой, кто хотя бы однажды побывал здесь, — это чувство дружбы и неистощимого братства, которое щедро разлито на этой замечательной земле, чувство любви и братства, которое так знакомо всем советским людям. И это ощущение — на всю жизнь.

Махачкала, 1956

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК



В СТРАНЕ ШКИПЕРИИ

В августовское утро 1952 года я мысленно перенесся в страну, в которую предстояло ехать вместе с группой деятелей советской культуры. Мы были приглашены в Албанию, чтобы принять участие в месячнике албано-советской дружбы.

Раскрываю небольшую карту. Вот она, Албания, на юго-западе Балканского полуострова. Нам предстоит поездка из Москвы в Одессу, из Одессы в Дуррес — албанский порт на берегу Адриатического моря. Дорога займет немало времени: больше недели. Мы будем плыть по Черному морю, затем, пройдя пролив Босфор, — по Мраморному, потом, миновав Дарданеллы, — по Эгейскому, а затем, обогнув мыс Тенарон (Матапан), — по морю Ионическому и морю Адриатическому.

Вечером скорый поезд уже мчал нас в степные просторы. Долго провожали нас огни Москвы. Их было не меньше, чем звезд на небе...

Итак, мы уезжали в Албанию.

Я знал, что страна эта почти вся гористая. У самого моря климат мягкий, а выше, в горах, — суровый.

Народ Албании древний. Он, по объяснению ученых, происходит от иллирийцев. Иллирия еще во II ве-

ке до нашей эры стала провинцией Римской империи. Обычно здесь находилась почти треть римского войска. Иллирия напоминала военный лагерь. Центром ее был город Шкодер, лежащий на берегу озера Скутари.

Но Иллирии давно уж нет, как нет и Римской империи. Исчез и язык иллирийцев.

Албанский язык не похож ни на один из европейских языков, хотя в нем много корней языков славянских и латинского.

Албанский народ небольшой. В самой стране насчитывается один миллион двести тысяч жителей. Но примерно столько же живет за ее пределами: в области Косово и Метохия (Югославия), в Южной Италии, Греции, Турции, Египте, Америке и даже в Австралии. Жизнь в Албании была прежде невыносимой, и многие албанцы уезжали в другие страны.

Многовековая история этой маленькой страны — история непрерывной кровопролитной борьбы против иноземных захватчиков. Вторгались сюда греки и римляне, византийцы и сербы, немцы и итальянцы. Почти пять веков терзали Албанию турецкие султаны. Это был самый мрачный период в истории страны. Турки пытались покорить албанцев и отуречить их.

Албанская пословица говорит: «Вера приходит вслед за мечом». Турки преследовали христиан, огнем и мечом насаждали свою религию — ислам.

Они разделили страну на мелкие княжества, которые подчинялись непосредственно султану.

Албания не раз восставала против угнетателей. Она имела и своих прославленных вождей. Георгий Кастриоти, по прозванию Скандербег, в середине XV века поднял восстание против турок.

Владычеству турок был положен конец в 1912 году в результате неустанной борьбы албанского народа.

Великая Октябрьская социалистическая революция пробудила в сердцах народов мира новые надежды. Верил в грядущую свободу и народ Албании. Албанские рабочие и крестьяне готовились к битвам против своих угнетателей и их иноземных хозяев.

Последние пятнадцать лет, предшествовавших второй мировой войне, Албанией правил жестокий король, крупный помещик Ахмет Зогу. Его посадили на трон империалисты Западной Европы.

В 1939 году войска итальянского диктатора Бенито Муссолини вторглись в Албанию. А в 1943 году итальянских фашистов сменили гитлеровцы.

Победа советского народа над гитлеровцами принесла свободу и албанскому народу. В 1944 году, после того как советские воины вступили на Балканы, неся освобождение балканским народам, Народно-освободительная армия Албании нанесла поражение войскам оккупантов и очистила от них свою родину.

В январе 1946 года Албания была провозглашена народной республикой.

...Наш поезд несется вперед, все вперед — через Киев, через степи Украины к Черному морю...

В Одессе

— Прибыли! — объявил нам проводник вагона.

Было утро, но уже стояла духота. Южное солнце грело в полную силу.

Сойдя на перрон, мы увидели большое новое здание одесского вокзала. Старое, как и многие другие здания в городе, разрушили гитлеровцы.

Одесса была освобождена советскими армиями весной 1944 года в результате удара, нанесенного гитлеровцам на юге. Он, этот удар, имел огромное значение. Развивая наступление на юге, наши армии продвинулись дальше на запад и юго-запад, освободили Румынию и Болгарию и уже в октябре вели бои на территории Венгрии и Югославии.

Гитлеровское командование было вынуждено срочно выводить свои войска из Греции и Албании.

Албанские патриоты, окрыленные успехами Советской Армии, усилили борьбу против оккупантов. Борьба эта увенчалась победой над гитлеровцами.

Глядя на Одессу, залитую горячим солнцем, я думал:

«Твои освободители, Одесса, помогли и далеким братьям в Албании обрести свободу свою и свое счастье!»

Жители Одессы залечили раны, нанесенные войной, и город ныне еще красивее, чем прежде.

На Пушкинской улице любовно восстановлен дом, в котором жил Александр Сергеевич Пушкин. Сохранилось здание канцелярии Воронцова. В этой канцелярии служил великий поэт.

В Одессе, как известно, Пушкин закончил «Бахчисарайский фонтан». Здесь он написал поэму «Цыганы», первые главы «Евгения Онегина».

Оперный театр в Одессе — один из красивейших в нашей стране; по акустике он не имеет себе равного в мире. Горожане справедливо гордятся им. В этом театре в день премьеры «Пиковой дамы», 19 января 1893 года, Одесса чествовала Петра Ильича Чайковского.

Жители Одессы очень любят свою главную улицу — Дерибасовскую. Она шумная и нарядная; думаю, что ее запомнит каждый, кто хотя бы раз побывает в этом городе. С Приморского бульвара открывается вид на гавань. Вниз сбегает широкая лестница. На этой лестнице в дни революционного подъема 1905 года царские войска стреляли в мирных жителей, приветствовавших восставший броненосец «Потемкин». Броненосец входил в порт с красным знаменем революции...

С интересом осматривали мы двухсотпятидесятипудовую пушку с английского фрегата «Тигр». Корабль был потоплен русской береговой артиллерией в 1854 году во время военных действий.

Одесса — большой портовый город. Отсюда идут пароходы во все моря и океаны. От причалов Одесского порта уходит в Антарктику знаменитая флотилия советских китобоев. Сюда же флотилия возвращается с богатой добычей.

Здесь, в этом порту, начнется наше плавание в Албанию.

...Теплым, солнечным утром наш теплоход отчалил от берега.

Вся Одесса предстала перед нами — от Фонтанов до Пересыпи — в сверкании яркого солнца. Сине-зеленая черноморская вода пенилась за кормой, быстро убегала назад. Чайки летели низко, у самой воды. Они ловко подхватывали кусочки хлеба, которые кидали им пассажиры.

Теплоход следовал в румынский порт Констанцу.

В сумерки мы прошли одинокий остров Фидониси, возле которого в июле 1788 года наш выдающийся флотоводец Федор Федорович Ушаков нанес поражение турецкому капитан-паше Гассану.

Босфор

Вскоре погода переменилась. Подул ветер. Волны побежали вперегонки одна за другой. Начал сеять дождь. Южнее Констанцы корабль стало покачивать.

Мы проходили мимо румынских городов с белыми уютными постройками. Миновали курорты Василе-Роайта (бывшая Кармен-Сильва) и Мангалию.

Берега сделались выше, суровее. Вскоре мы вошли в болгарские воды. Около двух часов дня наш теплоход был напротив, или, как говорят моряки, на траверзе мыса Калиакрия. Мыс врезается глубоко в море. На самом конце его — белый маяк. За южной стороной мыса — гавань, в которой удобно было парусным кораблям укрываться от северных ветров.

Это историческое место. Здесь в июле 1791 года адмирал Ушаков атаковал турецкую эскадру. Бой продолжался более трех часов. Разбитый неприятельский флот с трудом добрался до Босфора. Победа над турецким флотом совпала с успехами Суворова в боях против турецкой армии. Перепуганный султан запросил мира...

После стоянки в болгарском порту Варна теплоход взял курс на Босфор.

Позади остались дружественные нам Болгария и Румыния.

Некоторые члены нашей делегации, бывавшие в этих странах народной демократии, вспоминали свои поездки по Румынии и Болгарии, говорили о новостройках, о новых людях, выражали свое восхищение чудесными народными песнями.

Мы говорили о незнакомом болгарине, который в порту приветствовал нас, советских людей, братски пожимая нам руки.

Мы говорили о том, что дружба народов Болгарии, Румынии и Советского Союза служит делу мира не только в юго-восточной Европе, но и во всем мире...

Наш теплоход приближался к Босфору.

Море успокоилось. По небу проносились клочковатые тучки. Но впереди, из-за незнакомых берегов, снова показались грузные, свинцовые облака. Они выползали медленно, словно уверенные в том, что им удастся снова затянуть все небо...

Вначале Босфор довольно широк — Европу и Азию отделяет здесь полоса воды шириной примерно две с четвертью мили (3,7 километра). Дальше пролив становится у́же.

Идем по проливу, словно по каналу. Длина его около тридцати километров. Справа показался Стамбул. Напротив Стамбула, через Босфор, — город Ускюдар.

Стамбул расположен амфитеатром на европейском берегу. Он делится на две части: новый и старый город. Новый город — это европейская часть; здесь лучше и дома и улицы. Между старым и новым городом — воды залива Золотой Рог.

Берег хорошо виден... Перед нами раскинулся большой город с миллионным населением, с пригородными дачами. И тут же, в нескольких километрах от него, — хилые городишки и деревни. Они тянутся по обеим сторонам пролива.

Вот пустующие загородные рестораны. Они скупо освещены. Время от времени по прибрежному шоссе проносятся легковые автомашины...

Над нами пролетает американский самолет; он снижается в Стамбуле.

Мимо нас проплывает американский пароход. На

нем крупно, во всю длину, от носа до кормы, начертано: «Stivenson line». Пароход принадлежит компании некоего Стивенсона.

Стамбул — древний византийский город Константинополь. Здесь много старинных архитектурных памятников. Высоко над тихими водами Босфора стоит Айя-София — древнейший христианский храм. Турецкие султаны перестроили и превратили его в мечеть.

Я невольно думал о кровавых делах султанов, причинявших другим народам столько горя.

Турецкие завоеватели топтали земли Кавказа, Крыма, Балканского полуострова. Это они почти пять веков угнетали Албанию. Султаны несли покоренным народам только страдания. Чужую культуру они разрушали, на руинах городов возводили мечети, тюрьмы.

Не сладко живется в нынешней Турции простому человеку.

Вот как описывает турецкий писатель Фахри Эрдинч первый день в сельской школе:

«Начинается перекличка.

...За отсутствующих отвечает несколько человек сразу.

— Вели Аксой? — читаю я.

— Не пришел, господин учитель.

— Он стал пастухом.

— Больше учиться не будет.

— Хатидже Гюльмез?

— Она уже паранджу носит, господин учитель.

— Мать ее не пускает в школу — выросла, говорит.

— Али Тыназ?

— Он отцу пахать помогает.

— Мехмед Караель?

— У него мать умерла во время молотьбы.

— Айше Ташчи?

— У нее маленький брат, она его нянчит.

И так ежедневно.

Когда наступила зима, в деревне начался голод, потом пошли болезни. Стало не до учебы...»

О нищете турецкой деревни вынуждена писать даже турецкая печать. Вот что сообщала газета «Сон

поста»: «Население ведет средневековый образ жизни. Нет школ, нет акушерок, нет доктора, нет лекарств... Жители прозябают в темноте». По свидетельству другой газеты, «Зафер», в селах Анатолии крестьяне не знают, есть ли в Турции врачи.

В Турции двенадцать миллионов безземельных и малоземельных крестьян.

Только в последние годы разорились сто пятьдесят тысяч ремесленников.

Турецкое министерство здравоохранения признало, что в 1951 году от недоедания умерли триста тысяч детей.

Турецкий народ все громче возвышает свой голос протеста против несправедливости. Рабочие Стамбула выступают под лозунгом: «Никакая сила не заставит нас отказаться от борьбы за национальную независимость!» За полтора года трижды бастовали докеры Искандеруна. Не раз объявляли стачки рабочие городов Дериндже, Измира и других. Газета «Джумхуриет» признает, что столкновения между крестьянами и турецкой жандармерией «принимают характер настоящих боев».

Глядя на хилые деревни и сравнивая их с огнями нового Стамбула, где живет аристократия, я вспоминал слова замечательного турецкого писателя Сабахаттина Али. Он писал о «счастливом псе», принадлежавшем богачам:

«Если бы все мои соотечественники имели хотя бы десятую долю того, что имеет этот счастливый пес, даю вам слово, я не написал бы больше ни одного печального рассказа».

Да, Сабахаттин Али писал печальные и гневные рассказы. И жестоко пострадал за это: он был убит в 1948 году.

Дарданеллы

Западной стороной Стамбул обращен к Мраморному морю. Город отражается в тихих водах, словно в зеркале.

Небо без единого облачка. Желтоватые берега

расходятся вширь, а затем снова сходятся у пролива Дарданеллы.

Берега голые, они производят впечатление пустынных. Показалось желтое шоссе. Однако никто по нему не идет, никто по нему не едет. Земля словно уснула под горячим небом.

Слева, у самого выхода в Эгейское море, лежит турецкий городок Кумкале. Низенькие, словно примятые, глинобитные дома. От них веет страшной нищетой.

Берег тут обрывистый, лишенный растительности. Недалеко отсюда когда-то красовался город Илион, или Троя. Вы, должно быть, знаете его по «Илиаде» Гомера. Вот как описал эту местность великий греческий поэт:

Все кругом открывается — холмы, высокие скалы,
Долы; небесный эфир разверзается весь беспредельный... *

Здесь некогда разыгрались жестокие бои ахеян и защитников Трои. Именно здесь

...загорелося дело, —
Яростный бой меж троян и ахеян: как волки, бросались
Вои один на других, человек с человеком сцеплялся *.

Мы старались получше приглядеться к прибрежным скалам, недалеко от которых около трех тысяч лет тому назад покачивались на водах греческие триремы — суда с тремя ярусами гребцов. Мне казалось, что я вижу одну из скал, на которой сидел Ахиллес,

...далеко от всех, одинокий,
...у пучины седой и, взирая на понт темноводный,
Руки в слезах простирал...*

Долгое время люди полагали, что Троя — плод фантазии слепого певца. В прошлом столетии немецкий ученый Генрих Шлиман нашел остатки античной Трои. Он искал развалины с томиком «Илиады» в руках. Шлиман верил в Гомера, и Гомер не обманул его.

---

* «Илиада», перевод Н. И. Гнедича.

В Эгейском море

Теплоход выходит на простор Эгейского моря. Здесь цвет воды отличается от цвета Черного моря: под нами — синяя-синяя пучина.

С правого борта видны высокие горы. Они розовые, легкие, как хорошо написанные декорации. Воздух прозрачен.

Далеко налево — остров Лесбос. Далеко направо — остров Лемнос.

Напрягаю зрение до предела. Незнакомые силуэты гор. С детства знакомые названия островов...

Греческий миф повествует, что на Лемносе жил бог-кузнец Гефест. Это он выковал щит для Ахилла, о котором пишет Гомер:

> И вначале работал он щит, и огромный и крепкий,
> Весь украшая изящно; кругом его вывел он обод
> Белый, блестящий, тройной; и приделал ремень
> серебристый...

Александр Сергеевич Пушкин, обращаясь к кинжалу, восклицал:

> Лемносский бог тебя сковал
> Для рук бессмертной Немезиды...

У Гефеста украл огонь Прометей и передал людям чудесный пламень. Боги за это наказали Прометея и приковали его к скалам Кавказа.

...Через палубу иду к левому борту, вижу остров Лесбос.

На Лесбосе жила известная древнегреческая поэтесса Сафо. Это было в VI веке до нашей эры, то есть более двух с половиной тысяч лет тому назад. Сафо, насколько известно, первая женщина, чье поэтическое творчество дошло до нас из глубины веков...

Мы плывем дальше.

Солнце жестоко припекает. На палубе теплохода сооружен душ. Пассажиры и команда, свободная от вахты, обливаются соленой морской водой.

Вдоль берегов Пелопоннеса

На небе — ни облачка.

Эгейское море чуть морщится голубоватой рябью. На горизонте — горы. Они прозрачны, точно выведены бледной краской на опаленном небе. Это горы Пелопоннеса.

Каждый из нас учил историю древней Греции. Кто не помнит Спарту! Прямо перед нами встают горы древней Спарты. Они словно торопятся нам навстречу. Вот показался мыс Малея. Между землей Пелопоннеса и островом Китира — Элафонисский пролив.

Западнее Малеи находится городок Неаполис. Он точно зеленый оазис на пустынном и скалистом берегу древней Спарты.

Высокие нагромождения голых скал — вот что такое южные берега Пелопоннеса. И, глядя на эти горы и скалы, кажется: начинаешь понимать, откуда шел «спартанский образ жизни», суровый, экономный.

Остров Китира лыс, как и многие другие греческие острова. Близ него, по преданию древних греков, родилась из морской пены богиня любви Афродита.

...Берем курс на мыс Тенарон. Он находится на западном конце голубой чаши Лаконского залива.

Вот он, Тенарон. Это высокая, узкая желтовато-красная скала. Направо и налево от мыса — на северо-запад и северо-восток — уходят горы. Высокие, раскаленные под солнцем, они неуклюже громоздятся друг на друга, образуя изрезанный заливчиками берег. И только кое-где выделяются зеленые оливковые рощи. Они словно родимые пятна на голом, но могучем теле полуострова Пелопоннес. Труд на этой земле невероятно емкий. Землепашец страдает от безводья...

За Тенароном теплоход резко поворачивает на север, к Ионическому морю.

Один за другим попадаются нам острова Ионического архипелага. В свое время эти острова освобождал от наполеоновского ига адмирал Ушаков. Вот распластавшийся в длину остров Кефаллиния. На нем,

как и на островах Цериго, Занте, Святого Мавра, звучало победное русское «ура».

Больше всего хлопот доставил Ушакову остров Корфу.

Корфу лежит у входа в пролив Отранто. Он был отлично укреплен французами. Три года осаждал его Ушаков. Несколько тысяч албанцев сражались в рядах русских войск против наполеоновских солдат.

20 февраля 1799 года Ушаков взял крепость Корфу, считавшуюся неприступной. Известно, что сказал великий Суворов, когда ему сообщили об этой славной победе русского оружия.

«Ура русскому флоту! — воскликнул он. — Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя мичманом?»

За островом Корфу, если переплыть небольшой пролив, — албанский курортный город Саранда. А южнее Саранды — высокие горные цепи, уходящие на северо-восток.

У берегов Албании

Наш теплоход в проливе Отранто.

На западе за пеленой голубого тумана — итальянский мыс Санта Мария-ди-Леука. Справа — остров Сасено, а за ним — Влорский залив. В глубине залива — албанский город Влора.

Албания давно привлекала внимание империалистов Запада своими природными богатствами: нефтью, битумом — натуральным асфальтом, медью, хромом. Но самое привлекательное заключалось в месторасположении страны. Учитывая это, империалисты называют Албанию «адриатической дверью на Балканы». Овладев этой «дверью», итальянские фашисты мечтали завоевать весь Балканский полуостров.

Был такой правитель Албании — Ахмет Зогу. Сначала он именовался президентом. Однако этот сухощавый, похожий на модного провинциального парикмахера человек жаждал королевской власти. И он

сделался королем, успешно торгуя своей страной. Он наводнил Албанию итальянскими военными советниками, которые первым делом прибрали к рукам королевскую армию.

Но для Муссолини этого было мало. В апреле 1939 года он направил в Албанию свои войска под началом генерала Гудзони: пятьдесят тысяч человек, вооруженных до зубов, сто семьдесят три военных корабля и шестьсот самолетов! Зогу сбежал.

Вторжение фашистов в Албанию прошло не так гладко, как предполагал Муссолини. В Дурресе оккупанты встретили неожиданное сопротивление: рядовой Муё Улькинаку собрал вокруг себя солдат и организовал отпор. Оккупанты почувствовали на себе гнев свободолюбивых сынов Албании. Но что могла сделать горстка храбрецов против самолетов, пушек, танков и военных кораблей! Улькинаку и его друзья погибли. «Да здравствует Албания!» — были их последние слова. Подвиг Муё Улькинаку — славная страница в патриотической борьбе албанцев.

Итальянцы захватили стратегически важные районы страны, провозгласили Албанию своей колонией.

В одном из особняков Тираны водворился наместник короля Виктора-Эммануила — Франческо Якомони, бывший посол при Ахмете Зогу. Муссолини переименовал город Саранду в город имени своей дочери Эдды и преподнес ей в дар эту «албанскую Ривьеру».

Но пришельцам не удалось стать хозяевами положения. Албанские партизаны нагоняли на захватчиков панический страх.

Дуррес

Дуррес — портовый город; в древности греки называли его Эпидамном, а римляне — Диррахиумом.

На юг от Дурреса тянутся дачные места. На горе, что высится над морем, стоит бывший королевский дворец.

Зеленоватая поверхность Адриатики недвижна. В воздухе много чаек. Кончается короткая утренняя прохлада; в свои права вступает летний, тяжелый зной...

Плавно очерчивая на воде большую дугу, наш теплоход вошел в порт и стал у причала.

Портовые сооружения Дурреса были основательно разрушены гитлеровцами.

Ныне порт, как и вся страна, восстановлен и значительно вырос. Построены новые причалы, работают портальные краны, начала действовать верфь, выпускающая небольшие суда. Провода высокого напряжения подают городу электрический ток из Тираны. Население Дурреса увеличилось и теперь составляет около двадцати тысяч человек.

К Дурресу подходят две железнодорожные линии, построенные после освобождения страны. Несколько лет тому назад в Албании вовсе не было железных дорог.

Теперь поезда из Дурреса идут в Тирану и на юг — в промышленный город Эльбасан.

В порту много различных машин и материалов, доставленных из Советского Союза и стран народной демократии. Вот советские тракторы и комбайны; вот подъемные краны и автомашины, изготовленные на заводах Чехословакии и Германской Демократической Республики. Советские теплоходы привозят также оборудование для строящихся заводов, фабрик и нефтяных промыслов, высокосортные семена, продукты питания.

Сефедин

В Дурресе мы познакомились с моряком Сефедином Джоньи.

Сефедин — невысокого роста, подтянутый молодой человек. Волосы у него светлые, точно пшеница в августе.

Родился Сефедин в деревне Фтер, недалеко от города Гьинокастер. Отец его — пастух. Мать воспитала десятерых детей. Но прежде никто из детей не

учился в школе. Почему? Да потому, что школы не было поблизости, а в город дети не могли поехать учиться: не было денег. В этом отношении семья Сефедина не составляла исключения. Более трех четвертей населения Албании раньше не училось.

В 1944 году братья Сефедина — Левен и Азем — ушли к партизанам в горы. В апреле того же года пятнадцатилетним юношей вступил в партизанский отряд и Сефедин. Он попал в роту, которой командовал его двоюродный брат Дамо Джоньи. Дамо был старше Сефедина на три года.

— А этот автомат — тебе, — сказал Дамо.

Автомат был трофейный, немецкий.

Сефедин с любопытством разглядывал оружие. Юноша не предполагал, что очень скоро ему придется пустить в ход этот автомат.

Гитлеровцы отступали из Греции через Албанию. Они опасались, что советские войска стремительным движением на запад отрежут их от Германии. Коммунистическая партия Албании призвала партизан преградить гитлеровцам пути отступления.

Одна из гитлеровских воинских частей подошла к деревне Поличан. Оккупанты были вооружены пушками и танками. У Поличана и произошло первое боевое крещение Сефедина.

Бой разгорелся кровавый. Партизаны дрались героически и не пропустили гитлеровцев на север...

— Что же было потом? — спрашиваю Сефедина.

— Мы долго воевали в горах против оккупантов и предателей, а потом — на улицах Тираны: то были ноябрьские дни сорок четвертого года.

У Сефедина прострелены ноги и плечо. Это память о боях за освобождение столицы Албании.

Еще тогда, в госпитале, у Сефедина созрело твердое решение: он будет военным, а еще точнее — военным моряком. Так оно и вышло: лейтенант Сефедин служит на боевом катере.

— Я хочу, — говорит Сефедин, — с оружием в руках защищать свою родину, за свободу которой мы сражались.

Песня Исма́ила Ту́ля

Сефедин Джоньи был первым албанцем, с которым мы познакомились в Дурресе. Но, вообще говоря, знакомство с албанцами произошло еще на теплоходе. Это были наши случайные попутчики — в большинстве своем молодые специалисты, окончившие высшие учебные заведения в Советском Союзе.

Одни из них учились в Москве, другие — в Ленинграде, третьи — в Одессе или Свердловске. Были среди них текстильщики, инженеры-мелиораторы, зоотехники, агрономы.

Нынче многие молодые албанцы получают высшее образование как в самой Албании, так и за ее пределами. В Тиране мне назвали интересные цифры. С 1890 по 1945 год получили высшее образование всего две тысячи албанцев. А в одном только 1952 году подготовлено шестьсот специалистов с высшим образованием.

Среди наших попутчиков было немало бывших партизан. Они вступили в боевые отряды еще тогда, когда им было всего по четырнадцати-пятнадцати лет.

Из Москвы на родину возвращалась и Семирамис Джувани. По специальности она текстильщица. Две ее подруги, окончившие институт в Москве, уже работают на текстильном комбинате в Тиране.

Албанцы много и хорошо пели. Глядят, бывало, на море и поют. Пели они про любовь, про дружбу. Много хороших песен знал пожилой рыбак Исмаил Туля из города Шкодер.

В один из вечеров, когда взошел месяц и теплоход, казалось, плыл по широкой лунной дороге, Исмаил Туля запел свою любимую песню. Голос его звучал негромко. Все с удовольствием слушали рыбака.

Вот эта народная песня, с которой влюбленный обращается к девушке:

Бросай иглу, оставь ты пяльцы,
Послушай песенку скитальца —
Иди ко мне под тень олив.

Оставь, оставь свой дом родимый
И торопись в леса с любимым —
А домом будет гордый лес.

Ах, если б не любил тебя я,
Ах, если б не видал тебя я,
Скитался б по миру один...

Бросай иглу, оставь подружек
И назови любимым мужем
Того, кто ждет тебя, тебя...

Так пел Исмаил Туля.

Албанский народ страдал веками. Но через века он пронес и свои песни, и свои обычаи, и свое суровое, но любвеобильное сердце.

В столице Албании

В Дурресе мы перевели стрелки часов назад. Разница во времени по сравнению с московским составляет два часа. Когда в Москве полночь — в Албании десять часов вечера.

Из Дурреса в Тирану проложены две автомобильные дороги. Расстояние небольшое: около сорока километров.

Окраины столицы — это новые, оснащенные передовой техникой фабрики и заводы. При въезде в Тирану по левую руку — огромный текстильный комбинат, по правую — металлообрабатывающий завод.

Тирана встретила нас шумом новостроек, яркой зеленью и жарким полуденным солнцем.

Город расположен у подножия горы Дайти. Здесь в горах находится недавно пущенная гидроэлектростанция имени Ленина. За горой Дайти берет начало новый водопровод. Горная вода проходит через семь тоннелей, прежде чем попадает в город. Теперь в Тиране вместо прежней мутной, недоброкачественной воды — кристально чистая. Город насчитывает более восьмидесяти тысяч жителей.

На бульваре «Новая Албания» и на площади Скандербега расположены правительственные учреж-

дения. Это красивые трех- и четырехэтажные здания,

На окнах городских домов, как правило, жалюзи, спасающие от летнего зноя. Обычно они опущены почти весь день.

Напротив гостиницы «Дайти» — сквер. Этот сквер разбит горожанами за одну ночь.

В городе пять высших учебных заведений. Все они открыты несколько лет назад. Раньше Албания никогда не имела высших учебных заведений.

Недалеко от площади Скандербега находятся Народный театр, Государственная филармония и Эстрадный театр. Это тоже новые учреждения, албанцы не имели их прежде.

Приехав в Албанию, вы почти все время сталкиваетесь со словами «новый» и «впервые».

Страна, по существу, только строится. Только теперь, после освобождения, создается промышленность; сельское хозяйство переводится на научную основу, широко механизируется; только теперь по-настоящему расцветают наука, искусство, литература.

Институт наук Албании создан впервые.

Музей археологии и киностудия «Новая Албания» — тоже впервые.

Научно-исследовательский сельскохозяйственный институт в Тиране — тоже впервые.

И так далее, и так далее...

Страна и народ

Свою страну албанцы называют Шкиперией, а себя именуют шкиптарами.

Территория Шкиперии равна 28,7 тысячи квадратных километров. Эта площадь составляет приблизительно половину Московской области. Всего албанцев, как уже говорилось, более двух миллионов, причем в самой стране проживает один миллион двести тысяч человек.

На Кавказе в древние времена тоже была страна Албания. Она находилась на территории Советского Азербайджана. Читатель вправе спросить: что общего

у нее с Албанией балканской? Наука поясняет, что это разные страны. Но чем же объяснить это сходство наименований? Дело, как полагают ученые, в следующем. В древнейших языках кавказских, малоазиатских и средиземноморских народов слово «алб» или «алп» характеризовало горные места. Отсюда и сходство в названиях двух горных стран — Албании кавказской и Албании балканской.

Итак, горы Кавказа и горы Шкиперии дали наименование двум разным странам, далеко отстоящим друг от друга. Но в обычаях, в закалке, в крепком народном духе этих стран, несомненно, много общего.

Народ Албании, как и народы Кавказа, много терпел всяческих бед от вражеских нашествий. Так же как и народам Кавказа, много горя принесли в Шкиперию турецкие султаны.

Албанцы происходят от иллирийцев. Таково по крайней мере научное предположение. К сожалению, наука не знает точно, каким был язык иллирийцев, и нам трудно сравнивать язык шкиптаров с языком иллирийцев.

Албанский народ — исконный обитатель Балканского полуострова. Археологические раскопки говорят о том, что люди жили в Шкиперии с незапамятных времен.

Древнегреческий географ Страбон писал, что земли в Иллирии плодородны, что здесь достаточно оливкового масла и вина.

Однако хищническое истребление лесов изуродовало страну: реки обмелели, почва истощилась, многие горы и долины лишились живительной зелени. Страна обеднела.

В Албанию явились завоеватели. Они грабили страну. Одних завоевателей сменяли другие, не менее жестокие. Турецкие султаны насильственно отуречивали албанцев. Молодых людей угоняли в рабство в Турцию. Ими нередко пополнялись полчища янычаров. Жестокая политика султанов неумолимо вела к полному уничтожению албанцев. И все-таки албанцы выстояли, выжили. Немало способствовали

этому неприступные горы. Но главное не в горах. Самое главное в том, что характер у албанцев твердый, воля крепка, а любовь к родному краю безгранична. Народ все время боролся против своих врагов и никогда не считал себя побежденным.

В черную пору XV века без друзей, без поддержки этот маленький народ поднялся против всесильного в то время султана. Это было известное восстание, во главе которого стоял Георгий Кастриоти — Скандербег.

Скандербег

Он родился в 1404 году недалеко от Тираны, в маленьком городе Круя. Георгий был сыном князя Ивана Кастриоти. Турецкий султан не доверял князю Ивану и поэтому забрал к себе в Стамбул маленького Георгия в качестве заложника. В Стамбуле Георгия обратили в магометанство и дали ему новое имя — Искандер-бек. Отсюда прозвище Скандербег, которое сохранилось до наших дней.

Однако никакие ухищрения султана не смогли вытравить из сердца Георгия Кастриоти лютую ненависть к захватчикам и великую любовь к родному краю.

Обманув султана, Георгий вернулся на родину и целиком отдался своей заветной цели: сплотить народ и поднять его против турок. Железная воля Георгия, ясный полководческий ум, священная борьба против захватчиков, к которой он призывал, собрали под его знамена тысячи албанцев.

Восстание прошло успешно: в 1443 году албанцы изгнали турок почти со всей территории своей страны. После этого в течение двадцати с лишним лет султаны не прекращали своих попыток снова покорить Албанию. Четверть века боролся Скандербег против турок, четверть века противостоял интригам Ватикана и западноевропейских государств.

Мурад II и Магомет II воевали со Скандербегом. В последнем походе восемьдесят тысяч янычаров бились против двадцати тысяч албанцев. И все же

победителями вышли воины бесстрашного полководца Албании Скандербега.

Не оставались в стороне от борьбы и женщины-албанки. Вот как поется о них в народной песне:

Курвелеш, край сухого камня!
Женщины твои — на поле брани.
Женщины твои на поле брани
Бьются с ненавистными врагами.

Чем же отвечали султаны? Они удесятеряли свою жестокость.

Вот, например, одна из картин того времени.

Представьте себе горное село, расположенное на краю высокого обрыва. Под обрывом — голубое озеро.

Из долины в горы движутся янычары. А это означает: смерть непокорным горцам, рабские цепи горянкам и их детям.

Горцы выходят на защиту своих жилищ, жен и детей. В неравном бою гибнут храбрые мужчины. Янычары врываются в село. А беззащитные дети и женщины толпятся на краю утеса. И все они вдруг бросаются в озеро. Ни один албанец, ни одна албанка не сдаются в плен...

Скандербег умер в 1467 году недалеко от Круи, в городе Леш. Страх перед полководцем был так велик, что и после его смерти турки долго не решались идти против албанцев.

Когда в 1478—1479 годах турки снова захватили страну, они выкопали из могилы тело Георгия Кастриоти, сожгли его, а из пепла наделали амулеты. Эти амулеты, утверждали они, придают тем, кто их носит, силу Скандербега.

Албанский народ прославил в песнях и легендах великого воина. Эти песни и легенды живут и поныне. Народ хорошо помнит слова, обращенные Скандербегом к албанцам: «Не я вам принес свободу — я нашел ее в ваших сердцах».

Современный албанский скульптор Янать Пачо вылепил модель памятника Скандербегу. Герой сидит на коне, обнажив меч и устремив вперед свер-

кающий взгляд. Таким был и таким остался в представлении албанского народа бессмертный воин Георгий Кастриоти — Скандербег.

Чарча́ф

Султаны несли покоренным народам муки, разрушения, нищету. Вместе с ними обязательно появлялся и чарчаф.

Что такое чарчаф? Женщина закрывает себе лицо, она ходит на людях только в черной маске из материи. Это и есть чарчаф.

Но это еще не все. Женщина облачается в одноцветное, обычно черное, уродующее фигуру платье. Под ним она скрывает и руки и ноги до самых пят.

Чарчаф, или чадру, носят только женщины-мусульманки. Это унизительный закон ислама. Он как бы подчеркивает рабское положение женщины.

Представьте себе село или город, где половина населения ходит в черных одеяниях и с черной маской на лице. Мороз пробегает по коже, когда подумаешь о тех, кто всю жизнь был принужден ходить под этой маской — чарчафом.

Ныне чарчаф уходит в прошлое. Женщины сбрасывают покрывала.

Женщина-албанка принимает активное участие в общественной жизни. В народных сельских советах, в советах локалитетов (то есть местностей) и районов она заседает наравне с мужчинами. Немало женщин среди партийных и государственных руководителей.

На текстильном комбинате в Тиране мы познакомились с ткачихой Пандорой Тасси. Ей восемнадцать лет. Это скромная девушка с голубыми глазами и светлыми косичками.

Отец ее был столяром. Мать, Теодора, осталась с тремя детьми на руках.

Разве могла она обучать своих детей! Только при народной власти дети поступили в школу. Пандора окончила четыре класса, а потом пришла в комбинат.

Сначала она работала на одной машине, а потом — на двух. Тасси отлично управилась и с двумя.

Пандора окружена вниманием своих товарищей. Ее знает вся Албания.

Я хотел бы рассказать еще об одной девушке — девушке из долины Мюзеке́.

За́рика Чу́ко

Смуглая, стройная Зарика подает нам руку. Она едва слышно называет свое имя, быстро отводит глаза.

— Ей неудобно, — шепчет мне на ухо албанский поэт Алекс Чачи.

— А почему?

— Потому, что все знают историю Зарики и ее жениха.

Разговор происходил в селе Верхнее Крутье. И Алекс Чачи рассказал мне эту историю.

...Давно-давно, когда Зарика бегала совсем еще маленькой, посватали ее за мальчика из села Нижнее Крутье. Таков был старинный обычай.

Зарика подросла. Страна сбросила иго оккупантов, восторжествовала народная власть. В селе Верхнее Крутье был организован земледельческий кооператив — первый во всей Албании. Крестьяне зажили по-новому. Повысились урожаи. На полях появился ценный хлопок. Зашумели незнакомые до этого сельскохозяйственные машины.

Долина Мюзеке расцвела.

Раньше бедным крестьянам в Мюзеке не разрешалось строить печи и трубы в своих жилищах. Это право принадлежало только землевладельцам. Простые люди жили в дыму, который наполнял плетеные хижины. Если землю покупал новый хозяин, крестьяне обычно разбирали свои хижины, грузили их на ослов и перебирались на новое место.

Сейчас в Мюзеке строятся кирпичные дома с широкими окнами и непременно с трубами. И если кто-нибудь по старой, рабской привычке забудет поста-

вить трубу, ему народный совет объявляет выговор.

Как-то Зарика сказала своим родным:

— Вы говорите, что я уже взрослая и что пора мне замуж?

— Да, пора замуж.

— Но мне надо еще учиться.

— А мы считаем, что довольно тебе учиться.

— Но я пока не желаю замуж.

— Ты попираешь дедовский обычай!

И то, что услышали родные из уст Зарики, поразило их.

Зарика заявила твердо:

— Да, попираю, потому что обычай этот нехороший.

Вся молодежь села Верхнее Крутье на стороне Зарики. И не только молодежь, но и многие старики.

Говорят, что и жених одного мнения с Зарикой. Он тоже человек современный, и взгляды у него новые, ему тоже надо учиться.

Так рушатся старые, ненужные обычаи.

Хакмарие

Знаете вы, что такое *хакмáрие* или *ме мар джáкун?*

Это кровная месть, вендетта.

Случалось так: один убивал другого. Тогда родные убитого мстили. Убийства следовали одно за другим и с той и с другой стороны. Люди преждевременно сходили в могилу. Иногда из-за хакмарие прекращались полевые работы, потому что опасно было находиться на открытом месте.

Таков был дикий обычай хакмарие. Необходимо подчеркнуть, что обычай этот разрешал убивать даже мальчиков в возрасте двух лет.

Разные причины бывали для хакмарие, или ме мар джакун, что буквально означает «вынуть кровь». Вот эти причины.

Земля. Когда один отбирал у другого клочок земли, возникало убийство, а с ним и месть.

Вода. Воды всегда не хватало в Албании. Вода в горах ценилась, как золото. Если один отбирал у другого воду, скажем отводил в сторону канаву или речку, — возникала месть.

Оскорбление. И оно могло привести к хакмарие, особенно если оскорбили женщину: жену, мать или сестру.

Из хакмарие извлекали выгоду беи — помещики, байрактары — военные предводители родов или племен в горах, муллы и прочие угнетатели. Все они всячески разжигали кровную месть. Им было выгодно, чтобы люди побольше враждовали между собой. Есть старое, испытанное правило угнетателей: разделяй и властвуй! Ему-то и следовали беи и байрактары.

Но бывала и справедливая месть. Если бей, или байрактар, или ага — кулак обижал крестьянина, могла возникнуть месть со стороны пострадавшего. Такую месть народ приветствовал, а мстителей прославлял в песнях.

Вот, например, народная песня о бедном крестьянине Хали́те Га́ши:

Пойте песню, хвалите
Славного Га́ши Халита!
Говорил он:
— Сеид-ага,
Мне земля моя дорога,
Верни мне ее, ага.

— Верну, но прежде подари
Мне сестру свою Хайри! —
Ответствовал Сеид-ага.

Тучи мрачнее Гаши,
Злее пули разящей.
Идет он домой. Жена
Видом его поражена
И говорит:
— Жена,

Будет над нами гроза,
Оставаться тебе нельзя —
К своим уходи родным.
Дым очага — для меня не дым,
Солнца свет — для меня не свет,
Кровавый на сердце след...

Все понимает жена,
Уходит к родным она.
А Халит к Сеиду идет,
Его во дворе застает.
Говорит:
    — Захотел земли,
Ага, но тебя подвели
Жестокость и слепота! —
Смеется Сеид — и тогда
Стреляет в Сеида Халит,
И к аллаху Сеид летит...

Пойте песню, хвалите
Славного Гаши Халита!

Народ прославлял в песнях храбрецов, которые мстили своим угнетателям.

Хакмарие в новой Албании, так же как и чарчаф, уходит в прошлое. В новой Албании нет больше беев и байрактаров. Земля принадлежит крестьянам, воду проводят по новым каналам, а женщины окружены вниманием и заботой. Хакмарие, лишенная почвы, хиреет, сходит в могилу. Туда ей и дорога!

Патриоты-борцы

Плохо жилось прежде албанскому народу. В старых народных песнях часто слышится жалоба крестьян на свою тяжелую долю. Вот одна такая песня:

Бедны мы, очень бедны:
Нет даже жалкого гроша.
Бедны мы, очень бедны:
Едим мы только капусту.
Бедны мы, очень бедны:
Всего три вола в деревне.

Однако народ не только жаловался. Из своей среды он выдвигал смелых людей, которым была дорога судьба родины. Эти люди вели за собой своих сограждан, поднимали восстания и не раз жертвовали своей головой.

Музей национально-освободительного движения в Тиране раскрывает страницы прошлого. Он показывает, как постепенно накапливались в народе рево-

люционные силы, как ширилась борьба за освобождение.

В 1912 году в Албании произошло знаменательное событие. На юге, в городе Влора, был поднят национальный флаг с черным двуглавым орлом — флаг Скандербега. Случилось это 28 ноября. В этот день закончилось господство турок. Во главе антитурецкого движения стоял Исмаил Кемали. Он не был настоящим революционером. Его мировоззрение было ограниченным, буржуазным. Но борьба против турецкого владычества, которую вели Исмаил Кемали и его единомышленники, имела большое значение.

Итак, турецкому господству в Албании был положен конец. Но недолго продержалась республика Исмаила Кемали. Вмешательство империалистов Англии, Франции, Италии привело к тому, что вскоре появился «албанский престол», а на престоле очутился никому не известный немецкий князек Вильгельм Вид. Новоиспеченный король, презираемый народом, вскоре бежал из страны. Албания сделалась ареной ожесточенной борьбы империалистов и их агентуры.

Албанский народ, как и прежде, не склонял головы перед врагами. Развертывалось массовое крестьянское движение. Восстания следовали одно за другим. Но они, к сожалению, не достигали цели. А вожди повстанцев гибли.

В 1915 году погиб крестьянский вождь Гокси Камили: его расстреляли беи.

В том же году был убит выдающийся борец за независимость Албании Черчис Топули.

Французские империалисты в 1917 году расстреляли прославленного борца-патриота Фемистокли Гермени.

Беи и байрактары усилили свою кровавую деятельность; они подавляли прогрессивное движение, которое ширилось под влиянием Великого Октября.

В 1920 году на юге народ поднялся против итальянцев.

Албанцы, доведенные до отчаяния, дрались, не щадя своей жизни и не щадя врага.

В 1925 году был убит известный патриот Байрам Цурри. Такая же участь постигла демократа Авни Рустеми, который в 1924 году потребовал, чтобы албанский парламент почтил пятиминутным молчанием память Владимира Ильича Ленина.

Умер в изгнании один из основоположников коммунистического движения в Албании Али Келменди.

Много других борцов за народное счастье погибло на виселицах и под пулями.

Народ изнывал под бременем жестокой эксплуатации. Албанская буржуазия предала национальные интересы, она стала прислужницей иностранных капиталистов. Вместе с империалистами Запада она всеми силами боролась против собственного народа.

Великая сила

Огромные завоевания, которые преобразовали Албанию и позволили ее народу двинуться вперед семимильными шагами, стали возможны только благодаря победе национально-освободительного движения.

Как же пришла эта победа? Кто ее выковал?

В Тиране, в старой части города, приютился небольшой домик. Каменная лесенка ведет на второй этаж. Этот скромный домик стал историческим. Здесь в глубоком подполье 8 ноября 1941 года организационно оформилась коммунистическая партия Албании, ныне Партия труда. Она была создана путем слияния нескольких коммунистических групп, которые руководили рабочим движением.

Партия возглавила борьбу против фашизма.

Она высоко подняла знамя национальной независимости и понесла его вперед.

Партия распространяла правду о победах советского народа на фронтах Великой Отечественной войны.

Партия воспитывала любовь к советскому народу, стране социализма.

Партия всем сердцем верила в победу албанского народа и вела его к победе.

Большое значение имела конференция в городе Пеза, состоявшаяся в сентябре 1942 года. Пеза находится на полпути между Тираной и Дурресом, в стороне от шоссе. Мы присутствовали на народном празднике в Пезе, посвященном десятилетию конференции. Генерал Пеза (в городе Пеза много жителей с фамилией Пеза), бывший крестьянин, показывал гостям свой дом, в котором происходила конференция. В этом доме теперь открыт музей.

В Пезе был создан национально-освободительный фронт и организованы народно-освободительные советы. В июле 1943 года был создан верховный штаб Народно-освободительной армии Албании. Комиссаром штаба был назначен герой народно-освободительной борьбы албанского народа Энвер Ходжа.

Началась жестокая борьба не только против итальянских оккупантов, но и против предателей родины. А предавали Албанию члены фашистских организаций «Легалитет» и «Балли комбетар», агенты иностранной разведки. Они группировали вокруг себя беев, байрактаров и прочих врагов народа.

Албанский народ проклял и сурово наказал таких предателей, как Шевкет Верляци и католический падре Антон Харапи. Первый из них в качестве марионеточного премьер-министра служил Муссолини, второй — гитлеровцам.

В Музее национально-освободительного движения в Тиране выставлена пушка. Это орудие знаменитое. И вот почему. В свое время гитлеровцы пытались собрать кучку изменников и организовать нечто вроде парламента. Члены этого «парламента», словно воронье, слетелись в бывшем дворце наместника Якомони.

А в это время за ближайшей горой собрались партизаны. Они имели пушку, отбитую у гитлеровцев... Вот взвилась красная ракета. Это сигналили разведчики, наблюдавшие за дворцом. В ответ заговорила партизанская пушка. Выстрел, другой, третий... и предатели албанского народа бежали из дворца.

По мере того как приближался день победы советского народа над германским фашизмом, нарастало и освободительное движение в Албании.

Словно реки в половодье, росли отряды партизан.

В мае 1944 года в городе Пермет был организован Антифашистский комитет национального освобождения. Этот комитет исполнял обязанности временного правительства.

17 ноября 1944 года была освобождена столица Тирана, а к 29 ноября оккупанты были изгнаны из всей Албании. Во главе народного правительства стал Энвер Ходжа.

Энвер Ходжа, выражая сокровенные мысли своего народа, не раз подчеркивал в своих выступлениях, что албанский народ всеми своими победами обязан невиданному в истории героизму, который проявила Советская Армия, разгромившая гитлеровские полчища.

Созидание

Когда народ берет власть в свои руки, он совершает чудеса. Пример маленькой Албании — еще одно тому подтверждение.

Путешественника, который впервые проедет через всю Албанию с севера на юг — от Шкодера до Саранды и с запада на восток—от Дурреса до Корчи, многое поразит.

Мы немало поездили по стране на автомашинах — от суровых гор северной Албании до субтропической албанской Ривьеры на юге страны. Пейзажи южного побережья очень напоминают наш Крым.

Дороги в Албании пролегают то в горах, среди суровых скал, то тянутся по нешироким долинам, мимо вечнозеленых оливковых рощ.

И куда бы вы ни поехали — повсюду кипучая работа.

Албания сделала огромный прыжок вперед. По существу, это прыжок из средневековья прямо в XX век. Но мало сказать—XX век! Албания прочно

вступила на путь демократического развития, на путь строительства социализма. В этом отношении она опередила многие так называемые цивилизованные страны Запада, которые все еще изнывают под бременем капитализма.

Что получила новая Албания в наследство от старой?

Промышленные предприятия? Но они в своем подавляющем большинстве были полукустарные: в них с нечеловеческой жестокостью эксплуатировали рабочих.

Сельское хозяйство? Но основным орудием в большинстве крестьянских хозяйств была соха, а кое-где и мотыга. На сохе и мотыге, как известно, далеко не уедешь.

Воду для орошения полей? Но прежде никто не строил каналы, и, следовательно, нечего было получать в наследство.

Железные дороги? Но никаких железных дорог в Албании не было.

Может быть, крупные электростанции? Их никто никогда не создавал в Албании.

Фашистские оккупанты оставили после себя сотни разрушенных сел и городов, большое количество взорванных мостов.

Обратимся к культуре.

Что досталось новой Албании в наследство от старой?

Почти поголовная неграмотность.

А высшие учебные заведения?

Их никогда не было в Албании.

Музеи? Разве музеи нужны были беям, королю Зогу или итальянским фашистам? Все они прекрасно обходились без музеев.

Может быть, киностудии? Нет, никаких студий не было здесь и в помине.

Театры? Их тоже не было.

Нищета и болезни — вот что досталось в наследство новой Албании.

И народная власть взялась за дело: нужно было все создавать сначала и по-новому.

За короткий срок в Албании сооружены десятки заводов с новейшим оборудованием и подготовлены тысячи рабочих высокой квалификации.

...Быстро меняются пейзажи городов и деревень. Возьмем для примера район Кавайя — Лушнья.

Что здесь было прежде? Болотистая низменность, малярия — жуткий бич населения, нищета. А сейчас? Вот, например, село Рогожи́на. В этом селе имеются хлопкоочистительный и мыловаренный заводы, канатная фабрика. Заводские трубы отлично выглядят на фоне горы Томòри, которую албанцы почтительно называют «батюшка Томори».

В Рогожине появился железнодорожный вокзал. Отсюда стальной путь идет на Дуррес и на юг — в Эльбасан. Проведен канал. Живительные горные воды заливают поля.

Болота осушаются, малярия исчезает.

О прошлом здесь напоминают только остатки итальянских укреплений. Бетонные огневые точки пустыми глазами амбразур глядят на обновленную землю...

Промышленность Албании растет, что называется, по часам.

Недавно построенный текстильный комбинат в Тиране — гордость албанского народа. Комбинат вырос на месте болот Избериша. На нем работает несколько тысяч рабочих.

Во Влоре мы видели новый рисоочистительный завод. Он сооружен по последнему слову техники.

Полным ходом работают нефтяные промыслы города Сталин и города Патос. Нефтяники живут в новых, светлых домах. Жалкие лачуги теперь уже в прошлом.

В Шкодере высится многоэтажное здание табачного ферментационного завода. Он закончен в 1952 году. И здесь новые машины, новая технология.

Албания имеет свои посевы сахарной свеклы. А для переработки свеклы построен завод в Корче.

Большой деревообделочный комбинат работает в Эльбасане, хлопкоочистительный завод — во Фьери.

В недалеком будущем даст первый ток новая гидростанция на реке Мати. Строятся нефтеперегонный завод в Церрике, цементный завод во Влоре и другие предприятия.

Люди заводов

Во время поездок по стране мы познакомились с рабочими, подолгу беседовали с ними, осматривали заводы и фабрики. Рабочий класс все время растет, в его среде много молодых.

В городе Фьери на хлопкоочистительном заводе работал Кочо Титэ. Он нас встретил в рабочем костюме, закапанном машинным маслом.

— Спросите, пожалуйста, сколько ему лет, — обратился я к переводчику.

Кочо жестом остановил его.

— Двадцать один год, — ответил Кочо.

— Вы говорите по-русски?

— А как же! Я проходил практику на заводах Ташкента.

Кочо хорошо знаком с методами работы советских специалистов. Рабочие хлопкоочистительного завода за три месяца сэкономили государству триста тысяч лек*.

Кочо водил нас по заводу, объяснял действие машин, рассказывал о своих друзьях. Завод этот построили за восемь месяцев. Все машины на заводе советские.

— А вот и Нáе Шáхо, наша первая стахановка, — сказал Кочо.

Нам протянула руку девушка с черными, слегка вьющимися волосами.

— Нас теперь много, — заметила она.

Да, их теперь много, славных албанских девушек, пришедших на фабрики и заводы. Некоторые из них выучились даже, казалось бы, чисто мужским профессиям. Первую девушку-токаря мы встретили в Тиране. Зовут ее Сюзанна Пàтоку.

* Лека — денежная единица в Албании.

Сюзанне двадцать лет. Отец ее был кузнецом. Умер. Мать работала уборщицей: у нее не было возможности обучать свою дочь в школе.

Мы знакомимся с Сюзанной у токарного станка в цехе металлообрабатывающего завода. Из-под косынки на голове виднелась яркой голубизны шелковая лента. В руках она держала большой резец.

— Я окончила курсы по ликвидации неграмотности, — рассказывала Сюзанна, — потом решила поработать у станка. Подруги не верили, что выйдет толк.

— А толк вышел? — спросили мы ее.

— Не знаю. Другим виднее.

— Нечего скромничать, — вмешались в беседу ее друзья. — Прекрасный токарь!

— Нелегко с ней соревноваться, — вставил словечко парень лет семнадцати. Он на минутку выключил ток, чтобы снять обработанную деталь.

— Это сказано слишком сильно,—сказала Сюзанна. — Ферит шутит.

Ферит — имя молодого токаря.

— И не думаю шутить! — возразил Ферит.

Он взял новую деталь — автомобильный поршень — и зажал на диске станка.

— А что это такое, товарищ Ферит? — Я указал на тетрадь, торчащую из кармана синей куртки.

— Тетрадь по геометрии, — ответил он.

— Вы учитесь, Ферит?

Он отрицательно покачал головой и произнес короткое албанское слово:

— По!

— Учится, — перевел переводчик.

— Спросите, пожалуйста, — снова обратился я к переводчику, — а он раньше учился?

Ферит утвердительно кивнул.

— Нет, не учился, — пояснил переводчик.

— Как же так? — обратился я к переводчику. — Он же кивнул утвердительно!

И тут выясняется любопытная деталь: когда албанец хочет сказать «да», он отрицательно качает головой; если же он кивнул утвердительно — это значит «нет».

Матушка земля

Во всем мире крестьяне называют землю не иначе как «матушка земля». Это и понятно: она кормит человека. Стало быть, жизненно важно, чья это земля и какая она — щедрая или скупая.

Представьте себе землю, которая в засушливое время становится сыпучей, как песок, а под дождем превращается в грязь. Если такую землю летом полить водой, то, высохнув, она делается плотной, как асфальт, и трескается, словно хрупкая керамическая плита. Это говорит о том, что земля истощилась, или, как говорят агрономы, структура ее ухудшилась.

С самых древних времен албанскую землю эксплуатировали варварски. Вырубались леса, реки мелели, исчезала влага, земля не получала в достаточном количестве удобрений.

Население Албании занималось главным образом земледелием, а в горах — скотоводством. Люди находились в рабской зависимости от беев и байрактаров. Забитые, неграмотные крестьяне с утра и до позднего вечера трудились на крайне скупой почве.

Что же сделано в деревне за несколько лет свободной жизни?

Самыми важными событиями в сельском хозяйстве республики надо считать земельную реформу, по которой земля была передана трудящимся крестьянам, и организацию производственных земледельческих кооперативов. Первые же кооперативы, созданные несколько лет тому назад, показали преимущества совместного, коллективного ведения сельского хозяйства перед индивидуальным. Они сильно помогли хозяйственному и культурному развитию деревни.

В Албании созданы машинно-тракторные станции. Деревня стала получать машины. А это значит, что значительно улучшилась и облегчилась обработка почвы.

Все в большем количестве завозятся искусственные удобрения на поля.

Особое внимание уделяется осушению болот, оздоровлению местности. Сотни гектаров земли отвоеваны,

например, у озера Малик. Исчезают топи. А это значит, что население деревень будет здоровее.

С каждым годом растет площадь поливных земель.

Далее. На полях, кроме пшеницы, кукурузы, табака, появляются сахарная свекла, хлопок, рис. А это значит, что крестьянское хозяйство становится более доходным, более богатым.

Вот несколько цифр.

В 1938 году обрабатывалась земельная площадь примерно в двести двадцать тысяч гектаров. В 1952 году эта площадь достигла трехсот сорока тысяч и продолжает расти.

Урожайность хлопчатника по сравнению с 1945 годом увеличилась почти в полтора раза, табака и пшеницы — во столько же, риса — на двадцать пять процентов.

Раньше деревня была вынуждена обходиться без искусственных удобрений. В 1952 году ввезено тринадцать тысяч тонн удобрений. Непрерывно увеличивается число тракторов.

В долине Мюзеке́

Мюзеке — плодородная долина южнее Тираны, за рекой Шкумбин. Начинается долина у Адриатического моря и тянется на восток, к горе Томори.

В Мюзеке произрастают такие теплолюбивые деревья, как инжир; на огородах много дынь, арбузов, ярко-красных помидоров. Оливковые деревья стоят рядом со стройными кипарисами и тополями.

Это та самая долина, о крестьянах которой я уже говорил: им раньше, как и всюду, не разрешалось в домах строить печи с трубами. Так было и в деревне Верхнее Крутье. Она принадлежала бею Кемалю Каросмани. Все жители Верхнее Крутье работали на бея. Они отдавали ему треть своего урожая. Но бед перепадало еще больше: крестьянам приходилось платить за волов, которых одалживали у бея, за воду, за «прошлогодние долги» и так далее. Часть

крестьянского дохода шла на погашение налогов, а жалкие остатки — на пропитание семьи. В плодородной Мюзеке народ жил впроголодь.

После освобождения вся земля в Верхнем Крутье перешла в руки крестьян. Поля здесь обрабатывают теперь машинами. Результаты хорошей обработки земли и хозяйского отношения к ней сказались очень скоро. В течение года урожаи хлопка, пшеницы, кукурузы выросли более чем в полтора раза.

В селе Верхнее Крутье впервые в истории Мюзеке крестьяне построили для себя пятнадцать каменных домов с печами, трубами и широкими, светлыми окнами...

Помните, я рассказывал вам о девушке Зарике Чуко? Она живет в этом селе. Ее подруга Лефта Шани — тоже хорошая работница, с новыми взглядами на жизнь. Лефту называют «владычицей хлопка».

В Мюзеке жарко, жарче, чем в Тиране. Небо темно-синего цвета. Далеко на восток тянутся хлопковые поля. Гора Томори издалека гордо глядит на обновленную долину.

— Батюшка Томори тоже радуется, — говорят крестьяне из Мюзеке.

Аполлония

Город Фьери находится между Тираной и Влорой. Недалеко от Фьери — село Поян.

Две тысячи лет тому назад здесь, у подножия холма, на котором красовался город Аполлония, плескалось море. Со временем река Вийосе, которая протекает недалеко отсюда, намыла землю, и море отступило от холма.

Почему же город Аполлония оказался погребенным? Ответ дает история: он был разрушен землетрясением примерно в III веке нашей эры.

В 1939 году француз Леон Рей произвел раскопки на холме близ села Поян. Экспедиция вскрыла верхние слои земли и обнаружила первые две улицы

Аполлонии. Одна из них ведет к античному театру — одеону, а другая — вдоль чудесной колоннады и стены с девятью нишами. В этих нишах некогда красовались мраморные статуи.

С холма открывается красивый вид. Прямо перед тобой — море. Налево — еще один холм. На нем уцелела древняя колонна: здесь были портовые сооружения города Аполлонии. Позади холма расположен не́крополь — древнее кладбище.

На скрещении двух главных улиц Аполлонии, рядом с одеоном, — развалины баптистерия, древнего храма.

Театр представляет собой каменное сооружение, места для зрителей расположены амфитеатром. Легко представить это сооружение, если современный цирк с местами для публики и ареной мысленно разделить пополам. На сцене, представляющей полукруг, выступали актеры в масках. Между актерами и первыми, нижними, рядами помещался оркестр. Представления проходили под открытым небом.

Глядя на этот неплохо сохранившийся театр и размышляя об игре актеров на этой маленькой сцене, я вспомнил слова Аристотеля, величайшего философа античного мира. Он писал:

«Эсхил первый увеличил число актеров от одного до двух, уменьшил хоровые партии и подготовил первенствующую роль диалогу. Софокл ввел трех актеров и роспись сцены».

Как видите, одеон — прародитель современного театра — был достаточно скромным и по оформлению и по своему актерскому составу...

Остатки античных городов Бутринта и Аполлонии, как и другие древности, охраняются народным правительством Албании.

Славные зачинатели

Борясь за национальную независимость, албанский народ в лице своих лучших сынов создавал свою культуру.

Первые книги на албанском языке были изданы около пяти веков тому назад. Слова изображались латинскими или греческими буквами, а иногда и турецкими письменными знаками. Первые книги были религиозного содержания.

Трудно приходилось в прежние времена деятелям культуры.

В прошлом столетии Наум Векильхарджи призывал писать по-албански. Он был отравлен беями.

Даскал Тодри составил албанский алфавит. Он был убит.

Много сил и знаний отдал своему народу Константин Кристофориди. Он работал над созданием литературного языка, составил словарь албанского языка. Кристофориди не видел поддержки со стороны правящего класса: феодалы не нуждались ни в литературном языке, ни в словаре. Ученый умер в бедности.

Основателем новой албанской литературы и зачинателем албанской классической поэзии по праву является Наим Фра́шери, живший в прошлом веке. Вместе со своим братом Сами Фрашери он звал на борьбу за национальное освобождение, призывал писать по-албански. Фрашери верил в светлое будущее Албании. Поэт писал в стихотворении «Надежда»:

Я зорко гляжу вперед
И вижу свет ясней:
Грядет счастливый год
Для страны моей.

Наим Фрашери умер на чужбине. Много лет спустя прах его перевезли в Албанию. Могила поэта находится в окрестностях Тираны.

Верно служили албанской литературе поэты Чаюпи (псевдоним Андона Зако), Ндре Миед, Мигьени (псевдоним Герш Милош Никола) и другие.

Мигьени безвременно скончался в 1938 году. Он знал русский язык. На его творчество оказала влияние советская литература. Его большому лирическому таланту не суждено было по-настоящему расцвести в годы диктатуры короля Зогу.

О литературном языке

Культура в Албании быстро развивается. И это понятно: надо наверстать упущенное!

Писательскую общественность волнуют вопросы литературного языка. Албанский литературный язык пока еще полностью не сформировался. Мы были свидетелями страстных споров по поводу диалектов.

Спор о литературном языке, который имел место на научной сессии в Институте наук, является еще одним свидетельством активного, созидательного труда албанского народа.

Классик албанской литературы Наим Фрашери писал в прошлом веке об албанском языке:

Вслушайтесь в народный язык —
Какой он красивый, богатый,
Свободный и точный...

Поэт призывал:

Давайте писать на нашем языке,
Чтобы просвещать народ.

В те годы некому было подхватить этот страстный призыв поэта, радевшего о развитии родной литературы.

Наследие классиков албанской литературы ныне в надежных руках писателей республики.

Интересы молодой, бурно развивающейся культуры требуют единого литературного языка.

Река Шкумби делит Албанию на две части: южную — Тоскерию и северную — Гегерию. Существуют два ярко выраженных диалекта: тоскский и гегский. Среднее положение между ними занимает эльбасанский диалект.

Наим Фрашери и Чаюпи писали на южном диалекте, Мигьени и Миеда — на северном.

Дискуссия о языке, проведенная Институтом наук, подвинула вперед изучение всех диалектов албанского языка.

Высокая творческая активность интеллигенции, которая проявилась на этой дискуссии, говорит о том, что задачи, стоящие перед деятелями науки, литературы, искусства, будут успешно разрешены.

Народное творчество

Истоки албанского народного искусства уходят в глубь веков.

На севере Албании, в селе Ре́чи, мы наблюдали интересные народные танцы. По большому кругу в быстром темпе ходили две-три пары. Каждая пара танцевала самостоятельно. Мужчины размахивали руками, словно орлы крыльями. Девушки выделывали ногами сложные и быстрые движения. Танцы шли в точном ритме — очевидно, по хорошо известному рисунку. Была в этих танцах одна особенность: исполнялись они без музыки.

Мне кажется, что мы наблюдали искусство реликтовое, то есть древнее, не тронутое веками. Может быть, это были танцы иллирийцев?

Мы видели также горские женские костюмы. Это оригинальные одеяния. Встречаются они только здесь, у мяльсе́ э ма́де, что по-албански означает «горцы».

А в Тиране нам показывали рисунки древних костюмов народов Средиземноморья. Колоколообразные шерстяные юбки, которые носят горянки в селе Речи, очень похожи на одеяние древних женщин.

Мы слышали албанские песни без слов. Они напоминали песни кавказских горцев, исполняемые высокими голосами. Как и танцы, эти песни, несомненно, тоже древнего происхождения.

Албанский народ музыкален.

Мы присутствовали на выступлениях самодеятельных ансамблей. Я никогда не забуду прекрасные песни, которые исполняли участники самодеятельности в Шкодере.

Интересно народное творчество — сказки, песни, легенды, пословицы. Они создаются везде: в горах и

на берегу моря, в рыбачьей лодке и у домашнего очага.

В горах в зимние месяцы, когда тропы засыпаны снегом, беседы у очага превращаются порой в театрализованные выступления. Молодежь делится своими впечатлениями о виденном и слышанном за лето; здесь нередко высмеиваются нерадивые работники. Если явились гости, их занимают веселыми рассказами и песнями, угощают жареной телятиной или бараниной, маслинами, кукурузными лепешками и виноградным вином или водкой — раки.

У этих очагов испокон веков рождались песни, направленные против беев и байрактаров, прославлялись народные герои.

У очагов рождались и сказки, в которые народ облекал свои мудрые мысли. Вот одна из них — сказка о ленивой женщине. Называется она так:

Ест тот, кто работает

Молодой человек, по имени Фатба́рд, решил жениться на девице Ла́е.

Лае была ленива. Лае была бестолкова.

— Разве она тебе пара? Не женись на ней, — отговаривали друзья Фатбарда.

— Она здоровая, из нее выйдет хорошая хозяйка, — отвечал Фатбард.

Должно быть, крепко полюбил он Лае.

Фатбард настоял на своем, и Лае пришла в дом Фатбарда.

Семья Фатбарда была большая. В ней главенствовал старый отец.

За обедом усаживались пятьдесят взрослых и детей. В такой семье на всех достанет работы по хозяйству, но Лае не любила работать — и платка себе не выстирает.

Сидела Лае сложа руки всю первую неделю, даже причесаться ей было лень.

— Она, пожалуй, еще гостья, — сказал старый отец.

Просидела Лае в ничегонеделанье и всю вторую неделю.

— Присматривается, — сказал старый отец.

Не работала Лае и всю третью неделю.

— Начнет с четвертой, — решил старый отец.

Однако Лае бездельничала и всю четвертую неделю.

И вот за обедом роздали всем еду, а Лае осталась с пустой тарелкой.

— А мне? — сказала Лае.

— А ты работала по хозяйству? — спросил старый отец.

— Нет, — ответила Лае.

— Ты ни разу не ударила пальцем о палец, ни разу не подмела своего угла, не выстирала себе платка. Знай же, дочь моя, есть тот, кто работает.

И вся семья молча согласилась со старым и мудрым отцом.

Так повторилось три дня подряд. Лае похудела, под ложечкой у нее посасывало от голода. Нечего делать, пришлось и ей поработать.

Однажды Лае подметала двор и видит — на осле едет брат. А жил ее брат далеко за горой.

Сестра бросилась навстречу брату.

— Ты к нам? — спросила она тревожно.

— К вам в гости, — ответил брат.

— А ты взял с собой еду?

— Зачем она?

Лае сказала ему:

— Здесь не кормят тех, кто не поработает.

Посмотрел на нее брат, смекнул, в чем дело, и, рассмеявшись, сказал:

— Глупая ты, Лае! Думаю, что в этой семье ты когда-нибудь наберешься ума. Что же до меня — не беспокойся: я гость, а хозяева этого дома умеют принимать гостей.

Сестра подивилась этим словам, но промолчала. Может быть, Лае и в самом деле наберется ума?

Источник мужества и созидания

Народ Албании спокойно и уверенно идет по пути социализма, мужественно преображает свою страну, делает ее лучше и краше. В чем же источник этого мужества и созидательной работы?

Прежде всего в том, что власть в Албании находится в руках народа. Народ, а не кто-либо другой распоряжается судьбами своего государства. Народу указывает путь Албанская партия труда.

Источник мужества и созидания в том, что Албания тесно связана с миром демократии и социализма.

Трудящиеся Албании имеют свою армию, которая охраняет мирный труд народа.

Ядро этой армии закалено в боях против оккупантов. Народная армия оснащена современным боевым оружием, она готова дать отпор любому врагу.

Когда думаешь о мирном труде и бдительности албанского народа, невольно вспоминаешь гору Томори. В ее величавом спокойствии как бы отражается дух народа, непреклонного в своей решимости бороться за мир и демократию.

Тирана—Москва
Август, 1952
Январь, 1953

БОЛГАРСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Страна наших друзей

Есть образ, связанный с Болгарией, который глубоко запал нам в душу еще с детства и на всю жизнь оставил в ней благородный след. Я имею в виду чудесный образ Инсарова, созданный Тургеневым. Разве тот, кто прочитал роман «Накануне», — прочитал еще на школьной скамье, — не проникся любовью к болгарскому народу, сочувствием к его печальной в прошлом судьбе?

Для меня это была первая встреча с болгарином, правда не в жизни, а в литературе, но тем не менее встреча живая и яркая. Вторая заочная встреча состоялась с другим болгарином — Георгием Димитровым в дни Лейпцигского процесса. Мне тогда было двадцать лет. Героизм Димитрова восхитил меня, как восхитил он и миллионы советских людей. Я жадно читал газеты и ощущал, какая огромная сила — моральная и физическая — заложена в болгарском народе.

И вот теперь, переезжая через болгарскую границу, я увидел многоводный Дунай, а в моих ушах зазвучали стихи великого Христо Ботева:

Кто в грозной битве пал за свободу —
Тот не умирает...

Мысленно рисовал я себе картину героической переправы через Дунай повстанцев, ведомых в апреле 1876 года к родным пределам поэтом и воином Христо Ботевым. А спустя год после гибели поэта Дунай форсировали и принесли свободу болгарскому народу бесстрашные русские солдаты...

Путешествуя по Болгарии, я видел многочисленные знаки признательности русскому народу. Об

источниках этой любви мы знаем немало. Но человек, впервые вступивший на землю друзей, невольно восстанавливает в памяти сблизившие нас исторические события.

С особым волнением осматриваешь памятники на Шипке и в Плевене, воздвигнутые болгарами в честь своих освободителей. По всем уголкам страны разбросано более четырех сотен памятников, в которых запечатлена эпопея освобождения Болгарии от турецкого ига. И особенно часто встречаются на этих памятниках два слова:

«Вечная признательность».

...Болгария долго страдала под пятою врагов. Еще на заре своего существования молодому болгарскому царству пришлось вступить в единоборство с могущественной Византией. Византийцы пытались даже переименовать Болгарию, окрестив ее Мёзией. А в XIV столетии явились турки. С того времени начинается пятивековое кровавое турецкое хозяйничанье. Конец ему был положен русской армией в 1878 году.

Не первый раз приходили русские на помощь своему славянскому собрату. Еще во второй половине X века киевский князь Святослав выступил против византийцев и признал болгарское царство.

Болгарский народ в борьбе против чужеземных угнетателей дал миру немало прекрасных имен. Никогда не забудутся имена Христо Ботева, Василя Левского, Георгия Раковского, Георгия Бенковского и других. Их горячие сердца и талант служили делу освобождения родины.

Но самой счастливой датой в истории болгарского народа стало 9 сентября 1944 года. В этот день вся власть перешла к народу. Благодарность Советской Армии — освободительнице, своему верному другу — советскому народу особенно велика в Народной Республике Болгарии.

Да, наши братские отношения с болгарами имеют славную и давнюю традицию. И не последнюю роль играет здесь языковая близость. Русский человек в Болгарии может обходиться без переводчика.



Вспоминаю такой эпизод. Мы идем по улицам Софии — болгарский поэт Божидар Божилов и я. Оживленно беседуем. Вдруг Божилов умолкает — позабыл нужное слово.

— Из головы выпало, — говорит он, — как оно по-русски называется?

— Что именно?

— Вот когда человек получает деньги и отдыхает.

— Санаторий?

— Нет.

— Дом отдыха?

— Нет.

— Скажите по-болгарски.

И он по слогам произносит это болгарское слово:

— От-пуск. А по-русски как?

И я тоже говорю, разделяя слоги:

— От-пуск.

Это получается очень смешно, и Божилов хохочет.

В Добрудже, на берегу Черного моря, писатель Пётр Славински сказал, указывая на деревцо:

— Люблю его. Не знаю только, как по-русски зовется.

— А по-болгарски?

И он говорит по-болгарски:

— Ка-ли-на.

— Вот оно что! — смеюсь я. — А теперь выслушайте по-русски: ка-ли-на!

...Чем была Болгария до 9 сентября 1944 года?

Слабой страной, фактически лишенной индустрии — этого основного показателя жизнедеятельности и жизнеспособности современного государства. В промышленности до второй мировой войны было занято немногим больше восьми процентов населения. Сельское хозяйство было примитивным. Государство XX века, как известно, не может обходиться без промышленности; если нет у него своей индустрии, оно становится добычей империалистов. Болгария и была такой добычей, в первую очередь добычей германского империализма.

Иначе пошло развитие промышленности и сельского хозяйства после 9 сентября 1944 года. Об успеш-

ности этого развития можно было судить, например, по Международной ярмарке в Пловдиве. С нее, по существу, и началось мое знакомство со страной.

Свои машины

— В Пловдив! На ярмарку! — Эти слова можно было услышать на железнодорожных вокзалах, автобусных станциях, в аэропортах Болгарии. В город Пловдив ехали из Софии, с берегов Дуная и Черного моря, из горных районов и с западной границы.

Интерес населения к Международной ярмарке в Пловдиве объяснялся не только традицией. На ярмарке наглядно было представлено лицо новой, народной Болгарии — ее промышленность, сельское хозяйство, культура. Много интересного находили гости в павильонах Советского Союза, Китая, стран народной демократии. В ярмарке участвовали десятки западно-европейских фирм.

Пловдив — второй по величине город Болгарии. Он расположен на берегу Марицы, которую в старых песнях называли рекой, окрашенной кровью героев-патриотов. В Пловдивском округе Марица ленива — с трудом узнаешь неуемную речку, с которой уже встречался.

Современный Пловдив — деятельный и шумный. Здесь новые заводы и фабрики. Население резко увеличилось, и уже дает себя знать недостаток в квартирах, хотя жилых домов построено немало.

Первая ярмарка в Пловдиве состоялась в 1892 году. И с тех пор город стал традиционным местом международных ярмарок. В сентябре 1955 года открылась шестнадцатая по счету.

Меня, разумеется, больше всего интересовали болгарские павильоны, где страна показывала продукцию своей промышленности, сельского хозяйства.

Болгария производит сотни различных типов машин. Я видел болгарские комбайны, многолемешные плуги, турбины, транспортеры, разнообразные уборочные машины, насосные установки для полей. Один из

насосов поднимал воду на высокую башню, и она низвергалась оттуда широкой струей, украшая собой ярмарку и как бы символизируя достижения молодой болгарской машиностроительной техники.

Не могу удержаться от соблазна привести две цифры — уж очень они показательны. Если сравчить, например, рост продукции металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности Болгарии с довоенным уровнем, то придется констатировать увеличение более чем в двадцать семь раз! Продукция химической промышленности выросла более чем в семь раз! А рост продолжается непрерывно!

Каждый, кто хоть немного знаком с прежней Болгарией, не может не поражаться ее успехам. На ярмарке можно было увидеть также изделия легкой промышленности, которыми, к слову сказать, щедро заполнены магазины, а также богатые дары сельскохозяйственных кооперативов.

В болгарском павильоне «Электрификация» я приметил группу женщин, одетых в красочные костюмы. Волосы у них заплетены в десятки мелких кос, свисающих до пояса. Серебро, бархат и шелк причудливо сочетались в их нарядах. Это горянки с Родоп.

— Что это? — спрашивали они сопровождающего их молодого человека, тоже, по-видимому, горца.

— Аппарат Рентгена.

— А это?

— Телефон. Станция-автомат. Без телефонистки соединяет.

Надолго задержались женщины возле стиральной машины и электрической кухонной плиты.

— А где все это делают? — спрашивала одна из женщин.

— У нас.

— Все эти аппараты? — сказала женщина, повернувшись кругом на каблуках и указывая пальцем на стенды.

— Все! — отвечали ей.

Горянки переглянулись: вот какова, дескать, наша Болгария!

В самом деле, болгарские павильоны не могли не

удивить каждого, кто хотя бы немного знаком с экономикой старой Болгарии. Теперь Болгария не только производит различные сложные машины, но и экспортирует их.

Павильон «Сельское хозяйство» наглядно свидетельствовал об успехах кооперативных хозяйств новой Болгарии. Здесь так же нарядно, как на полях, мимо которых едешь по пути в Пловдив: золотые листья табака, ярко-красные помидоры и перец, прозрачный светло-зеленый виноград, солнечно-желтая кукуруза, румяные яблоки, пшеница — словом, все цвета радуги.

Разгадку этого бурного цветения болгарской земли во многом объясняли соседние павильоны. Там находились станки, насосы, автобусы, комбайны, плуги, жнейки, моторы и сложные механизмы — различная техника, изменившая облик Болгарии.

На стендах — отлично сработанные, сделанные с большим вкусом товары. Обувь, платье, ковры, сотни предметов домашнего обихода говорят о больших возможностях болгарской промышленности. Кстати, эти товары заполняют и магазины Софии, Пловдива и других городов.

Заслуженным успехом и большим вниманием пользовался на ярмарке советский павильон. Его здание розового цвета ежедневно посещали тысячи людей.

На ярмарке было много автомашин и музыкальных инструментов из Западной Германии, мотоциклов и велосипедов из Франции и Италии, промышленных товаров из Швеции, Голландии, Бельгии, Австрии, Швейцарии. В деловом холле ярмарки непрерывно звонили телефоны. Представители торговых фирм вели переговоры с болгарскими экспортно-импортными организациями.

Когда мы уезжали из Пловдива, день уже подходил к концу. Быстро мчалась машина в Софию. Из радиоприемника неслись болгарские народные песни. Вокруг было тепло и тихо. Слева — Родопы, справа — Фракийская долина. У подножия Родоп и в долине — мерцание тысяч электрических огней...

Родопская быль

Родопы — край горных вершин и ущелий. Один из инженеров назвал их болгарским Уралом, имея в виду не только внешнее сходство, но и богатства недр.

Исторически сложилось так, что Родопы оказались в стороне от общего культурного развития страны. Здесь всегда было меньше грамотных, чем в других округах, не было почти никакой промышленности. В горах проживают пома́ки — болгары-магометане.

И до сих пор здесь можно увидеть рядом с современным предприятием одинокое село, где люди живут по старинке. Вы можете встретить известную работницу, о которой пишут газеты, и рядом женщину, которая не ответит ни на один ваш вопрос, ибо по старинному, еще не изжитому обычаю не имеет права разговаривать с незнакомыми мужчинами.

Сейчас в Родопских горах идет большое промышленное строительство. В районе поселка Бата́к сооружается мощный каскад из нескольких гидроэлектростанций. Система «Батак» даст в два раза больше электроэнергии, чем вырабатывалось во всей старой Болгарии!

Недалеко от греческой границы, на реке Арде, стоит новый город Ру́дозем. Он разместился в тесной долине, по соседству с рудниками, в которых добывается руда, дающая цинк, свинец и пирит.

Дорога в Рудозем идет по горным хребтам, и орлы парят совсем рядом. Вокруг вас и под вами на крутых склонах — еловые леса. Над вами — синее южное небо. Очень тепло, почти жарко, и это глубокой осенью! Вдруг далеко внизу показывается город — черепичные крыши среди зеленых гор. Черепица растекается красными потоками в боковые ущелья.

Автомобиль сворачивает с дороги — и вы уже в гуще рабочих, идущих на очередную смену. Быстро спускаются сумерки.

Года три назад здесь была непроглядная тьма. А нынче? Тысячи ламп освещают новые улицы и

переулки, фасады домов отражаются в бурной Арде бесчисленными огнями.

Понемногу над Рудоземом воцаряется тишина. Город спит. Спят окрестные помацкие села. Черными силуэтами высятся горы. А в цехах обогатительной фабрики шум и грохот. Это перемалывается добытая порода. Пройдя через дробилки, мельницы и месители, на другом конце здания сыплются в огромные бункера драгоценные зерна концентратов свинца, пирита и цинка.

Городу Рудозему всего три года. Для своих трех лет он красив и достаточно велик. Вместе с соседним городом Мада́ном Рудозем не только увеличивает промышленную мощь народной Болгарии, но и чудесным образом меняет дух и сознание родопских горцев. В этом я убедился после разговора с помакиней Зекией Раковой.

Худенькая смуглая Зекия́ одета в рабочий костюм. Ей тридцать семь лет, у нее двое детей. Не так давно Зекия еще носила ферендже, то есть чадру.

— Но это полдела, — сказала она, лукаво сверкая глазами, — ферендже сбрасывают многие помакини. Я решила работать. И это главное для меня. Мой муж был сначала в ужасе. Даже и не знаю, как он пережил все это.

— Быстро смирился?

— Что вы! Сначала хотел бросить меня. Ему казалось, что я позорю его. А потом попросил подождать с работой год, полгода, ну, месяц хотя бы. Я сказала: нет!

— И что же?

— Он работал здесь, в этом же цехе. Однажды приходит домой и говорит: «Жена Мамеда явилась на фабрику. Жена Руфата — тоже. Можешь идти, если хочешь». Хочу ли? Даже очень... И я, как видите, тоже здесь. Научилась читать, писать. Дети в яслях. В общем живем неплохо.

Короткий разговор. Можно сказать, едва прикоснулся к чужой человеческой судьбе, но как все понятно и ясно! Я невольно вспомнил нашу Среднюю Азию, ее кишлаки, где некогда женщина тоже зады-

халась в неволе. И как все нынче переменилось там!.. Я сказал об этом Зекии Раковой.

— Вот видите, — сказала она, — как я правильно поступила! Теперь у меня не только семья, но и этот цех.

— А не трудно вам? Наверное, приходится и дома работать?

— Зато здесь легче, — и она приложила руку к сердцу.

— Верно, на душе легче, товарищ Ракова. И это очень важно.

В двух километрах от Мадана находится помацкое село Ловци — десятка полтора каменных домов на крутом косогоре. Нас встретили здесь очень любезно, приглашали в дома, предварительно, по магометанскому обычаю, тщательно спрятав своих жен и взрослых дочерей.

Смаил Кабадабаев показывал нам свой дом. В нем уже есть электричество, радио, пружинные кровати. Он говорил о родной народной власти, о том, что наконец-то люди зажили человеческой жизнью.

Смаил получает сейчас пенсию по болезни. Он знает цену всему новому, что делается для него и других тружеников. И радио он полюбил. И свет электрический. Но старые обычаи еще живут в этом доме — об этом свидетельствовало хотя бы бегство от посторонних глаз женской половины семьи.

Я уж говорил, что помакини не смеют разговаривать на улице с посторонними мужчинами. Ходят они в длинных черных халатах и белых покрывалах, старательно прячутся от гостей. Но женщины уже не в силах оторвать глаз от больших домов, построенных для рабочих, от просторных клубов и грохочущих цехов. Можно не сомневаться: и помакини села Ловци последуют примеру Зекии Раковой.

От двенадцати до двух часов дня

После Родоп Фракийская долина кажется настоящей степью. Здесь спокойные линии равнин перемежаются небольшими холмами.

Родопы я сравнил бы с предгорьями Северного Кавказа, а Фракийскую долину — с долиной Терека или Кубани в их среднем течении.

Покружившись по горным дорогам, мы несемся по прямому шоссе. Все чаще встречаются массивы земли, вспаханные под озимь. Это кооперативные поля. Навстречу нам тянутся телеги, запряженные парой тихоходных, но могучих белых быков с большими рогами. Крестьяне убирают кукурузу, сахарную свеклу, капусту. Сельские дома увешаны гирляндами красного перца и чеснока, заготовленными на зиму.

Мой спутник, болгарский журналист, поторапливает шофера:

— Нам надо быть в Димитровграде не позже двух.

— А почему именно не позже двух? — спрашиваю я.

— Надо же нам пообедать!

Оказывается, от двенадцати до двух — время обеденное. В эти часы рестораны и кафе работают с максимальной нагрузкой. В эти часы обедают и город и деревня. После двух рестораны, как правило, закрываются до ужина. А утром кафе и закусочные открываются очень рано — часов в шесть.

От двенадцати до двух рестораны переполнены. Меж столов снуют официанты с подносами.

— Мóля, мóля — говорят они, то есть «прошу, прошу», что в данном случае означает «сию минутку», сию минутку». И они не жалеют улыбок для нетерпеливых посетителей. И как будто довольны все, даже вспотевшие официанты. Правда, сатирическая газета «Стыршел» иногда прохаживается насчет вежливых официантов, которые, дескать, слишком заставляют ждать, но это все-таки, я думаю, не самое характерное в жизни болгарских ресторанов.

В свободное время болгарин любит посидеть в ресторане или кафе. В Софии, в центре, есть ресторан «Чайка». Весь вечер играет здесь небольшой оркестр, играет почти непрерывно, как говорится, на совесть. В этом ресторане собираются не только молодые люди, но иногда целые семьи — от мала до велика.

В Болгарии вино дешевое, ракия и мастика — напитки крепкие, и тем не менее пьяных не видно.

В воскресные дни обычно все закрыто, за исключением ресторанов (даже газетные киоски не работают).

В Димитровграде

Димитровград совсем еще юный город. Несколько лет назад тут были две деревни и небольшая железнодорожная станция.

Если попытаться представить образ новой Болгарии, найти символ ее, то лучше всего, пожалуй, приехать в Димитровград и познакомиться с ним и людьми, населяющими его.

Город вырос вокруг огромного химического комбината, цементного завода, теплоэлектроцентрали и других предприятий.

Пройдемся на химический комбинат. Его территория украшена зеленью и цветочными клумбами. Несколько корпусов соединено между собою большим воздушным трубопроводом.

Далеко впереди — труба. Она не дымит, хотя работают в три смены. Труба служит для забора чистого воздуха. Выделенные из воздуха азот и кислород после ряда сложных операций применяются при производстве удобрений для полей. Приходится иметь при этом дело с температурами примерно минус сто девяносто — двести градусов.

Молодой инженер, наблюдающий за работой мощных охладительных аппаратов, повернул небольшой кран: из него полился в ведро жидкий кислород. Жидкость словно кипела, во все стороны летели брызги.

— Лет десять назад, — сказал он, — мой профессор по химии утверждал, что низкие температуры в несколько десятков градусов можно наблюдать только в отдельных лабораториях, да и то не в Болгарии. А недавно я написал ему письмо с приглашением посетить наш комбинат и посмотреть, что такое минус двести градусов.

Отсюда во все концы Болгарии отправляют пять видов удобрений для сельского хозяйства. Если к этому добавить продукцию завода комбинированных кормов, построенного близ Плевена, то станет более ясной та поддержка, которую получает сельское хозяйство Болгарии.

Дома в Димитрограде трех- и четырехэтажные, построены экономно, без излишнего украшательства. На всем облике города лежит печать стройки, еще не все кварталы достаточно обжиты, во дворах — остатки строительных материалов. А иные кварталы — в лесах. Город продолжает расти.

Молодые силы

О культуре труда в болгарской промышленности можно получить представление, посетив электротехнический завод. От Софии это минут пятнадцать езды.

На пятом этаже одного из корпусов устроена открытая веранда — летнее отделение рабочего клуба. Отсюда открывается вид на Софию, расположенную у подножия горы Витоша. Хорошо видны большие правительственные здания в центре Софии, новые дома на ее окраинах. Недалеко от завода вырос рабочий поселок из типовых четырехэтажных «блоков». Большинство домов под черепицей.

Если в Димитровграде поражала мощная индустриальная техника, которая как бы символизировала силу человека, то здесь, на электротехническом заводе, вы соприкасаетесь со сложными и умными приборами. Для их изготовления необходимы высокое техническое мастерство и необычайная точность в работе.

Заводу нет еще и пяти лет. Он выпускает радиоприемники, различные электрические счетчики, рентгеновскую аппаратуру, установки для автоматических телефонных станций.

— Каково мнение врачей о ваших рентгеновских аппаратах? — спросил я старшего конструктора Рущева.

— Полагают, что аппараты на уровне требований современной медицины.

— А телефоны?

— На их работу тоже не жалуются. Мы экспортируем телефонную аппаратуру и за границу, в частности в страны Ближнего Востока.

Я обратил внимание на то, что среди рабочих очень много молодых людей.

— Верно, — согласился Рущев, — это все новые специалисты и мастера. Ведь раньше в Болгарии никогда не производили рентгеновскую аппаратуру и телефоны. А теперь мы не только изготавливаем их, но и вносим много технических усовершенствований.

В цехах можно увидеть плакаты, на них изображены различные детали и написаны фамилии рационализаторов, предложивших то или иное усовершенствование. И обязательно указан, как здесь говорят, «экономический эффект», то есть годичная выгода от этого предложения.

Например, Младенов предложил изготовлять некоторые детали из пластмассы: вместо нескольких операций достаточно одной! Это дало большую экономию. В цехе электрических счетчиков рабочие внесли до полусотни предложений. За год рационализаторы сэкономили заводу более семисот тысяч левов. Сам Рущев предложил свой способ изоляции тонких, как волоски, проводников. На этом завод ежегодно выгадывает до шестидесяти тысяч левов...

— Надо признать, — сказал Рущев, — что мы быстро освоились со сложным производством. Не так ли?

Я утвердительно кивнул.

— А знаете почему? Потому, что нам помогают Советский Союз и другие братские государства. И мы стараемся работать лучше и экономнее.

Завод оставляет прекрасное впечатление не только совершенными механизмами, но главным образом людьми, способными и талантливыми, преданными делу народа рабочими.

Жизнь зовет, товарищ!

В болгарскую промышленность вливаются молодые силы рабочего класса, и это полностью отвечает интересам строительства социализма.

В Добрудже я посетил недавно открытые нефтеносные районы, познакомился с нефтяниками.

Это было в селе Тюленево на берегу Черного моря. Буровой мастер Донев, сорокалетний, невысокий человек с лицом крестьянина, сказал:

— Как видите, это еще не Баку.

Я ответил, что Баку гораздо старше.

— Верно, три года назад здесь было голое место. Село славилось только тюленями — они водятся в нашем заливе. А теперь вот черное золото!

Я вглядывался в лица рабочих, буривших скважину. Это вчерашние крестьяне, невысокие, коренастые, привыкшие ходить за плугом.

Зимой здесь, на буровой, приходится туго: мороз, ветер с моря. Но это не страшит нефтяников. У них теперь своя гордость: ведь никогда не добывали нефть в Болгарии, а ныне она обнаружена, и добывают ее не кто-нибудь, а бывшие добруджские пахари!

Мне рассказывали о том, как была найдена нефть, как советские специалисты помогали исследовать недра и доставать из земных глубин первые тонны ценнейшего горючего.

Добруджская равнина приподнята высоко над морем. Насколько хватает глаз — безлесная плоская земля. Однако этот пейзаж быстро меняется: уже много вышек вокруг, а будет их еще больше.

Донев знакомит меня со своими друзьями. Работают они вместе не более двух лет. Вообще говоря, это их трудовой стаж в промышленности. Я перебрал в памяти свои предыдущие поездки на фабрики и заводы Болгарии — почти везде одна и та же картина: молодые рабочие, молодые техники, молодые инженеры! Невольно припомнилась наша атомная электростанция под Москвой. На ней, справедливо олицетворяющей высшее достижение технической мысли, молодые техники и инженеры, а на некоторых

участках—юноши со школьной скамьи. Это поразило меня. Но, видимо, есть что-то закономерное в этой связи нового в науке и производстве и юного, цветущего в человеческой жизни!..

Молодые рабочие на металлургическом заводе «В. И. Ленин» (около города Димитрово); молодые рабочие на инструментальном заводе «Большевик» в Габрово; молодые рабочие на содовом заводе близ города Варна!

Главный инженер завода «Большевик» в Габрово тоже очень молод. Фамилия его Пенчев. В 1950 году он окончил политехнический институт в Софии. На заводе работают главным образом его сверстники. Они снабжают инструментами почти всю болгарскую промышленность.

Я сказал Пенчеву:

— Все вы еще молоды, а делаете большое дело.

Он хлопнул по плечу стоявшего рядом с ним председателя заводского комитета и с улыбкой произнес:

— Жизнь зовет, товарищ!

Сельская новь

Недалеко от города Димитрово, в долине реки Струмы, находится село Беланица. Одиннадцать лет назад здесь возникло кооперативное хозяйство. Это, пожалуй, старейший кооператив во всей Болгарии, и было особенно интересно познакомиться с ним.

Вместе со своим спутником, журналистом Славчо Васевым, мы заехали в правление, чтобы узнать, где председатель.

— Товарищ Райчо в поле, — объяснили нам.

День выдался солнечный, теплый. На полях желтело жнивье. Оставалось убрать сахарную свеклу. Все члены кооператива, за исключением животноводов, трудились на копке свеклы, складывали ее в кучи.

Райчо пошел нам навстречу. Ладно сбитый, неторопливый в движениях, он на ходу вытирал руки

платком. И когда мы обменялись рукопожатием, я почувствовал натруженную, огрубевшую ладонь.

— Мы все взялись за свеклу, — сказал Райчо, — она у нас, можно сказать, гостья. Впервые сеяли.

— Работаете вручную?

— Да, участок небольшой.

Райчо пригласил нас осмотреть хозяйство. Кооператив сравнительно невелик — пятьдесят дворов. Сеют пшеницу, кукурузу и ячмень.

Райчо рассказывает:

— Водопровод мы провели. Есть у нас электричество. Пора строить насосную станцию — поля должны получать воду в любое время.

Образование у него небольшое. Зато помогает здоровый крестьянский практицизм. Это чувствуется во всем.

За одиннадцать лет кооператив возвел много хозяйственных построек. Каждый второй член кооператива обзавелся новым кирпичным домом. Что еще? Растут доходы крестьян, а это самое главное...

Все жители села Беланица — члены кооператива. А вот в соседнем селе нет кооператива.

— Они упорные, — сказал Райчо, смеясь, — хотят поглядеть, что у других получится. Между прочим, породистый скот у нас покупают, да и хлебом нашим не брезгуют.

И я вспомнил немолодого уже крестьянина, с которым повстречался в околии Станке Димитров на юге страны. Сгорбясь, он шел за деревянным плугом, сердито понукая быков. Звали его Александром, и к нему все обращались с приставкой «бай Александре», подчеркивая уважение к солидному возрасту.

Не без интереса разглядывал я неуклюжий плуг.

— Бай Александре, — сказал мой спутник, — вы знаете, когда изобретен такой плуг?

— Не знаю.

— Пять тысяч лет назад в Египте. А может быть, и раньше.

Сухощавый, загорелый, бай Александр понимающе улыбнулся. Закурил сигаретку.

— А у нас земля такая, — сказал он, — только этим плугом и возьмешь ее.

Ему возразили:

— На Кавказе, в Советском Союзе, тоже горы, но там пашут совсем другим плугом.

— Тот плуг, наверное, быки не потянут.

— А для чего же трактор?

— Есть тут у нас и трактор и новые плуги, — сказал бай Александр. — Недалеко. В кооперативе. И комбайн, говорят, есть.

— Как это говорят? Разве вы не видели?

— Нет, не видел. Времени не было.

— Что еще говорят?

— Говорят, что у них урожай большой. Это потому, что удобрения из города привозят. Неудивительно! Но они, — тут бай Александр нехорошо усмехнулся, — не смогли весь хлеб с поля вывезти. Долго мучились.

Бай Александр не согласился, что стальной плуг и трактор лучше деревянного плуга, и поплелся дальше за быками, словно не слыша шума моторов, доносившегося из кооперативного хозяйства, не желая замечать того нового, что неодолимо идет по болгарской земле...

Возвратимся, однако, в Беланицу.

Райчо познакомил нас со своей супругой. Она работает на ферме, награждена орденом. На фермах этого хозяйства до четырехсот овец, много птицы, шестьдесят коров, десятки свиней.

Подошла обеденная пора. И мы увидели дом Райчо — один из многих построенных за последнее время. Это одноэтажный особнячок из нескольких комнат, обставленных красивой мебелью.

Нас угощают обычной в Болгарии едой: салат из помидоров и печеного перца, суп из телятины — чорба от телешко, икра баклажанная — кёпоолу, кебапчета — рубленое мясо, изжаренное на угольях. Пить предлагают ментовку — крепкий напиток, настоенный на мяте, пиво и сухиндольскую гымзу. Товарищ Славчо Васев пьет за то, чтобы и Райчо удостоился такой же награды, что и Славка, его жена.

— Это зависит от его стараний, — сказала Славка, смеясь. — Пусть построит детские ясли — тогда, может быть, мы и похлопочем о нем.

Райчо возразил жене:

— А может быть, раньше помповую станцию построить, а затем уж ясли?

— Так мы не договоримся, — сказала Славка.

За обедом Райчо рассказывал о том, как он ездил в Советский Союз, в колхозы Кубани и Украины.

— Я вернулся оттуда словно помолодевший, хотя, как видите, я не очень стар. А главное, лучше понял, что̀ и как делать, чтобы кооператив наш богател.

В Сухиндоле

В отличие от Беланицы, села хлеборобов, в Сухиндоле, что на севере Болгарии, живут виноградари. Дорога к Сухиндолу идет по холмистой местности, где произрастают белый и красный сорта винограда.

Сухиндол — это большое село, похожее на городок. Здесь двухэтажные дома, дети занимаются в трех средних школах. До полусотни крестьянских юношей и девушек учатся в высших учебных заведениях Софии, Пловдива и Варны.

В кооперативе «Септември» тысяча шестьсот работников. Только десятка два хозяйств остаются вне кооператива.

Более шестидесяти человек в кооперативе имеют высшее образование. И они вовсе не рвутся в Софию, ибо любят свое село и делают все, чтобы оно стало еще краше. Деятельность этих людей с высшим образованием накладывает свой отпечаток на всю культурную и хозяйственную жизнь Сухиндола. Заметим мимоходом, что здесь нет ни одного неграмотного.

Я беседовал с сухиндольскими крестьянами, членами правления, пастухами, виноградарями. В кооперативе хорошо, а будет еще лучше — таков общий вывод, к которому они приходят.

В прошлом, 1954, году стоимость одного трудодня в «Септември» составила 14 левов. В этом году достигает 20. В хозяйстве до пятисот коней, свыше двух

тысяч овец, пятьсот голов крупного рогатого скота и шесть грузовых автомашин.

С 1948 года, то есть со дня организации кооператива, возведено сорок пять крупных хозяйственных построек. Ныне сооружается сеть оросительных каналов, насосная станция.

— Скоро одолеем и засуху, — говорили крестьяне.

«Септемврi» — один из богатых и слаженно работающих кооперативов. Таких немало в Болгарии. Но наряду с ними есть и маломощные. Это, как правило, там, где плохо организован труд или недостаточно уделяется внимания садоводству, овощеводству и животноводству.

На юге Болгарии, в долине реки Стрӯмы, я беседовал с крестьянином Лютовым — пожилым человеком в колпаке (болгарская мерлушковая папаха) и живописном национальном костюме. В его кооперативе выращивают главным образом табак сорта «мелничный» (от города Мелник). В нынешнем году надеются получить более двадцати левов на трудодень. Вот что значит хорошо налаженное садоводство и овощеводство!

Голубые язовиры

Язови́р — по-русски водохранилище. Один из первых язовиров, которые мне довелось увидеть, был имени Георгия Димитрова. Он расположен в семи километрах от Казанлыка, в знаменитой Долине роз. Река Тунджа перегорожена плотиной длиною в восемьсот сорок метров. Здесь образовалось искусственное озеро емкостью в сто миллионов кубометров.

Воды язовира приводят в движение турбины двух гидроэлектростанций и орошают более сорока тысяч гектаров казанлыкских и стара-загорских полей.

В селе Бузовград (это недалеко от Казанлыка) мы на деле убедились в практическом значении язовирных вод. Местный кооператив выращивает главным образом овощи, хотя в его хозяйстве немалое место занимают также пшеница, кукуруза, сахарная свекла.

Оросительная система существовала в Бузовграде и до постройки водохранилища на Тундже. Но вода прежде обходилась кооперативу в семнадцать тысяч левов в год, а теперь — всего в две тысячи. А ведь плюс ко всему и электрический свет получили!

Председатель кооператива Тодоров, высокий, седеющий мужчина лет сорока, очень подробно рассказывал о хозяйственных заботах крестьян. Надо увеличивать доходность — это очень важно как для членов кооператива, так и для тех, кто еще не состоит в нем, но ревниво следит за его развитием. (Половина села была вне кооператива.)

Друзья Тодорова добились повышения урожайности даже таких «исконно болгарских» бахчевых культур, как перец, баклажаны, помидоры. Например, в 1955 году с одного гектара (в Болгарии земельные участки измеряются декарами — одной десятой гектара) было получено до шести тысяч килограммов помидоров, что по местным условиям очень хорошо. Вообще по всем культурам урожайность выше, чем в единоличных хозяйствах.

— В кооператив приходят новые люди, — говорил Тодоров, — в год по два-три хозяйства. Это, может быть, и не так много, на зато уж верно.

Я видел большой язовир, что недалеко от Софии, язовиры «Александр Стамболийский» на севере Болгарии и «Студена», который питает водою город Димитрово. «Голубые гектары» разлились среди горных ущелий. Люди создавали их с любовью и прилежанием.

Хочется отметить большой размах строительства в деревне. Многие села обновлены за последние годы почти наполовину.

Если учесть, что сельские дома, как правило, каменные и под черепичной кровлей, можно представить себе, какова потребность в кирпичах. В то же время государственные кирпичные заводы заняты снабжением главным образом новостроек. Откуда же в таком случае берут крестьяне кирпичи?

Сами делают.

Солома и кирпичи

Хорошо сказано в пословице: не боги горшки обжигают. В Болгарии очень часто можно встретить небольшие печи. Они складываются из кирпича-сырца. Крестьянская семья приготовляет его в свободное от полевых работ время. Топливом в таких печах служит обычно солома, в некоторых случаях — каменный уголь. За несколько дней обжига крестьянин получает 10, а то и 15 тысяч кирпичей. Есть печи и побольше. В зависимости от задуманной постройки можно выбрать ту или иную печь. Можно, очевидно, и с соседом сойтись — вместе обжигать кирпичи. Так, пожалуй, работа пойдет веселее.

Недалеко от города Стара-Загора мы остановились на обочине шоссе. Уже немолодой крестьянин разбирал остывшие кирпичи. Ему помогал сын.

— А выгодно самому обжигать кирпичи? — спросил я.

— Почему бы нет? — в свою очередь, задал он мне вопрос.

— Может быть, проще на кирпичном заводе купить?

— Но он далеко. Кирпич придется возить. А у меня и глина и солома под рукою.

Сын его оказался бойким малым.

— Зачем смотреть в рот государству? — сказал он. — Разве у государства мало дел? Надо строить заводы, фабрики, надо железо добывать, свинец, цинк. А дом мы построим сами. Что вы скажете?

Я ответил, что в его словах много правды.

Молодой человек продолжал:

— Наше село в течение пяти лет отстроилось почти заново. Значит, на нас должен был бы работать целый кирпичный завод. А кирпич — немудреная штука.

Как мне хотелось в этот момент, чтобы при разговоре присутствовали некоторые наши товарищи, которые порой и глину, а не только кирпичи, норовят у государства получить вместо того, чтобы самим проявить инициативу...

О табаках

В сентябре — октябре почти вся южная Болгария занята уборкой и сушкой табачных листьев.

Табак — одна из главнейших статей болгарского экспорта — славится далеко за пределами страны. Проезжая по небольшим городам и селам, вы увидите сушильные рамы почти на каждом доме. Нанизанные на суровые нитки табачные листья сушатся на солнце, постепенно приобретая золотистый цвет. Затем табак ферментируют на специальных заводах. Оттуда он поступает в цехи табачных фабрик.

В зависимости от местных условий выращивается несколько сортов табака. Вот некоторые из них: «джебел», «секирка», «рила», «неврекоп», «козерско», «станимака», «харманли», «виргиния». У «джебела» очень мелкие листья, а стебель растет не выше метра. «Виргиния», напротив, обладает большими, сочными листьями и ценится значительно ниже «джебела». Идет «виргиния» главным образом как примесь к хорошим сортам табака.

В Родопах один крестьянин сказал мне:

— «Джебел» — это золото. Чем меньше листья, тем лучше.

В Абхазии, в селе Тамыш, меня учили в детстве:

— Осторожней с мелкими листьями, нанизывай их поаккуратней: они стоят дорого.

Абхазия тоже славится своими табаками, однако качество их за последние двадцать лет, как мне кажется, несколько ухудшилось. Табачные организации погнались за крупным, тяжеловесным листом, утверждая при этом, что борются за сохранность всех прочих качеств. Но, очевидно, это не всегда удается...

Немного о перце

Все мы, я уверен, достаточно наслышаны о болгарском перце. На юге нашей страны, например, он пользуется большой популярностью (к сожалению, только один из видов болгарского перца — зеленый, напоми-

нающий усеченную пирамиду). Его обычно фаршируют мясом или рисом. В Болгарии он называется сортом «камби». Кроме этого сорта, есть еще «севрия», «калинков», «калия» — пазарджинская и шуменская, «ратунд зеленый» и другие. Общее их название — чушки. Есть и горькие чушки, маленькие, — их приправляют к различным «нервозным» блюдам. (В Казанлыке, например, нам подали, как было указано в меню, «кюфтет нервозный», после него губы горели добрых полчаса.)

Почти в любом ресторане — городском или деревенском — вы можете получить блюда из перца. Они дешевы и весьма полезны. Болгарский перец содержит сахар, кислоты, много витамина «А» (почти столько же, сколько морковь), а витамина «С» — больше, чем любые овощи.

Перец в Болгарии пекут на углях и подают в масле, а зимой фаршируют мясом, предварительно высушив на осеннем солнце.

Читалище

Первые читалища были открыты около ста лет назад. Задумывали их как просветительские дома, но с первых же дней они приобрели гораздо большее значение. Вокруг читалищ группировались патриотически настроенные люди, наряду с распространением культуры разжигавшие пламя борьбы против турецкого владычества. Это сразу же подняло авторитет и популярность читалищ. Народ не жалел средств, чтобы получше построить их.

В годы фашистского режима читалища также играли активную роль. Коммунисты умело использовали их работу как одну из форм массово-политической деятельности.

В нынешнее время читалище можно было бы назвать домом культуры. Самые большие и красивые здания в селах, как правило, принадлежат читалищам. Здесь всегда можно найти свежие газеты и журналы. При читалищах обычно имеются библиоте-

ки, кино, кружки художественной самодеятельности и даже музыкальные школы. Что представляет собой, например, сухиндольское читалище?

Каменное, двухэтажное, уютно обставленное здание. За ним, как видно, хорошо присматривают — содержат в чистоте, вовремя ремонтируют. В читальном зале до полусотни разных газет и журналов. В библиотеке свыше пятнадцати тысяч томов, тысяча сто абонентов. В музыкальной школе при читалище обучаются игре на пианино, скрипке и аккордеоне более ста детей. Самодеятельный кружок поставил болгарскую оперетту Христо Монинова «Лиляна»; она прошла тридцать восемь раз. «Аршин-мал-алан» «выдержал» более сорока представлений. Недавно сухиндольские зрители слушали «Наталку Полтавку». Регулярно демонстрируются кинокартины.

А если взять читалища Казанлыка или Тырнова, то это уж настоящие дворцы культуры. Археологическим музеем при Казанлыкском читалище ведает писатель Чудомир. В библиотеке тырновского читалища «Надежда» — до ста тысяч томов.

В Болгарии книги расходятся быстро. Почти вся художественная литература, выходящая в Софии, знакома народу. Очень любят современных болгарских писателей, многих знают просто по именам. Достаточно сказать Христо, Людмил, Ангел, Елисавета, Божидар и не добавлять Радевски, Стоянов, Каралийчев, Багряна, Божилов.

Надо заметить, что в общем читалища работают очень хорошо, особенно в северной и средней Болгарии.

Самыми активными посетителями читалищ являются школьники.

Дети в школах

В народной Болгарии огромное внимание уделяется юному поколению, его образованию. В стране построено немало зданий, предназначенных для учебных заведений. Но все же еще весьма ощутительна диспропорция между темпами строительства

новых помещений и ростом контингента учащихся. Думаю, что в этом смысле характерно положение одной из школ приморского города Бургаса.

В полдень мы с писателем Ангелом Каралийчевым пришли в среднюю школу. Каралийчева дети узнали сейчас же (он написал для них целый ряд книг) и обступили его. Школьники держали в одной руке сумки, а в другой — ботинки. (В Болгарии ученики в школе снимают уличную обувь и надевают мягкие домашние туфли.)

Писателя слушали внимательно, не прерывали. В большом дворе установилась тишина.

Я спросил одного из преподавателей:

— Почему учеников не пускают в классы?

— Там сейчас первая смена.

— У вас, стало быть, две смены?

— Нет, три, а вернее — четыре. В школе занимаются также слушатели педагогического училища. Но скоро они перейдут в новое здание.

— Сколько же у вас учащихся?

— Пять тысяч!

Почти в каждом среднем учебном заведении имеется врачебный пункт, в котором работают врач-терапевт, зубной врач и медицинская сестра. В одной из софийских школ мы застали в пустом классе мальчика лет девяти. Он усердно тер мокрой тряпкой доску. Увидев нас, мальчик, казалось, побледнел.

— Вы доктора? — спросил он, глотая слюну от волнения.

— А что?

— Будете уколы делать?

— А вам уже делали?

— Да, совсем недавно.

— В таком случае не будем.

Мальчик облегченно вздохнул. Как видно, школьные врачи в Болгарии хорошо исполняют свои обязанности.

...У ворот завода комбинированных кормов близ Плевена мы встретились с группой школьников. Это была экскурсия на завод. Разговорились. Многие дети отвечали на русском языке. Маленький Вален-

тин Митев прочел наизусть басню Крылова «Зеркало и обезьяна». Лепка Домущиева спела русские частушки.

Мы тепло расстались с нашими юными друзьями.

С особенной радостью вспоминаю я болгарских школьников — милых юных граждан с неистощимым огоньком в глазах, любознательных и послушных. И, пожалуй, никогда не забуду маленького Илию, которого встретил в городе Мелнике на юге Болгарии...

Живой Мелник

Каждый уголок Болгарии живет своей особой жизнью, находится в постоянном движении. Жизнь идет вперед, страна хорошеет и крепнет с каждым днем. Таково впечатление.

И вот однажды мне сказали, что есть на юге мертвый город. Называется он Мелник. Мертвый город на цветущей земле — это любопытно! И мы поехали в Мелник.

Город расположен недалеко от греческой границы, среди невысоких скалистых гор. Природа здесь сурова. У многих домов, оставленных без присмотра, обрушились стены, неприятно выглядят опустевшие комнаты.

Говорят, что Мелник в древности славился своим вином, как, впрочем, и сейчас. Вина якобы было так много, что оно по глиняным трубам доставлялось к Эгейскому морю, в Салоники. Но в окрестностях Мелника виноградников становилось все меньше. В силу сложившихся в начале двадцатого столетия экономических условий в этом районе жители покидали город.

Мы приехали в Мелник в знойный полдень. Город казался лишенным жизни. Но это только казалось. Мы прошлись по квартирам местных жителей, побывали у школьников. Где же мертвый город?

В городском совете нам рассказали, какие принимаются меры по возрождению гордости Мелника — мелничного сорта винограда. В школе мы по-

знакомились с молодыми педагогами. Получив образование в Софии и Благоевграде, они вернулись в свой родной Мелник. Мы увидели детей, изучающих грамоту, любящих свой город.

Разве это мертвый город?

Учащиеся школы готовились к встрече с пограничниками. Для вечера они подготовили стихи, песни, танцы. Любомир Малинов, Венера Венева и другие показали нам свое вокальное искусство — солировали в «Песне о пограничниках», «Польском вальсе» и македонской песне.

На одной из парт сидел маленький мальчик. Глаза его горели, точно угли. Звали его Илия Халянов. Я спросил его, кого из поэтов любит он больше всех.

Илия вскочил с места:

— Ботева, Вазова, Вапцарова и еще многих.

— Прочти что-нибудь, — попросили его.

Он не заставил ждать. Подтянув спадавшие брюки, маленький Илия живо вышел на середину класса:

— Никола Вапцаров. «Весна»!

Илия выставил вперед правую ногу, руки сжал в кулаки, словно перед дракой.

Он читал «Весну» поэта Николы Вапцарова, отдавшего жизнь за народную Болгарию:

Ты придешь, моя весна,
Сильная, непреклонная
В шквале горячих боев,
Все надежды вернешь сполна
В праздник радости и цветов...

На всю жизнь запомню я маленького Илию. Город, в котором есть такие ребята, будет жить. И неверно говорить о мертвом Мелнике! Мелник — живая клетка молодой Болгарии.

На главных улицах

Надо признать, что Мелник очень запущен, и я не нашел там главной улицы. Но, как известно, в каждом городе имеется своя главная улица. Вечерами главные улицы болгарских городов запружены на-

родом. Гуляют молодые люди, гуляют целые семьи, гуляют и пожилые. В такие часы автомашинам не проехать — приходится сигналить долго, настойчиво. Главные улицы в часы досуга принадлежат гуляющим.

В Софии своим излюбленным местом для гуляния жители избрали Русский бульвар и улицу Раковского. В вечерние часы тротуары не вмещают толпу, и она растекается по улицам. Гуляют спокойно, бесшумно, без толкотни.

В небольших городах любого жителя можно встретить на главной улице — для этого надо походить не более четверти часа. Если не встретил — иди в кафе: там уж он определенно найдется.

Свадьба в селе Фракия

Встретить в городе человека, одетого в национальный костюм, — большая редкость. Зато болгарская деревня славится разнообразием одеяний. Как-то по дороге из Димитровграда в Стара-Загору я увидел в селе Фракия пеструю толпу, заполнившую церковный двор. Казалось, здесь выступает танцевальный ансамбль. Скоро выяснилось, что эти празднично одетые сельчане собрались на свадьбу двух молодых, которые венчались в церкви. Пока происходил религиозный обряд, народ веселился во дворе.

Женщины и мужчины были одеты красочно: белые кофточки — белые до голубизны, черные юбки — черные как сажа, вышивки — ярко-красные.

Женский наряд очень живописен. Шьется он, как правило, из домотканого материала. Риза, или кофточка, всегда белая. Ее вышивают красным или черным. Забратка, или косынка, — белая или черная. Пристилка (фартучек) — непременная часть наряда. Она делается из расцвеченного народным орнаментом сукна и спереди прикрывает фусту, или юбку.

Мужчины одеты в белые рубахи, поверх которых елек — подобие жилета; брюки-па̀тури напоминают свободные бриджи; вокруг талии — широкий цветной

кушак, или ремын (если кушак кожаный). На голове колпак, или гугла, — род мерлушковой папахи.

Посредине двора стояли три музыканта (аккордеон, кларнет и барабан), а вокруг них по большому кругу весело ходили танцующие, исполнявшие хоро — болгарский хоровод.

Мы познакомились с родными жениха и невесты.

Отец жениха сказал:

— Соседи меня отговаривали от церковного обряда, но сын у меня единственный, и я хотел женить его по старинным правилам.

В разговор вмешался молодой родственник, кажется племянник.

— Я был противником венчания, — сказал он. — Это же расходы! Проще расписаться в совете.

И он перечислил суммы, которые, по его мнению, лучше было бы обратить на благо новобрачных.

Отец решительно отверг меркантильные доводы молодого человека. Он повторял:

— Сын у меня единственный...

Хоро танцевали долго, с увлечением. Наконец, когда молодые покинули церковь, на сельской улице образовалось настоящее шествие. Впереди, приплясывая, шел молодой человек с серпом в руке. За ним тянулась длинная цепь танцующих юношей и девушек. Новобрачные, увешанные подарками (перчатки, полотенца, платочки), шагали в толпе. Слева и справа от них, тоже увешанные подарками, — подруги и дружки.

Отец жениха пригласил нас к себе.

— Советский человек в такой день — большая радость, — говорил он.

Но неумолимая «программа» звала меня вперед, и я вынужден был проститься с гостеприимными крестьянами села Фракия...

Я ехал по Фракийской равнине и думал о людях, которых оставил несколько минут назад. Они были веселы и довольны. Свадьба справлялась после осенней страды, когда убран хлеб и приготовлено свежее вино. Чего хочет этот жизнерадостный и трудолюбивый народ? Больше всего на свете — мира и мир-

ного труда. К такому народу можно и должно питать только самые лучшие чувства.

Но и у болгарского народа есть черные недоброжелатели...

О тех, кто мешает

Над Родопами светятся яркие южные звезды. Ночь тиха. В долинах рек, несмотря на позднее время, работают люди. Это третья смена на заводах и электростанциях. Спят села родопских табаководов. В городах торжественный покой. Ели стоят неподвижно. Не слышно лесных голосов.

Что же, картина ясна: на земле мир, и мирные люди отдыхают в этот полуночный час.

Но вот из-за высоких гор доносится тихое жужжание — точно шмель летит. Вскоре выясняется, что это вовсе не шмель, а самолет. Он пролетает над городами и селами, кружит в небе, описывая большие круги. И вдруг на землю летят бумажки, летят густо, точно листья глубокой осенью.

Это самолет «неизвестной национальности» разбрасывает листовки над территорией народной Болгарии. На этих листках — ядовитые слова, полные бешеной злобы к народу, ко всему, что делается здесь — в долинах Родопских гор, и там — на равнинах, и там — на побережье Черного моря, в Добрудже.

Разбросав сотни килограммов бумаги над сонной землей, самолет «неизвестной национальности» улетает восвояси. Он торопится, тревожно петляет в небе, боясь возмездия.

Болгарское правительство не раз протестовало против подобных проделок в отношении мирной страны в мирное время. Но кое-кто остается глухим к этому голосу. Кое-кто содержит на свои деньги болгарскую реакционную эмиграцию, борющуюся против собственной страны оружием клеветы и шпионажа.

Народная Болгария никому не угрожает. Ее правительство не раз предпринимало шаги к нормали-

зации своих отношений со странами, которые хотят этого. Демонстрируя волю к миру, Болгария сократила свои вооруженные силы. Она широко открывает гостеприимные двери всем, кто является сюда как друг или честный человек.

Голос дружбы

Этот голос звучал не только символично, но как реальный показатель дружбы болгарского народа со всеми народами мира. Я имею в виду вечер поэзии, организованный в Доме писателей Болгарии газетой «Литературен фронт».

Идея вечера родилась так: в Софии гостили поэты и писатели из различных стран: Николас Гильен — из Кубы, Хесуальдо Соса — из Уругвая, писатели из Венгрии, Голландии. А что, если собраться и поговорить о поэзии, о ее задачах?..

И вот за дружеской беседой собрались до полусотни человек, в том числе виднейшие мастера болгарской литературы.

Хозяева вечера и их гости говорили о поэзии, о литературе вообще. Но, по существу, речь шла о дружбе народов, о важнейших вопросах, которые волнуют людские сердца: о мире, счастье в жизни, о служении народу. Это был разговор большой и принципиальный.

Этот вечер останется в моей памяти надолго. Он как бы отражал дух современной Болгарии — дух братства, дух сотрудничества в международных делах, направленных на благо народов.

София—Москва, 1955, сентябрь—октябрь

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Георгий Гулиа

БЕЛАЯ НОЧЬ

Рассказы и очерки

Редактор *М. Лапшин*
Художник *Г. Дмитриев*
Худож. редактор *Н. Печникова*
Техн. редактор *Л. Коробова*

А08429 Подп. к печ. 1/IX 1958 г.
Бумага 84 × 108 1/32 = 5 бум. л. = 16,4 печ. л. 15,3 уч.-изд. л.
Тираж 90 000 Цена 6 р. 10 к. Заказ 1050

*

Отпечатано с матриц типографии «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия» на Книжно-журнальной фабрике Главиздата Министерства культуры УССР. Киев, ул. Воровского, 24.



6 р. 10 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


ГЕОРГИЙ ГУЛИА
БЕЛАЯ НОЧЬ